

Михайло Стельмах

КРОВЬ ЛЮДСКАЯ – НЕ ВОДИЦА

Роман

Работающим умам,
Работающим рукам
Целину подымать,
Думать, сеять, не ждать,
Что посеяли – жать
Работающим рукам.

Т. Г. Шевченко

I

С тех пор как Степан Кушнир получил толстомясую помещичью корову, он всякий раз приносил на комбедовские собрания завернутый в тряпицу комочек масла. Станет, бывало, возле тяжелого, на раскоряченных ногах дворянского стола, над которым когда-то мерцали хрусталем пышные люстры, и сосредоточенно стругает обломком косы масло в глиняную пузатую плошку, похожую не то на головку игрушечного человечка, не то на округлый узелок корня.

Мужики, рассевшись на лавках, безбожно чадят самосадам, пересмеиваются:

- Так и помрет человек без скоромного из-за этой плошки!
- Степан знает, чего постится: хочет поскорей в рай попасть!
- Эге, так его и пустят, девчатника!
- Степан, ты хоть губы маслом помажь!
- Обойдется, обойдется! И без того они девкам любви.

Молодцеватый, тугой, как желудь, Степан блеснет веселым маленьким глазом, подтянет пальцами черный ноздреватый фитиль, вытрет руку о русые волосы и, посерьезнев, степенно выходит за дверь – следить, чтобы никакая контра не сунулась подслушивать речи про бедняцкие дела.

Зоркий глаз его и в осенние ночи улавливал неверные тени, сновавшие возле бывшего помещичьего дома. Степан вихрем налетал на них, и не раз, бывало, голос уездного начальства или Мирошниченка перебивало бурчанье под окнами:

– Ступай, ступай от света, не ты сюда масло приносила!

На эти слова собрание отзывалось дружным хохотом:

– Опять Степан богачей агитирует!

А бурчанье в темноте продолжалось.

– Быстрее, быстрее, гидра, от наших окон, а то и в свои двери не попадешь!

Собрание затихало, и все весело поворачивали головы к выходу: тут можно было наблюдать и куда более доходчивую агитацию, только уже руками – не для кулацкого же отродья в самом деле осветил полуразрушенный помещичий дом фронтовик Степан!

Но сегодня он пришел на собрание с пустыми руками и, в безнадежности сам похожий на тень, примостился на покосившейся веранде, возле холодной, с бараньими завитками вверху колонны. Его красные и короткопалые, словно осенние кленовые листья, руки то, дрожа, барабанили по бездушному мрамору, то с размаху падали на праздничные, протертые на коленях штаны. Мир для него померк, а грудь сжималась от тоскливой, щемящей боли.

Бедняки молча проходили мимо Кушнира – его тоска отражалась и на их лицах: позавчера, после третьих петухов, бандиты скосили из пулемета Василя Пидипригору,

лучшего друга Степана. Хотели убить и мать, но кто-то сказал, что она и так одной ногой в могиле, пусть лучше поголосит над сыном, чтобы всем комитетчикам слышно было. Пожалели, что не застали жену, а потом положили на грудь Василию тяжелые списки новых земельных наделов и пробили их и его еще теплое сердце граненым пятидюймовым гвоздем.

Так с этими списками и положили упрямого синеглазого Василя в гроб, чтобы и на Страшном суде бог и люди видели, за что погиб человек.

Только гвоздь вынули из пробитого сердца и вложили в полуживые пальцы матери – пусть вспоминает, что и у нее был сын. И этого последнего гвоздя не выдержала ее душа, не удержали материнские пальцы, которые ласкали, прижав к груди, маленького Василя, гладили его по головке, когда кто-нибудь обижал ребенка, дрожащие, лежали на его плечах, когда уходил он в батраки, собирались в мозолистую щепоть перед образами, моля бога, чтоб сын вернулся с войны. А теперь подогнулись ноги от того запекшегося кровью гвоздя, пала мать на колени, и в расширенных зрачках ее застыло безумие. И вся ее нелегкая жизнь, что день за днем отлагалась в душе, как перга в сотах, рассыпалась вдруг теперь, точно горсть песка, словно ее и не было.

Не заголосила старая Богданиха над своим сыном, не окропила его слезами, а неожиданно среди убитых горем людей тихо-тихо вывела пасхальную припевку, песню далеких лет, которую пела еще в девичестве на многолюдном церковном дворе:

**Першим часом василя садила,
Гей, гей, василя садила.
Другим часом поливала,
Гей, гей, поливала.
Третім часом цвіт зірвала,
Гей, гей, цвіт зірвала.
Василь, василь, васильочок,
Гей, гей, васильочок,
Мій прекрасний ти цвіточок,
Гей, гей...**

Так и переплелось в чате пасхальное «гей, гей» с похоронным звоном, не доходившим уже до материнского сердца. Вот почему Богданиху не пустили на погост, куда, покачиваясь на сгорбленных плечах, поплыл яворовый гроб.

Придорожные вербы клонились на одну сторону, припадали к Василию зелеными руками, в последний раз осыпали на его лицо осенний шум и горьковатые слезы. Гроб провожала криком и причитаниями вдова Василя Ольга, а в пустой хате старуха меж тем все еще растила свой василек, тешилась цветком, которому никогда уже не украсит ни ее хаты, ни сердца.

– Ой, не к добру это! – тараканами зашуршали по селу слухи.

– Сажай что хочешь, только в свою землю, – через плетень прислушиваясь к пению матери Василя, заметила узкогрудая, с навеки обозленными глазами Настя Денисенко.

– Пусть бы уж помещичью делили, а то к хозяйской руку тянут.

– Под окна, под окна с этой рукой... Во имя отца, и сына, и святого духа! – набожно перекрестилась на звон старуха Данько. – Вот и хоронят, сердешного...

– А слышали, на тех комбедовских списках, что были у Василя, какие-то знаки объявились?

– Кровь, а не знаки!

– Кто его знает, может, и кровь – не видала! А вот что царь собрал уже в Англии целый мильён солдат, воистину слыхала и во сне видала.

– А разве большевики не убили царя? – Тонкая сетка морщинок вокруг запавшего рта старухи задрожала.

– Где им убить! Стреляли в него, да ангелы пули отвели. Как почаевская божья мать

от казаков.

– А от Василя никто не отвел, спаси, господи, его душу, хоть и грешная была...

Печально расходилась толпа с ободранного войной и скотом кладбища, только Степан и Ольга остались у свежей могилы. Женщина, раскачивая гибкое тело, надрывно причитала в изголовьи гроба, к которому ближе теперь был сухой ствол креста, чем эти молодые руки, не успевшие еще натешиться кудрями Василя. Над черными глазами вдовы метались, словно хотели улететь куда-то, крылатые брови. Они то приникали к земле, то взлетали и вновь изламывались, стряхивая могильную пыль.

Степан не утешал Ольгу и сам не плакал, только все его тело вдруг обмякло: неотвязной, кричащей болью проходили перед ним дни и лета, проведенные вместе с Василем, – и в ту пору, когда они пастушками обороняли от коршуна желтых, как вербный пушок, гусят и когда солдатами задыхались в окопах от зеленоватого немецкого газа.

И до вчерашнего дня не перекипела, бухала и клокотала чужеземная отравка в груди Василя. Но не она, а тупоносые, отлитые в Австрии бандитские пули вырвали у него душу из груди, и вот летит она меж белых осенних облаков к самому солнцу в поисках нового пристанища и новой земли.

Набрякшими глазами, сдерживая боль, смотрел Степан на легкую, как пена, вязь белоснежных облаков на небе. Но взор его больше приковывала черная земля могилы: она уже подернулась сизым налетом. Его не было лишь там, где темнели следы слез.

– Ох, Василь, Василь, как же без тебя... – только и повторял изредка Степан, обращаясь к другу, веря и не веря, что его больше нет.

Когда синие сумерки окутали еле видимым туманным маревом первую позолоту сентябрьской листвы, Степан с Ольгой возвращались в село. Женщина шла пошатываясь, ничего не видя вокруг, а ему сверлило мозг, что чуть ли не над каждым кулацкими воротами покачивается или недвижно торчит чья-то рожа. Жестокое любопытство чужих глаз донимало Степана, глумилось над ним, втемяшивало невысказанные мысли:

«Что, видал, как наша земля на погосте изгорбатилась?»

«Гляди, а то и самого за крестом понесут!»

Но стоило Степану перехватить чей-нибудь взгляд, как злые искорки пропадали, глаза уже выражали равнодушие, а то и притворное сочувствие. Только длиннобровый Яков Данько, по уличному прозвищу Крутихвост, не захотел ломать свой барышнический нрав, – может, потому, что, спекулируя скотиной, и на людей смотрел как на скот, а может, потому, что Кушнир пробатрачил у его отца все детство. Когда Яков увидел Степана с Ольгой, его скуластое полнокровное лицо расплылось.

– Уже в паре? Может, с похорон да за свадебку? Советская власть все дозволяет.

Степан, не помня себя, подлетел к воротам, с размаху шлепнул твердой ладонью по свежему, с причудливым узором прожилок, румянцу богача. Запомнилось только, что вся правая щека Якова сразу припухла и даже щетинистый висок залило огнем. Теперь на левой щеке выразительно задрожало размытое, словно вышитое, пятно румянца.

– Вот тебе похороны, а вот – свадьба! – И Степан второй пощечиной уравнивал расцветку щек Данька.

Богач сгоряча рубанул кулаком по воздуху.

– За дружком захотел? Я тебе нынче выпущу кишки!

– Поглядим еще, кто кому!

– Поглядим!

– Крутихвост!

– Коммуния беспортошная!

Они сцепились через воротца, приподнимая в яростном объятии один другого так, что затрещали кости и доски. Картузы сразу же полетели на землю, в воздухе замелькали растрепанные вихры, потом Данько, улучив удобную минуту, прыгнул на улицу, рассчитывая подломить Степана своей тяжестью. Но не подломил, и они, сквернословя, закружились по улице в клубах пыли. Зеленовато-серые глаза Данька налились кровью, его

залитые уже сплошным румянцем щеки покрылись испариной, а у Степана лицо побелело, и мелкие, как маковые зернышки, капли пота выступили на темноватых изгибах дрожащих ноздрей.

Потрепанных и растерзанных мужиков едва растащил здоровенный Свирид Мирошниченко. Для приличия он тряхнул Степана, дал ему подзатыльник, а Даньку так зажал шею, что голова у того сразу по-гусиному завяла и свесилась на плечо.

– Ежели примял тебя, Яков, малость, прости. – Мирошниченко покосился на него, нащупывая затверделыми, в заусеницах пальцами пуговицы на крутой матросской груди, где из-под ворота виднелась головка синекудрой красавицы.

– Все вы одна шатия-братия! – с кровью и ненавистью выплюнул Данько и, морщась, положил руку на оплечье.

– Еще и сердится за выручку, – удивился Мирошниченко и снова остановил взглядом Степана, который уже потихоньку подкрадывался к Даньку. – Вот и спасай тебя, Яков, после этого!

– Ты спасешь, мать твою за ногу! – Помятое, раздувшееся книзу лицо дукача оживила злость.

– Тю! Чего ж ты лаешься?

Мирошниченко остановился. С самодельной пуговицы его полинявшей рубахи снова соскочила разношенная петелька, и на груди сразу засмеялась синим ртом легкомысленная красавица, обреченная до самой смерти не покидать бывшего матроса с крейсера «Жемчуг».

– Чего? Ты не знаешь чего?! – задыхаясь от обиды и злобы, прошипел Данько. – Хлебом, разверткой облагаешь? И пшеницу и рожь – все берешь?

– Ну, беру! – Мирошниченко настороженно откидывает за ухо пепельно-русые волосы, и теперь все морщины на лбу у него упрямо нацеливаются на Данька.

– Землю грозишься отрезать?

Данько впиивается серо-зеленым взглядом в глаза Мирошниченка: а вдруг после смерти Василя дрогнет матросское сердце? Тогда Яков не пожалел бы и корову отвести к Свириду во двор, чтобы не давились его дети постной кашей, без ложки молока.

Мирошниченко так глянул на богача, словно прошел его взглядом.

– Не грожусь, Яков, а собираюсь отрезать.

– Собираешься? – Тот даже крикнул и потянулся рукой к груди.

– Собираюсь! И для твоей же пользы: может, станешь человеком, а не гадиной! – И Мирошниченко повел круглой головой, горделиво посаженной на широких плечах.

– Неужто так-таки и отрежешь, Свирид? – В голосе Данька билась скорбь, и просьба, и капля надежды.

– Непременно отрежу, – пообещал, не сердясь, Свирид.

– Чтоб тебя самого день и ночь резало и не переставало! Придет еще Петлюра на твою голову!

– Беги, контра, к попу, отслужи панихиду по твоему Петлюре! – Серые, с редкими капельками голубого моря глаза Мирошниченка стали злее. Он шагнул к Даньку, и тот, обтирая спиной и задом высокий часток, отпрянул к воротам. – Вот так-то лучше! Молчи, коли глуха, – меньше греха! Пошли, Степан! – И он двинулся по улице, оставляя на пыльной дороге четкий след подбитых гвоздями больших немецких сапог.

Степан нехотя, все еще косясь на усадьбу Данька, последовал за Мирошниченком.

– Ну, так кто кого? – не оборачиваясь, чтобы не расхохотаться над воробыным задором Кушнера, спросил Свирид.

– Оба один одного, – неохотно ответил Степан. – Толстый, а жилистый, черт!

– Сильного надо с умом бить. – Мирошниченко незаметно ткнул Степана в бок ребром ладони.

Они молча проходят мимо хаты Василя Пидипригоры, напряженно прислушиваются к омертвевшему двору, и Кушнеру становится не по себе: ему кажется, что он вот-вот услышит: «Как сперва я василек сажала...»

Но двор Василя нем, хотя возле поленицы и виднеется одинокая поникшая фигура старой Богданихи. Пальцы ее изможденных рук лежат на груди, словно она собралась качивать младенца.

II

Мирошниченко поднимает над головой чахлый огонек коптилки, внимательно оглядывает собрание и невольно вздрагивает: до чего лесник Мирон Пидипригора похож на своего двоюродного брата Василя! Сидит Мирон плечом к плечу с братом Олександром, и его широкий лоб бороздят раздумья и тени страха, порой он зябко поводит плечом. Жаль, не та душа у Мирона, что у Василя была.

– Олександр, а ты что с вахты ушел? – подозрительно спрашивает Свирид.

С лавки подымается кряжистый Олександр Пидипригора; уставясь в пол, он не в состоянии добыть из груди корявое слово и только виновато перекидывает с руки на руку залатанный медью ствол старой берданки.

– Может, не слышишь?

– Такое дело, Свирид Яковлевич, – говорит он, не поднимая глаз. – Не утерпел.

– Горело?

– Не горело, а не утерпел. – Он еще быстрее перекидывает оружие, словно оно обжигает ему пальцы.

– Да почему же?

Олександр снимает картуз, прикрывает им дуло берданки и поднимает на Мирошниченка смущенный взгляд.

– Хочу еще раз услышать, где моя земля будет. Все думаю: а что, как переменялись списки?

В зале раздался смех, а Мирон дернул брата за полу: ну чего исповедоваться, как на духу?

Мирошниченко улыбнулся и сразу же нахмурился.

– А ежели банда налетит?

– Э, нет, с моего края, Свирид Яковлевич, не посмеют! К нам час назад красные казаки пришли. Сам им, такое дело, шесть снопов овса из-под балки скинул.

– И много казаков?

– С полсотни. Еще должны подъехать. Боевые ребята, и кони добрые. Вроде на банду готовятся.

– Вот это славно!

Собрание оживилось.

– Может, придет время, когда будем спокойно дома ночевать.

От этих слов Мирошниченко невольно краснеет, словно про него они.

Ведь чуть ли не каждую ночь приходится скрючиваться от холода, если не в овине, то в стогу, либо в скирде на поле. Ему всюду чудится теперь запах соломы. Он смотрит на Пидипригору и спиной ощущает все эти стога и скирды, дающие ему уют.

– Земля твоя, Олександр, лежит в тех же урочищах. А теперь айда на вахту! Тоже мне самооборона!

– Свирид Яковлевич, дозвожь, раз такое дело, хоть на выборах посидеть, – по-ученически вытянулся Олександр.

Мирошниченко хотел рассердиться, но передумал.

– Разрешаю, что уж с тобой делать? Может, еще кого из самообороны принесло?

– Никого нет, – повеселел Олександр, повеселел, закрутился и картуз на дуле берданки. – Я сам проверил! Хотел Карпец сорваться, так я его возле моста чуть ли не прикладом прогнал на место, чтоб знал порядок. Такое дело!

– Хе! Гляди какой деловой! – повернулся к нему короткоусый Иван Бондарь. Его широкое, дубленое лицо осветилось лукавой усмешкой.

– Уж какой есть, Иван Тимофиевич, – примирительно проговорил Олександр и расположился поудобнее возле неподвижного Мирона, лоб которого все еще морщился от страхов и раздумий.

И вот Мирошниченко ставит плошку на дворянский стол, поправляет свою нависшую на глаза «полечку», кладет руку на грудь, прикрывая ладонью кудри матросской крали. Перед ним в полумраке застыли лохматые, ветрами и дождями чесанные головы пасынков земли. Всю жизнь их заскорузлые руки выращивали золотое зерно. С детства по плечам гуляли хозяйские плети, чужие налыгачи¹ натирали до крови ладони, а потом задубевшие, в черствых, кровавых мозолях руки вытягивал цеп. Потому и руки у крестьян длиннее, чем у кого бы то ни было, потому и тоскуют и тянутся души земледельцев к своему единственному раю – земле.

А она, роскошная и убогая, ласковая и жестокая, всегда манила их теплым звоном ярой пшеницы и гнала в холодных оковах в Сибирь, ласкала руки мягким, как девичья коса, колосом и вспарывала спину немецкими да гайдамацкими шомполами. Неужто же и теперь она поманит да обманет мужика?

Свирид Яковлевич знает, что Каменец-Подольск и Проскуров, как червой, кишат петлюровцами, что недаром придурковатый гетман Скоропадский отправился из своей роскошной швейцарской виллы обивать английские и французские пороги, что не к добру поехали уэнэровские² министры к черному барону в Крым. Еще могут они распахать землю снарядами, засеять костями, полить человеческой кровью, но жать им на ней вряд ли придется. Вряд ли! Потому что мужик повидал уже свой долгожданный надел, а хлебороба и смерть не оторвет от земли. Для него и небо – это прежде всего та же земля, которую можно распахать, и засеять, и даже засадить райскими садами.

Еще не так давно и на море, и в холодных казармах экипажей, и в матросских отрядах, из которых мало кто оставался в живых, и в партизанских лесах не раз Мирошниченку думалось, что в одно погожее, непременно солнечное утро вызовут его, кавалера двух «георгиев», добрые ученые люди, дадут ему на руки грамоту и скажут: «Вот тебе, Свирид, за твой пот и кровь – твоя земля. Бери ее и живи, как в раю».

А теперь этим добрым и ученым человеком – Мирошниченко усмехнулся, стал в своем селе он сам. Грабителем, вором и хриstopродавцем величают его во всех кулацких закутках, то стращают столбом с перекладной, то подкупают деньгами и хлебом. Ну, да это дело привычное! Вот жаль только, что грамот на землю нету: с ними крепче прозвучал бы закон и для бедноты и для кулачья. Он даже обратился было с этим в уисполком, но там только рукой махнули.

– Чудак человек! Где же бумаги взять на твои грамоты! Видишь, газеты на оберточной печатаем, а мандаты выстукиваем на обороте архивных документов. Черт-те что бывает: на одной стороне наше распоряжение, а с другой – царский орел на него палкой замахивается. Две власти на одной бумаге вмещаются...

Многое вспомнилось Свириду, перед тем как он сказал свои самые лучшие слова. Каждый когда-нибудь произносит свои самые лучшие слова. У одного они, может, оборвались на детском «мама», а потом жизнь так искромсала, помяла человека, что во рту ничего, кроме скверности, и не осталось. У другого эти слова нашлись негаданно для милой, которую он, одолжив у друга сапоги, повел к венцу, а третий вымолвил их на краю могилы, чтобы запомнились детям на всю жизнь.

Свириду Яковлевичу не пришлось пролепетать свое лучшее слово родной матери: день его рождения стал днем ее смерти. Не суждено было раскрыть свою упрямую, несгибаемую

¹ Налыгач – веревка, которую при пахоте надевают волам на рога. *(Все примечания, за исключением авторских, принадлежат переводчику.)*

² УНР – Украинская народная республика, официальный титул петлюровщины.

душу и перед девушкой: случилось так, что не по любви, а из жалости женился он на молодой вдове, дождался от нее двух детей да и снес ее на кладбище с огорчением, но без слез...

Свирид Яковлевич прочитал за революцию много книг, но слова у него были простые, не книжные, самые лучшие для тружеников и мучеников земли, примостившихся на скамьях и подоконниках, на пороге и на полу помещичьего дома, со стен которого подозрительно смотрели на них недобитые гипсовые красавицы.

– Товарищи, сегодня уисполком утвердил наш раздел. Теперь вы по всем новым законам настоящие хозяева земли. Слышите, люди?

– Слышим, Свирид, – негромко ответили собравшиеся, склоняя головы перед новым законом и землей.

– Ну вот... – И слово, согрев душу, на миг остановилось в груди и забило в ней, как сердце. – Завтра, только взойдет солнце, приступим к новой размежевке. Пусть каждый принесет на поле свои знаки. Понятно?

И сам умолк в тишине, словно раздумывая: а понятно ли ему самому то, что он сказал? В эту минуту и ему хотелось со стороны послушать свои слова.

Тишину разорвали хлопки, взволнованный гомон. Только Мирон Пидипригора поздно спохватился, хлопнул в ладоши, оглянулся: думают ли другие еще хлопать и не глядят ли на него? И в это время со двора донесся голос Кушнира:

– Ступай, ступай, пока не поздно!

– А ты что, за старшего туточки? – проскрипел кто-то с плохо скрытой злобой и голосе.

– Какой ни есть, а зубы, как фасоль, вылушу! Тогда не обижайся, не обижайся на меня!

– Тьфу на вашу чумовую породу!

– Плюй себе в борщ!

Так самые лучшие слова Мирошниченка перемежались с обыденностью. Он сперва нахмурился, потом улыбнулся: жизнь есть жизнь.

Бледный Степан Кушнир появился на пороге, молча прислоняется к притолоке. Его окликнули сразу несколько голосов.

– Кто там лазил?

– Столыпинский дворянин, – ответил Кушнир, глядя вверх голов.

– Барчук?

– Он.

– А ты ему что сказал?

– А что мне с ним говорить? Сказал, что он сучья контра и чтобы не любовался нашим собранием.

– А он тебе на это что?

– Сказал, что не собранием пришел любоваться, а мной.

– А ты ему что?

– Я ему посоветовал прийти завтра на поле и полюбоваться, как я его землю буду мерить. Тогда я красивее стану.

– Га-га-га! – гремит собрание.

Только Степан и Мирон не смеются.

Свирид Яковлевич поднимает над головой большую руку, вокруг становится тише.

– Теперь, после смерти нашего Василя, земля ему пухом, нам надо выбрать нового председателя земельной комиссии. Сами знаете, какого надо мужика для этого дела: чтоб и землю знал и к людям подходил с понятием.

– А тебе, Свирид Яковлевич, нельзя за двоих? – зашепелявил, поднимаясь с лавки, сухой, как опенок, Поликарп Сергиенко.

Его заостренное книзу лицо выражает и почтение к Мирошниченку и другую, тайную мысль, которую, впрочем, не так уж трудно раскусить: «Пусть все почести и вся ответственность ложатся на одного. Свириду такая уж доля выпала – все эти годы ходить в смертниках. Жаль его, да что ж, пусть сам и несет свой тяжкий крест».

– Кого же выберем?

Мирошниченко отворачивается от Поликарпа, и у того сразу лицо становится жалким: рассердился, того и гляди, поменяет завтра землю, ткнет тебе вовсе черствый клочок, который можно бы подсунуть кому-нибудь из бедняков побогаче. Гляди, так и сделает, – ведь Мирошниченко хоть и свой человек, а все же начальство, да еще коммунист. А Сергиенко хорошо знает – коммунисты теперь с большевиками на ножах: большевики хотят дать беднякам больше земли, а коммунисты – меньше, им только все в свою коммунию подавай.

Сергиенко окидывает быстрым взглядом лавки, раздумывая: кого бы хоть из дальней родни выбрать председателем земкомиссии, чтобы он по-родственному выкроил земельку получше?

А в зале, сбивая Сергиенку с толку, уже звучат голоса.

– Тимофия Горицвита!

– Степана Кушнира!

– Не надо Кушнира: молод еще, горяч!

– Пускай сперва женится!

– Это дело недолгое!

– Ивана Бондаря!

– Ой, миленькие, не выбирайте моего! – испуганно откликнулась из коридора обычно жадная до всякого дела Марийка Бондарь.

Она осторожно вынесла из темноты располневший стан и топталась босыми ногами на пороге.

– А тебе чего надо на собрании, добрая женщина? Или печи дома мало? – возмутился Александр Пидипригора. – Где ж это видано, чтобы на серьезное собрание бабы перлись?

– Того же, Александр, чего и тебе: земельки! – огрызнулась Марийка, и вокруг ее маленького с горбинкой носа дрогнули непримиримые морщинки.

– Без тебя ее не дадут! – Пидипригора покосился на тяжелый Марийкин живот, на котором колыхался старенький фартук.

– Дадут, Александр, да не столько, сколько надо. Мой Иван записал, что у нас только три души.

– А сколько же их у вас, Марийка? Разве уже не три? – с немалым удивлением спросил Мирошниченко, не первый год друживший с Бондарем.

– Свирид Яковлевич, – стыдливо и укоризненно покачала головой Марийка и для ясности пошевелила руками под фартуком, – ну разве не знаете, что я, прошу прощения, по бабьей части на восьмом месяце?

– Да не слушайте чертову бабу! Она вам наговорит три мешка гречневой полбы, да все неполны! – прикрикнул на жену Иван Бондарь. – За сегодня, за один день, целый месяц прибавила. Она, кабы могла, завтра семимесячного родила бы, лишь бы только землю получить.

От дружного смеха затряслись лавки, пол и окна дома. Не смеялись только гипсовые красавицы на стенах, да Марийка замерла на пороге, и лицо ее от стыда и злости пошло пятнами. Она готова была наброситься на всех насмешников с оглушительными женскими проклятиями, но решила, что начать лучше всего с мужа.

– Видали такого бессовестного?! – Она показала пальцем на Ивана. – Это ж не человек, а заноза! Проймет словом до печенок, не пожалеет ни отца ни матери, ни старого ни малого! И не вздумайте его выбирать, – намучаетесь с ним, как я всю жизнь, с первого и до последнего дня мучаюсь!

На запавших глазах Марийки блестели искренние слезы; она сейчас и сама верила, что не Иван с нею, а она с Иваном горюет. Ведь с тех пор, как она себя помнила, все-все обижали ее. Дома нещадно бил пьяница отец, в экономии не жалел зверь приказчик за то, что она убегала от него по вечерам, на гулянках девушки побогаче насмеялись над ее бедными нарядами, а парни долго не засылали к ней сватов – уж больно мал был у невесты клочок

земли.

Так почему бы теперь, при новой власти, когда начальствует Свирид, не приписать Ивану еще одну душу? Экая важность – сегодня она запищит в люльке или через месяц-другой! Главное, что она, Марийка, услышала свое дитя как раз в тот день, когда снова заговорили о земле. И это казалось ей небесным знаменем: раз уж детская душа почуяла землю, никому не отобрать у мужика надел. Вот почему она и мольбами и угрозами донимала Ивана, чтобы он вписал в списки четырех едоков. Но нигде на свете не было правды. Не было ее при помещичьей власти, нет и при мужицкой. Если бы Мирошниченку самому довелось носить дитя, он бы не задавал глупых вопросов и нарезал бы норму как миленький, еще и с гаком! Не поспешил бы!..

Марийка смахнула с глаз слезы и нарочито тяжело вынесла свой живот в темный коридор, чтобы и люди видели что вот-вот появится на свет новая жизнь. Иван даже сплюнул с сердцем.

«Ну не чертова баба? А скажи, что где-то привезли соль или керосин, бегом побежит, словно шестнадцатилетняя...» – и прикинул мысленно, как будет дома отбиваться от жены.

Пока он думал об этом, вокруг поднялся густой частокол рук.

Вздыхая, тянет руку и Поликарп Сергиенко, хотя ему и не удалось продвинуть кого-нибудь из своей, пусть самой дальней, родни. И как он заранее об этом не подумал? Но хоть и тоскливо человеку – он горячо голосует за всех кандидатов, потому что разве угадаешь, который из них пройдет? Нет, лучше уж быть добрым со всеми.

Председателем земельной комиссии почти единогласно избрали Тимофий Горицвита, хотя он и отнекивался: дескать, и грамоты вот нистолечко не знает и говорить не умеет.

– Ну учись теперь и грамоте и говорить! – с размаху хлопнул его по плечу немолодой кузнец Кирило Иванишин. – Да ступай же, чертов сын, поклонись людям за честь! – подтолкнул он Тимофий закрученной от огня и железа рукой.

Высокий, суровый Тимофий смущенно поднялся с лавки, смущенно улыбнулся людям грустными глазами и снова хотел сесть, но Иванишин придержал его:

– Погоди, Тимофий! – И он окинул взглядом собрание. – Думаю, следовало бы председателю земкомиссии ради великой нашей правды съесть сейчас щепотку земли, чтобы помнил, на какое дело выбрали его. Или, может, так поверим Тимофию?

– Поверим! – первым крикнул Поликарп Сергиенко, чтобы Горицвит знал, кто стоит за него горой.

– Тимофий правдивый человек! – загудели вокруг, и даже Марийка Бондарь, которая на миг выглянула из тьмы коридора, одобрительно кивнула головой.

– Слышишь? Село землю тебе доверило. Ты знаешь, как ее надо делить? – Иванишин смотрит на Горицвита упрямыми глазами, в которых, кажется, и сейчас мерцают живые огоньки кузницы.

– А так, – медленно проговорил Тимофий, – чтобы и вы ни одной лишней борозды не получили.

– Выбрал на свою голову! – шутливо развел руками Кирило и первый засмеялся, усаживая рядом с собой Горицвита. – Не ждал от тебя такого сраму, чертов сын!

– Свирид Яковлевич, а кто же теперь, прошу прощения, сможет мне переменить надел – Тимофий или вы? – заговорил, приглушая слова усами, поднявшийся со скамьи Мирон Пидипригора.

– Переменить? – удивился Мирошниченко. – На что тебе менять его, старина?

– А, – махнул рукой Мирон, – прошу прощения, баба житья не дает. И чего ей только, спрашивается, надо? Клещом вцепилась в душу, заживо перегрызает.

Олександр удивленно и недоверчиво посмотрел на брата, пожал плечами, хотел что-то сказать, но Мирон жалобным, затуманенным взором вымолил молчание.

– Чего ж твоя жена еще захочет? – нахмурился Мирошниченко. – То каждый день бегала, чтобы про вас не забыли, – вы, мол, у самого леса живете, – а теперь снова не угодили мы ей?

– Вот видите, какая она! Ну, не жена, а один сплошной характер, люди добрые! И чего она только не захочет! – хитрит Мирон, уводя разговор на окольные темы, чтобы как-нибудь задобрить людей и Мирошниченка. – Бабы – это же ненасытная утроба. Прежде моя и на пасху в верзунах³ ходила. Справил ей праздничные сапоги, так она их, прошу прощения, уже и в будни таскает и даже теперь, до снегу, носит. «Побойся, говорю, бога, коли мужа не боишься! Где же мне для тебя обуви напастись!» А она, прошу прощения, уперлась и долбит свое: «Сапоги кровь греют». Послушать ее – и солнце так не греет, как сапоги! «Ты, может, еще и башмаков к сапогам захочешь?» – прикрикнул я на нее. А она хоть бы тебе засомневалась: «И захочу, да только с таким муженьком лихоманку наживешь, а не башмаки».

– А может, она и правду говорит? – засмеялся Иван Бондарь, с удовлетворением расслышав смешок Марийки в коридоре.

– Ну, башмаков ей не дожидаться, не велика барыня, – сказал Мирон, замечая, что собрание слушает его сочувственно и только брат все больше морщится и покусывает губы.

– Про сапоги ты славно рассказал. Ну, а дальше что, Мирон? – допытывался Мирошниченко.

– Да что дальше... – сразу завял лесник, подходя к самой трудной части задачи. – Назначили нам землю, спасибо добрым людям, а моя уперлась и не хочет брать те полдесятины, что от Денисенка отходят.

– А ты как же?

– А что я могу с нею сделать, если не хочет она!

– Ну и не берите, раз не желаете! – отрезал Мирошниченко. Он понял игру осторожного Мирона, которого сейчас, боясь кулаков, молчаливо поддерживал не один бедняк.

– А что же, Свирид Яковлевич, взамен дадите за те полдесятины? – холодея, задал вопрос хлебороб, и в складках его лба снова угнездились тени страха.

– Что взамен дадим? – пригибаясь, словно готовясь вцепиться в Мирона, ехидно спросил Иванишин и резко ответил: – Дулю с маком! Дрожишь?

Мирон медленно обернулся к кузнецу, ошетинился и твердо резанул:

– А ты, слышь, не больно суй мне дули! Их мне весь век совали... И не дрожу я... Хоть жизнь человеческая теперь и подешевле, а не с руки мне идти следом за своим двоюродным братом. Осиротел наш род, так я не хочу, чтоб и моя семья осиротела. Дайте мне, как пострадавшему, барскую землю.

– Это ты пострадал?! – Возмущенный Бондарь сорвался с лавки, но в это время в коридоре предупредительно вздохнула Марийка. Иван Тимофиевич хотел подсечь Мирона тем, что у того родной брат и по сей день у Петлюры людям душу вынимает, но воспоминание о Василе смягчило его гнев. – Ты что, Мирон, совесть в лесу с волками протрубил? Поговори еще – так ничего не дадим.

– Нету, Иван, на то права, и ты на собрании, прошу прощения, еще не велика цаца, – возразил лесник. – Ну чего я особенно хочу? Дайте мне кулацкую землю – меня же первого в лесу шлепнут. Я ведь не в селе живу. А кому другому, может, сподручнее мой клочок на барскую обменять.

– Хитрец!

– Таких много найдется!

– И скажите, пожалуйста, – сразу вину на свою хозяйку скинул, а она у него такая тихоня, что и воды не замутит.

– И я так думал, пока не женился на ней, – огрызнулся лесник.

Тимофий брезгливо посмотрел на Мирона, поморщился, ткнул его кулаком в спину.

– Слышь? Не скули псом среди людей, ежели человеком стать захотел. Я поменяюсь с

³ Верзуны – лапти.

тобой.

– Возьмешь, прошу прощения, Денисенкову землю? – Мирон недоверчиво воззрился на Горищвита.

– Да возьму, что же с тобой делать! – вздохнул Тимофий, собирая морщинки вокруг глаз.

– А мне барскую дашь? – все еще боясь поверить, припал лесник к рукаву Горищвита.

– Какую ж еще!

– Вот спасибо! Большое спасибо тебе, Тимофий! – Мирон даже поклонился, и по морщинкам его повеселевшего лица побежали капельки пота. – Есть же такие добрые люди на свете! Ежели бы не моя баба, не морочил бы я вам голову. Думаешь, легко мне так говорить?

Мирон присел, смущенно покосился на Александра, перехватил его колючий взгляд и, оправдываясь, зашептал:

– В таком деле каждому надо свою выгоду блюсти. А как же иначе! Тимофий недаром поменялся со мной. Он хитер, знает, что господская земля теперь истощилась, хуже стала, чем у Денисенка. Ну, и то надо взять в расчет, что Тимофий за всю землю в ответе, стало быть, мой клочок ему, как грешнику лишний грех, не помеха. Не правда, что ли?

– Сам ты грешник вонючий! Человек пожалел тебя, а ты сразу жалость к хитрости приравнял. – Александр резко отвернулся от брата и стукнул об пол прикладом берданки.

Мирон заморгал глазами, не понимая, как можно в такую пору позабыть осторожность, на которой теперь только и держится крестьянское житье. Земля землей, однако надо и по сторонам оглядываться, да еще как! Такие чудеса с людьми творятся: поговоришь с ними на улице – вроде и их то же мучает, а на собрании, глядишь, отрекшиваются, словно ты всех глупее. Выходит, еще лучше надо мозгами раскидывать, коли захотел перехитрить другого. А может, теперь легче прожить, дурнем прикинувшись, будто ты из-за угла мешком прибитый?.. Эх, кабы догадаться, какая власть установится, Мирон знал бы, куда и как повернуть оглобли. А что, если и вправду царь остался в живых и готовится прибыть из Англии в Россию? Хоть он и помазанник божий, а лежал бы себе в земле, так и у него, у Мирона, спокойнее было бы на сердце.

Страхи, раздумья, скорбь по убитому Василию тупой, неумной болью отдаются в мозгу Мирона, и он не слышит, как с последними словами Мирошниченка собрание поднимается.

За порогом затих людской гомон. Свирид Яковлевич погасил плошку, и в эту минуту к нему осторожно подкралась Марийка Бондарь.

– Свирид Яковлевич, это я, – шепнула она в темноте, чтобы не напугать.

– Ну, что еще выдумала? – смущенно пробормотал Мирошниченко. – А где Иван?

– А черт его дери! – Марийка сердито отмахнулась и больно ударилась пальцами о еще теплую скамью.

– Эх, бабы, бабы, да и только! – глубокомысленно покачал головой Свирид Яковлевич. – Неужто ты забыла, каким праздником был для тебя когда-то Иван?

– Теперь хуже будня стал, – отрубила Марийка. – Слыхал, как позорил меня на людях?

– Это потому, что честен он до конца.

– Все дураки честные! – У молодой женщины перехватило дыхание. – А что он этой честностью нажил? Десять пальцев на руках, а в хозяйстве ни шерстиночки! А я хочу быть хозяйкой, а не нищенкой.

– Ну, пойдем на улицу: увидит кто-нибудь – черт знает какое вранье пойдет по селу, – усмехнулся Свирид Яковлевич, зная, что упрямую бабу не переговорить.

Марийка покорно вышла и на веранде, сама не замечая того, едва не обняла Мирошниченка.

– Свирид Яковлевич, ты же нам как родной брат, самый дорогой человек и лучший советчик. Нет у нас родни ближе тебя. Так неужто, когда у тебя власть в руках, ты на моего нерожденного хоть полоску земли выкроить не сможешь? Пусть уж не норма, хоть клочок перепадет какой ни есть! – И слезы волнения блеснули у нее на глазах, отражая сияние

далеких осенних звезд.

– Ох, Марийка, не доведешь ты меня до добра!

Мирошниченко приложил большую руку ко лбу, перебирая в памяти тревожные часы, когда он наведывался из партизанского леса к Бондарям и те без нареканий делили с ним в темноте хлеб и соль, надеясь на лучшие времена. Вот как будто и настали они, эти лучшие времена, а он выделяет Бондарям такую же норму как и тем, кто гнал его от себя, матерясь и открепчиваясь...

– Свирид Яковлевич, – жалобно тянула свое Марийка и вдруг затихла, прислушиваясь к себе, к той радости, что в ней проснулась. Потом схватила руку Мирошниченка и, не стыдясь, приложила к своему животу. – Слышишь? Бьется...

Упругий толчок раз и другой влил тепло в широкую ладонь Мирошниченка. Новая жизнь отозвалась под пальцами, и ей тоже нужна была земля.

Теперь осенние звезды наполняли глаза Марийки счастьем, ее похорошевшее лицо, с которого сразу сошла тень застарелой настороженности и недоверия к людям, мягко выделялось в темноте. Мирошниченко перенесся в те годы, когда он с надеждой и опаской присматривался к поплневшему стану своей жены. И снова, как в далекие времена, защемило сердце; казалось, он сейчас больше любил свою жену, чем когда она была еще жива и диковатыми от страха глазами встречала его, выходявшего из Черных лесов, боясь и за него и за их детей.

Притихшая Марийка обеспокоенно посмотрела на Свирида Яковлевича, не зная, что с ним делается и стоит ли снова напомнить о своем. Может, сам догадается?

– Жизнь... – проговорил Мирошниченко, глядя куда-то поверх ее головы.

Потом взял огрубевшую Марийкину руку, поднес к своим губам и поцеловал, как дети целуют руку матери.

– О, что ты, Свирид? – встревоженно шепнула женщина, не так поняв его. – Что ты, милый человек? – Ей стало и радостно, и страшно, и стыдно, почти так же, как в те вечера, когда к ней зачастил Иван.

Боже милый, никто еще ни разу в жизни не целовал ей руку, даже собственная дочка! Да за одну эту великую жалость она готова была пойти за Свиридом на край земли! И тут же она обеими руками отогнала от себя дурные помыслы: господи, вот так и пропадает женское сердце, жалость растапливает его...

А Свирид, теперь вовсе не понимая ее, сказал то, на что она так надеялась еще несколько минут назад:

– Ну что же, Мария, завтра сама приходи на поле. Не проспи. Я шепну Тимофию Горицвиту, чтоб намерил тебе пару лишних саженок. Больше пока ничем не могу пособить, а дальше посмотрим... И так в грех меня вводишь...

Марийка засмеялась, заиграла глазами.

– Не бойся, Свирид, не введу. Была б помоложе...

– Ну и язык у тебя! – только удивленно поднял брови Мирошниченко. – Гляди, Ивану скажу!

– Боюсь я его, как прошлогоднего снега, – вскинулась Марийка и упрямо поджала губы. Вот и пойми человека после этого: то руку целует, то святым прикидывается...

Наволновавшееся Марийкино сердце сразу успокоилось, и, видно, так для бабы лучше.

III

Великая сентябрьская тишь стоит над землей.

Село зачаровано звездным небом, глубока, добротна синева разбросанных по долине хат, и возле каждой зорко глядят на восток потемневшие подсолнухи. Ночь пахнет сыровой дорожной пылью, созревшими садами, терпкой коноплей. Изредка заскрипит спросонья журавль или хлопнется наземь возле покосившегося тына влажное от росы яблоко, прольется шипучим соком на траву – и снова тишина, как в добром сне, и снова

широколистые подсолнухи, словно матери, протягивают на восток отяжелевшие руки, на которых покоятся головки маленьких, погруженных в сладкую дрему подсолнушков.

И даже не верится, что есть еще войны на земле, что нечеловеческая злоба в последних корчах цедит реки людской крови, что высокоученые и низко павшие люди, как нищие, вымаливают повсюду за границей червонцы и оружие, чтобы заарканить землю, поднявшуюся на дыбы.

Горицвит и Мирошниченко молча идут по улице: ночь такая, что и говорить не надо, в голове такие мысли, что стоит глянуть друг другу в глаза – и все поймешь. Посреди неба склоняется к югу Млечный Путь, с его спелых звезд осыпается на край земли серебристая пыльца.

С тракта донеслась негромкая стройная песня, звякнуло стремя. На обочине под старыми липами пасутся нерасседланные кони, а возле толстого, в два обхвата, ствола сидят несколько бойцов и задумчиво выводят не солдатскую, не походную, а старую песню про лебедя, что плавал по синему морю, да про девушку, что не дождалась своего милого и обернулась тополем, чтоб хоть верхушкой глянуть на синее море, на свою любовь.

В далеком поле поднялся поздний месяц, в низине, за огородами, по-осеннему тревожатся перелетные птицы, а песня тоскует и тоскует под сводом густых лип, на которых еще неяркой порошей колыхается лунная дорожка.

Плавай, плавай, лебедоньку,
По синьому морю!
Рости, рости, тополенько,
Все вгору та вгору!
Рости гнучка та висока
До самої хмари, –
Спитай бога, чи діжду я,
Чи не діжду пари?
Рости, рости, подивися
За синєє море!
По тім боці – моя доля,
По сім боці – горе.

Печаль и страстное ожидание любви звенят в молодых голосах. Где-то на далеких порогах, у искореженных войной вишневых садов, где-то возле красных калин и черных пожарищ оставили парни своих милых, сели на господских и казенных лошадей, чтобы возмужать в боях, пробиваясь кто к синему морю, а кто к замутненной Висле. В боях забывалась чабрецовая нежность, рожденная в степи да в лесу, на батрацкой работе, когда рядом жнет пшеницу, или вяжет золотой сноп, или гребет сено стыдливая девчонка. Забывалась, чтобы еще с большей силой ожить в песне, когда найдется для нее час.

– Ты смотри, как верно! – вдруг проговорил и вздохнул Тимофий, весь отдавшись песне.

– Что верно? Опять прошлогодним порадуешь?

Мирошниченку не раз доводилось узнавать от друга были, которые давно уже быльем поросли.

– Не о прошлогоднем я, о песне. Словно про всех нас в ней сказано.

– Что же тут, старина, про нас? – недоверчиво усмехнулся Мирошниченко.

– А то, что земля и люди поделены теперь на две половины. Так и поется: на одном краю наша доля, а на другом краю наше горе. Когда уж не будет его?

– Да, может, еще в этом году скрутим, – дивясь речам Тимофия, ответил Мирошниченко.

– Скор ты больно, – раздумчиво заметил Тимофий.

– Думаешь, не разобьем до зимы Врангеля и Петлюру?

– Их, может, и разобьем, а вот когда мы свою исконную нужду разобьем? Ев небось ружьем не одолеешь.

– Что правда, то правда, – согласился Мирошниченко. – Ее только плугом сломить можно.

– Стой! Кто идет? – раздался из-за деревьев резкий возглас.

На тракте выросла настороженная фигура казака с поблескивающим карабином в руках.

– Свои. Председатель комбеда, а это председатель земкомиссии.

– Митинговали? – Казак опустил карабин, поправил заломленную шапку. – Все про землю?

– Про землю. На банду собрались?

– На какого же еще лешего? Пора гнилые зубы с корнями выдирать.

– Хорошо бы!..

Месяц все щедрее обрызгивал сиянием покрытые росой деревья и тракт, четче обрисовывались нерасседланные кони, а приглушенные казачьи песни все рвались и рвались на дальние пороги, к поникшим вишенникам, красным калинам и черным пожарищам, где есть еще мать или отец и верная любовь. Было в этих песнях и степное озерко, где плавало ведерочко три дни под водою; был и бедняга бурлак, у которого заболели тело и головушка; был и конь, что в тоске по казаку клонит голову; была и девушка, чьи ноги укутывал казак своей шапкой. Вековечная скорбь и вековечные надежды смыкались в молодых голосах и стлались по старому тракту, сжимая и веселя сердце...

– Нигде душевнее не поют, чем на войне, – вздохнул Мирошниченко, припоминая свое лесное, партизанское житье.

Возле двора Горицвитов друзья остановились, прислонились к воротам.

– Ну как ты, Тимофий? – ни о чем и о многом сразу спросил Свирид.

Смешно сказать, но он чуть ли не как девушка любил своего Тимофия, тянулся к этому русому молчаливому красавцу с печальными глазами. И Тимофий готов был за Свирида в огонь и в воду, но никогда и нигде, даже за доброй чаркой, не перекинулся и словом об этом со своим другом. Бывало, подвыпив, Свирид покачает головой, стукнет кулаком по столу и даст волю чувству. «Эх, Тимофий, и какого черта меня так тянет к тебе, пеньку безъязыкому»? – «Чего? – У Тимофия задрожат уголки губ. – Наверно, потому, что и за чаркой не перебиваю тебя».

И он в самом деле нигде не перебивал своего товарища, всегда спокойно, а порой с изумлением прислушиваясь к его речам, не сомневался, что при теперешней власти из Мирошниченка должно выйти не менее чем уездное начальство. Самого Тимофия не тянуло в начальство. Пускай другой хоть в золотом дворце, как жар-птица, сидит, он все равно не позавидует. У него одно желание – быть хозяином на земле: пахать, сеять, косить, вязать, молотить. Кусок хлеба в руках да сапоги на ногах – вот и все его счастье.

На улице звонко отдавались чьи-то медленные шаги, постукивала палка по сухой дороге. Из желтоватого лунного настоя, как библейский пророк, выплыл седоголовый и седобородый отец Тимофия, живущий у самого затона. Старик, увидав Свирида и сына, молча остановился перед ними, молча поднял палку и огрел ею Тимофия по плечу.

– Ты, чертов выродок, в начальство полез? – заскрипел он простуженным голосом, раскачивая волнистую, как спелый овес, бороду. – Простым уже не хочешь жить?

– Заставили люди, – спокойно отвел палку Тимофий. – Добрый вечер!

– Добрый вечер, лихоманка тебя заberi! – бушевал старик. – Может, захотел уже начальническое галихве надеть да хромом сзади подшить?

– Господь с вами! На что мне такое непотребство? – изумился сын.

– Так какое ж из тебя начальство будет без галихве? Старшим куда пошлют?

– Землей буду людей наделять, – с достоинством ответил отцу Тимофий.

– Землей будешь наделять? – выкрикнул не то с удивлением, не то с возмущением старик, сцепив руки на палке; седины его повисли над скрещенными ладонями. – Неужто

нельзя было выбрать постарше либо поумнее! Ты ж у меня еще несмышлениш!

Тимофий улыбнулся, многозначительно повел глазами и отвернулся от старика, чтобы не рассмеяться.

– В таком деле не по старшинству, а по совести выбирают, – заступился за друга Свирид.

– Ежели по совести, ничего не скажу: мой сынок, Свирид, никогда душой не кривил, да только молод он еще для этого дела, земля любит людей постарше, тех, кто не только верх, но и глубь ее чувствует.

– Дедушка, да какой же он молодой? Вашему Тимофию уже полных тридцать пять.

– Тридцать пять, тридцать пять! – передразнил старик. – Скоро вы все делаете и скоро считаете, спешите все куда-то, к лешему... А прежде не так у нас лета считали.

– А как же, отец?

Старик запустил в бороду правую руку – она темным зверьком шевелилась в седых волосах.

– Как? Неужто забыл? Лета были, Тимофий, в стороне, а впереди человек. Вот когда я повел тебя впервые наниматься к Варчукам, там оглядели, ощупали тебя глазами со всех боков и спрашивают: «Сколько же лет сыну?» Я и говорю: «Да уже пастушок». Так и пошел ты к стаду. А когда я тебя в экономию записывал на срок от сретенья до Семена, так в конторе тоже допытывались: «Сколько лет сыну?» – «Да уже погонщик», – отвечаю. И где ни спрашивали про твои годы, я говорил, чего ты по работе стоишь: «Пахарь уже» либо: «Уже косарь». Иной и до седых волос доживет, а в косари не годится, а ты еще и на гулянку по вечерам не заглядывал, а на лугу за атамана шел. Такая у тебя повсюду метрика была, пока тебе лоб не забрили. А теперь новомодная метрика началась – не сносил еще первой пары штанов, а уже в начальство прется... Что ж ты себе думаешь, Тимофий? На легкий хлеб перейти?

– Молчите лучше насчет легкого хлеба, – невесело ответил Тимофий. – Я начальство до первого заморозка: разделю землю по правде и пойду за чапыгами.

– До первого заморозка? И тут как в батраках? – съехидничал старик. Хоть он и выглядел пророком и в церкви на пасху первым начинал читать «Деяния апостолов», но языка его побаивалось едва ли не все село: умел человек и святое сказать и в печенки вьестся.

– На вас, я вижу, ничем не угодишь! – насупился Тимофий.

– Как то есть ничем? – вскипел старик и сразу воинственно взялся за палку.

– Выбрали меня люди, а вам не нравится, дубиной грозитесь...

– А это, чтоб знал, что есть повыше тебя начальство! А то распаскудишься, как тот из уезда, что по самогону ударяет.

– А теперь вам не по нраву, что буду начальствовать только до первых заморозков.

– И за это время можно такого натворить, что потом и в глаза людям не глянешь. Главное, Тимофий, начальство – держаться чапыг. Тогда у людей и хлебушко будет и совесть. А из галихве совести не вытрусил. И не серчай в свои тридцать пять лет, когда отец говорит! – Старик вздохнул и тише добавил: – Ну, уж теперь тебе, сынок, ночевать дома не придется. Земля у нас – тяжелое дело, кровью пахнет. Ко мне потихоньку, чтоб злые люди не видели, приходи. Слышишь?

– Слышу, отец. Может, зайдем в хату?

– Э, нет, не буду тормозить твоих, пускай спят до свету божьего. Как Дмитро? Может, в воскресенье пришлешь ко мне? Надо ульев пару сделать.

– Пришлю.

– Меня-то, Тимофий, наделишь? Хоть бы то, с чем я тебя выделил, проценту не хочу.

– С процентом, да еще с большим, получите.

– Вправду? Это ты, как отцу, уважить хочешь? – Лицо старика оживилось.

– Как и всем.

– Гляди, какие теперь щедрые люди стали! Только как бы из-за этого надела снова

мужицкое тело от костей не отстало... Как там, Свирид, с поляками да с Петлюрой?

– Так довоевались, что последние пузыри пускают. Поляки мира запросили.

– Не врешь?

– Так ведь я у вас говорить учился, дедушка, – ответил Мирошниченко, едва сдерживая смех.

– Тьфу на тебя, сукин сын! И меня хочешь таким же вралем сделать, как сам!

Свирид и Тимофий засмеялись, а старик затряс бородой с притворной скорбью.

– Смеются, начальники! – Он насмешливо посмотрел на друзей. – Ну, поговорили, а теперь и домой пора. Будьте здоровы!

Он подал им протканную грубыми жилами руку и понес в лунную даль библейский сноп своих седин, пахнувших осенней листвой и медовым отстоем ульев. Позади раздался приглушенный смех: над ним же еще и смеются, озорники!

Старик покрепче пристукнул палкой и с удовлетворением отметил, что смех у ворот затих. «Начальники...» Самому удивительно, как меняется жизнь. Хотя, может, так и надо, – все держится на земле. Была она господской – были господские начальники, перешла к мужикам – давай начальников из нашего брата. Вот зачем только некоторые своими галихве от людей разнятся? Нет, летом не придумаешь лучшей моды, чем полотняные штаны.

Старик, уходя в свои мысли, не замечает, что заговорил громко. Есть люди, которые в одиночестве говорят только сами с собой, а у старого Горицвита характер был куда счастливее: думал о земле – беседовал с землей, видел звезды – говорил с ними, ходил среди ульев – находилось слово и для пчел; и ничего тут не было странного – все жило вокруг него, и все прислушивалось к голосу человека...

Над селом белеет половодье лунного света, и, хотя роса уже выпала, все еще сыплются запоздалые капельки, от их прикосновения вздыхает над головой подсушенная листва ясеней. Обветшалые плетни отбрасывают на улицу укороченные тени, и лунное сияние трепещет в их продолговатых щелях, как поутру в реке трепещут золотые стайки рыб.

– Земля лучше всего пахнет осенью, – говорит себе Тимофий.

Это отзывается в нем одна половина старой горицвитовской природы, и Мирошниченко не удивляется, хотя лучше бы и язык у Тимофия был как у отца. Жаль, что самому себе Тимофий за вечер скажет больше, чем людям за год.

– Говоришь, земля лучше всего пахнет осенью? – припоминает все запахи Мирошниченко, глубже втягивает ноздрями воздух.

И правда – ранней весной земля пахнет у них только испарениями да березовым соком лесов, а теперь слились в одну настой увядающей листвы и острый аромат укропа, яблоневый дух и медвяное дыхание табачных папуш, пресный солод отсыревшей кукурузы и резкая, приятная горьковатость бархатцев. Впрочем, к чему все это теперь, когда не столько тешишься духом земли, сколько думаешь, как бы не попасть под обрез за эту самую землю.

– Ну тебя, Тимофий, к лешему! – сердится Мирошниченко. – Ты, словно колдун, можешь так забить голову всяким зельем, что и про главное позабудешь. Так завтра, говоришь, встречаемся на поле? С рассветом?

– Как взойдет солнце.

– Можно сказать, дождались мы своего праздника!

– Да еще какого праздника! Пасхи!

– Где цепь возьмешь?

– Я цепью не стану мерять землю. – На удлиннном, горбоносом лице Тимофия появляются упрямые складки.

– Почему?

– Это только господа додумались заковывать в цепи людей и поля, а мы будем легче мерять, чтоб не обижать землю. С нее живем, стало быть, и она живая.

– У тебя все живое, – одобрительно посмотрел на друга Свирид. – Ну, будь здоров.

Он подал руку Тимофию и по теням горицвитовских ясеней сторожко направился домой.

Тимофий посмотрел еще ему вслед, притворил стылые от росы ворота и остановился посреди искристого, поросшего спорышом двора. Молчит его хата в тени вишен, и только на том окне, возле которого спит Дмитро, едва-едва колышется лунная дрема. Слева от навеса темнеет овин, а над ним грустит в одиночестве дикая груша – все, что осталось от леса, когда-то шумевшего здесь. Узловатые ветви груши одним краем свисают над огородом, а другим – над овином, и в тишине порою слышно, как с кровли падают на землю и отскакивают к поленнице маленькие тугие плоды.

«Что же будем делать, Тимофий? – по горицвитовской привычке спрашивает он себя. – Вроде пора бы уже и спать, да разве заснешь в такую ночь?» Тимофий косится на дверь хаты – не услышала ли его Докия, – а потом осторожно направляется к навесу. Тут под ногами шелестит тонкая столярная стружка и пахнет свежообтесанным деревом. «Дмитро что-то мастерил». С доброй улыбкой Тимофий думает о своем, таком же молчаливом, как и он, сыне.

Он ощупью находит на своих местах топор, деревянный аршин, долото, бурав и переходит к поленнице. Хворост на ней похож сейчас на крылья какой-то удивительной птицы. Тимофий вытаскивает из-под поленницы вязовый кряж, выделяющийся своей широкой сердцевинной. Это единственное дерево на Подолье, у которого сердцевина, как и у человека, красная. Мясистый, непересохший вяз легко раскалывается на четвертинки, и Тимофий умело принимается вытесывать из них ножки и поперечину для саженки, которой завтра будет намерять землю.

Из-под топора, мельчая, осыпаются белыми перьями щепки, ножки становятся все тоньше, уже пора зарубать их долотом, и тут Тимофий чувствует, что за его работой следят чужие глаза. Он окидывает взглядом двор и улицу, но нигде никого, только тихо вздыхает, пересыпая лунные полтинники, листва ясеней да по кровле овина шелестят, скатываясь, лесные груши, их терпкий запах неотступно преследует человека.

Тимофий берет долото, слегка ударяет по нему топором – делает зарубки, – но его уже не покидает неприятное ощущение, что за ним следят.

Кроме детства, всю жизнь его недоверчиво стерегли чужие глаза. С того дня, как старый Варчук пронизал его впервые пытливым взглядом, кладя цену новому пастушку, чужие глаза сторожили его неусыпно, как псы. Менялись хозяева, но неизменны были опаска и недоверие, настороженность и презрение, брезгливость и холод, гнев и злоба в глазах, всегда напоминавших об одном: «За что тебе деньги платят?»

Не раз как ужаленный оборачивался он на эти взгляды, и не раз хозяйские зрачки казались ему холодными монетками. Для других жили в них смех, и доброта, и ласка, а его они вечно кололи одним: «За что тебе деньги платят?» А теперь, верно, куда больше глаз потянулось к нему с другим вопросом, и глаза эти злее.

Он перебирает в памяти своих врагов и тут только осознает, как много их стало в одну эту ночь, хотя пока что он ничего им не сделал. Та ненависть, что окружала Мирошниченка и Пидипригору, теперь изо всех кулацких домов и хуторов поползла во двор к Горицвиту.

«Стало быть, такой тебе удел выпал, Тимофий», – решает он, зарубая долотом ту саженку, которая ныне пропахала в его жизни самую глубокую борозду. Потом берет бурав и умелой рукой ввинчивает его в дерево.

А меж тем чужие глаза впиваются уже в спину Тимофия. Он повел плечами, словно стряхивая недобрый взгляд, еще раз оглянулся и увидел за воротами черную фигуру. На миг, на короткий миг, задрожал в его руке бурав и снова завертелся, осыпая древесную муку на землю.

А у ворот недвижно подстерегает его черная, раздавшаяся, как пень, фигура. Так несколько дней назад следили за Василем Пидипригорой. Тимофий вспоминает рассказ Ольги о том, как к ним перед несчастьем приходил Иван Сичкарь и как Василь выгнал его. Неужто и теперь сутуловатый Сичкарь, словно сыч, вещует смерть? Может, внезапно метнуться в овин, упасть на ток, где лежит еще не провеянное зерно, или взобраться на сеновал? Но гордая душа с отвращением отбросила эти мысли: никогда еще он не был

посмешищем для людей – ни в селе, ни на фронте.

Тимофий забивает и заклинивает колышки в саженку, а память из всех нитей сплетает основу, на которой, как паук, держится Сичкарь.

Этот не вцепился руками и зубами, как другие богачи, в пахотную землю, а углубился в темные леса, клал деревья под острый топор, вывозил в другие города и отпаривал в своей парильне ободья. В революцию уже не надо было платить за лес, и Сичкарь валил его беспощадно, со всей жадностью лесного дикаря, а ободья умело прятал от реквизиций в лесных дебрях. Когда же молодая власть стала добираться и до леса, он с торгов законно покупал участок и за магарычи вырубал вокруг столько деревьев, что они не уместились бы и на пяти лесосеках. Но и это не утолило нахрапистого богача. В голодные времена можно было озолотиться на торговле продуктами, и Сичкарь превзошел всех местных спекулянтов.

В ту пору проскочить сквозь все заградительные отряды и засады милиции в город на базар с двумя пудами хлеба или кошелками сала считалось у спекулянтов настоящим геройством. В темные, безлунные ночи, как нечистая сила, заскорузлые, просаленные до самой души барышники проскальзывали по пустырям и бездорожью в голодный город и вывозили оттуда одежду, обувь, золото и мешки керенок, горпинок и канареек⁴, австрийских крон и другого бумажного хлама, которым потом пестро оклеивали в селах стены хат.

А Сичкарь в это время брал в селькоме или у продагентов законный документ о том, что везет продразверстку, упаковывал в мешки с зерном куски хорошо просоленного сала и, посвистывая, спокойно ехал по широкому тракту, весело здоровался с начальниками заградительных отрядов, курил с ними самосад и объяснял: раз надо спасать власть, то и он, честный советский кулак, ей поможет. А потом потихоньку сбывал хлеб и облепленное зерном сало только за мануфактуру и звонкую монету.

На этом Сичкарь ни разу не попался, но Мирошниченко прижал его за утаенный в лесах посев. Норовистый богач наотрез отказался оплатить утайку и сел за это в губернскую тюрьму. Однако он и там сумел устроиться получше других заключенных – уже второй раз приходит на недельный отпуск домой.

Вот он открывает ворота, протискивается во двор и не торопясь несет к поленице свое грузное тело. На голове колесом лежит широкий, натянутый пружиной картуз, щегольски приплюснутый козырек врезается в переносицу. Тимофий поднимается с земли, топор в его руке блестит при лунном свете.

– Здорово, Тимофий. – Сичкарь останавливается возле поленицы. Его круглое лицо, на котором шевелится черный пучок отращенной в кутузке бороды, улыбается.

– Здорово. – Тимофий присматривается к жестокой улыбке гостя, которая мало хорошего обещает людям. Толстые губы Сичкаря блестят, словно смазанные салом, тяжелая голова подсолнухом клонится к земле.

– Саженку тешешь? – Сичкарь поиграл бородой и пошире растянул толстые губы.

– Не видишь, что ли?

– Отчего ж, вижу. – Лицо Сичкаря, не очень загорелое, с белыми монетами ветрянных лишаев, на миг темнеет. Он, вздыхая, отбрасывает бульдожьим носком сапога щепочку, вскидывает на Горицвита невинные глаза и говорит, словно продолжая свою мысль: – Чудно, Тимофий, бывает на свете – нынче саженку человек тешет, а завтра ему гроб вытесывают.

– Бывает, – соглашается Тимофий. – А бывает и так: какой-нибудь стервец копает, копает другому яму, ну прямо из кожи вон лезет, а глядишь, его самого в эту яму и снесут.

– И так бывает, – смеется Сичкарь. – И яму надо копать с толком, мозгами пораскинуть. – И, словно ничего не зная, спрашивает: – Свое поле собираешься этой саженкой перемерять?

– Не перемерять, домерять к нему собираюсь.

⁴ Горпинка, канарейка – денежные знаки в сто и двести пятьдесят рублей, выпущенные Центральной радой при Петлюре. (Примеч. автора) .

Сичкаря передернуло, с лица его смыло остатки смеха. Он по-кошачьи прищурился и шелками глаз злобно глянул на Тимофия.

– Пустое дело затеял, дружище, пустое и опасное.

– С тем и пришел ко мне?

Сичкарь вздохнул.

– С тем. Потому – жаль мне тебя, Тимофий.

– С нынешней ночи жалеешь?

– С нынешней, – повеселев, отвечает Сичкарь. – Не думал, что такой смирный человек захочет лезть вверх при ненадежной власти.

– Не нравится тебе наша власть? – Горицвит уже внутренне закипает, но на лице его полное спокойствие.

– А что же в ней может понравиться? Прежде я на две сотни стадо коров покупал, а теперь паршивое яйцо в городе стоит двести рублей. Вынули твои большевики из денег золотую душу, одну бумажную оставили. А что такое власть без денег и харчей? Полова! Дунул – и нету!

– Что-то плохо вы дуете! – впервые усмехнулся Тимофий и бросил топор на поленницу: ежели что, он и руками задушит Сичкаря, у того уже больше жиру, чем силы. Только навряд ли Сичкарь с ним сейчас сцепится. И в груди у Горицвита что-то все ноет и ноет.

Сичкарь замечает брезгливые складки возле губ Горицвита, снова улыбается и говорит, словно бы в шутку:

– Хорошую, Тимофий, вытесал саженку! Продай мне, добрую цену дам. – И он нежно поглаживает пальцами оттопыренный карман.

– Подкупаешь? – У Горицвита взлетают над переносицей брови, глаза расширяются, наливаясь лунным сиянием.

– Нет, впервые покупаю товар из твоих рук. Прежде ты с отцом у меня ободья, колеса покупал, могу же и я теперь саженку у тебя купить? За самолучший ясеневый круг колес, с осями и полком, ты мне платил десять рублей и морщился, а я тебе за эту маленькую саженку заплачу целых десять тысяч. Правда, советскими.

Он с улыбочкой вынул из кармана перевязанную бечевой пачку денег, подбросил ее, поймал и подмигнул: бери, мол...

«Не надо», – тоже мимикой ответил Тимофий.

Вот и пришли к нему первые кулацкие деньги. То, бывало, не раз приходилось выпрашивать заработанное у чужого порога, а то незаработанное само во двор явилось.

– Не хочешь? – удивился Сичкарь. – Могу набавить, я человек не скупой. – И он взвешивает пачку на руке.

– Хитро придумано, Иван!

– Что ж тут хитрого? – невинно пожимает плечами «покупатель». – Всего и торгу, что саженку домой понесу.

– Понесешь саженку, а своим скажешь – душу мою купил? – спрашивает Тимофий, вглядываясь в белые монеты лишаев на щеках богача.

– На Евангелие руку положу – никто и слова о тебе не услышит. Все, что между нами было, в могилу со мной скроется. – С лица Сичкаря слетает лукавство, и вот он уже готов во всем обнадежить Горицвита и помочь ему.

– Никому и нигде не скажешь? – допытывается Тимофий.

– Даже на Страшном суде! – Сичкарь торжественно поднимает руку с деньгами.

– Спасибо и на том.

– Молодец, Тимофий! – с чувством говорит Сичкарь. – Я так и знал, что с тобой можно по-человечески столковаться. Не две же у тебя головы на плечах, чтобы одной рисковать. – И он пнул саженку ногой.

Она, по-девичьи чистая и белая, взметнулась, и Тимофий перехватил ее на лету.

– Ну вот, Иван, вроде поговорили, можно и по домам. Тебе когда в тюрьму?

– Послезавтра.
– Скверно там?
– Не мед, однако за деньги все можно достать.
– Так, знаешь, дарю тебе десять тысяч, бери мою саженку задаром.
– На что она мне? – Сичкарь засмеялся. – Это только зацепка к разговору была. Знаешь, я пошутить люблю.
– Вольному воля, Иван. Я думал, ты и на самом деле возьмешь саженку, а я себе другую вытешу.
– Как – другую? – настораживается Сичкарь. – Ты, дружище, шутишь или насмехаешься?
– Разве мне трудно вытесать другую?
Теперь уже Тимофий смотрит на Ивана невинными глазами, а тот не понимает еще, кто кого перехитрил. Удивление, недоверие, гнев трепещут во всех морщинках мясистых щек и лба.
– Так ты и впрямь думаешь завтра мерить землю?
– А как же иначе? – насмешливо удивляется Тимофий. – Об этом у нас не было разговора.
– Смеешься? – Внезапно рассвирепев, Сичкарь яростно затискивает деньги в карман. – Гляди, как бы не заплакать! Ты знай, с кем шутки шутить! – Белые монеты лишаев наливаются кровью. – Или не догадываешься?
– Догадываюсь, Иван. – Горицвит выпрямился, и Сичкарь сразу как-то стал меньше.
– Думаешь, со мной одним? – спрашивает он, комкая деньги так, что карман трещит.
– Чего ты меня пугаешь теми, кто стоит за твоей спекулянтской спиной? Думаешь, из них вылупится новая власть? Тогда, выходит, ты глупее, чем я считал. Поторговался, а теперь уматывай со двора.
Все с тем же спокойным выражением лица Тимофий показывает на ворота. Но Сичкарь шипит ему в лицо:
– Скажи какой честный! Денег брать не хочет! А землю нашу берешь? Ты лучше захворай завтра, Тимофий! Слышишь? Захворай!
– Нет, завтра ты захвораешь! – И он выпроваживает за плечи шипящего от ярости Сичкаря.
– Захворай, Тимофий, лучше тебе будет! – пугает Сичкарь в последний раз уже из-за ворот, но повеселевший Тимофий только помахал ему рукой.
Посреди улицы Сичкарь, на всякий случай пьяно пошатнувшись, затынул:

Комнезам, комнезам –
Превелике званья.
Надіває галіхве,
Іде на собрання.

Снова затихает двор, снова слышно, как падают на землю грушки. Одна подкатилась к самым ногам. Тимофий в задумчивости наклоняется над нею, вытирает полую свитки, и вот уже на ладони у него красуется, словно из солнца отлитый, маленький золотистый плод. Тимофий раскусывает его, холодный, терпкий сок освежает рот, к небу пристают мелкие семечки.

Тишина, раздумье, и лунный свет. Тимофий бережно ставит у ворот саженку, для чего-то перелезает через ограду, которая ведет в сад и на огород. Роса с деревьев и кустов леденит его руки, ветви укрывают в своей тени. Остановившись возле большого подсолнуха, Горицвит осматривает усадьбу, а потом и всю землю – она дремлет в лунном мареве и даже сквозь сон прислушивается к чему-то.

Над огородами бесшумно пролетел филин. На миг его тупые крылья врезались в лунный диск, пересекли его и стали удаляться, уменьшаясь на фоне разлохмаченной тучи.

Продолговатое, как снаряд, тело хищника чем-то напоминает Сичкаря, в душе, вместе с отвращением, шевельнулось и полузабытое поверье: «Филин – к несчастью». Тимофий даже рукой махнул, отгоняя от себя всю эту чепуху.

Погладив подсолнух, Тимофий подошел к своему палисаднику и сразу просветлел. Он возвратился с огорода обратно во двор и остановился неподалеку от ясеней, которые посадил в тот же день, когда родился у него сын. В душе всколыхнулась нежность к сыну, как в ту счастливую минуту, когда он узнал о его рождении. Тогда молодой отец посадил во дворе не один, а целых три ясеня – надеялся, что у него будет трое сыновей. Но годы, бедность и война развеяли его надежды, и только три ясеня шумом своим напоминали о них. Потом, когда деревца встали на цыпочки, поднялись над его двором, он привык к ним, как к близким живым существам. И в окопах они виделись ему рядом с женой, отцом, сыном.

И вот теперь Тимофий подумал: недаром он все-таки посадил три ясеня – еще будут у него дети. Может, малость совестно перед Дмитрием, но не вина Тимофия, что он только в армии прослужил, как медный котелок, чуть ли не семь лет. А до этого... да что там говорить, подрастет – сам поймет, по-человечески.

И он, улыбаясь своим мыслям, осторожно отворил дверь в хату. Лунный луч освещает чернокошую голову Докии, тихонько припавшую щекой к ладони. Женщина сквозь сон расслышала шорох, зашелестев соломой, соскочила на пол, сладко потянулась и снова опустила на кровать, не в силах расцепить спутанные ресницы.

– Тимофий, ты?

– Я, Докия, спи, спи!

– Что там? – И она прилегла на подушку, борясь со сном.

– Где? – насмешливо спрашивает муж, коснувшись рукой ее голых колен.

– Ну, там... на собрании. – Докия по женской привычке даже во сне поправила на коленях сорочку.

– Ничего такого. Сии!

– Земля...

– Земля, – вздохнул Тимофий. – Спи!

И она покорно, как ребенок, уснула, чтобы увидеть во сне те же нивы, которые снятся ей чуть ли не каждую ночь.

IV

На перекрестке братья молча, даже не подав друг другу руки, расходятся по домам. Им после сегодняшнего собрания столько надо сказать друг другу, что лучше не говорить. Олександр в мыслях обзывает брата по-всячески, а Мирон, чувствуя свою вину, хочет в то же время предостеречь младшего: теперь надо жить осторожнее. Буря дубы в щепки разносит, а травку только к земле пригибает. Вот и выходит – не спеши, Олександр, вперед отца в преисподнюю. Даст бог, поднимешь голову, когда над нею пули свистеть не будут.

На тракте затихают шаги Олександра, а Мирон направляется в свой лесной угол, где возле пруда, окаймленного двойной рамой из камыша и кустарника, стоит его новая, аккуратная хата. Мысль о ней и веселит и тревожит трудолюбивого лесника: добился-таки он своего, свил себе гнездо как хотел – чтобы и синяя водица рядом, и улы красовались перед хозяином деревянными шапками, и лес радовал бы его глаза. Но именно лес-то и пугает теперь человека: какая только дрянь не ищет пристанища в лесах! И все норовят объесть, обпить, обокрасть тебя. Выносишь им последний хлеб, а сам за душу дрожишь: как бы шутя не разменяли.

Навеки запомнилось, как однажды ночью пришли к нему два бандита. Ох и жрали они – все со стола как веником смело, а потом забрали весь печеный хлеб, пшено, соль в узелке, кувшин меду, и, уже прощаясь, один из них на пороге сказал:

– Славный ты хозяин – стало быть, тебя надо убить, – и стал спокойно снимать с плеча обрез.

И убил бы, да жена кинулась ему в ноги, называя милостивцем и сыночком. Тогда бандит подумал и выстрелил в улей. За плетнем зазвенел потревоженный рой, долго еще пчелы одна за другой покидали ночью изувеченное жилище.

Вспомнив, сколько добра пошло в чужие, грязные руки, Мирон пригорюнился, замурлыкал грустную песенку и сразу же перепугался: а что, если его примут за какого-нибудь активиста и бабахнут из обреза? И вдруг подумал, что у него не хватит хлеба и до поста. Надо, чтобы жена подмешивала в муку молотые стебли кукурузы.

С боковой улицы явственно донеслись голоса. Мирон хотел обойти стороной, но узнал шепелявый говорок Поликарпа Сергиенка и степенную речь Семена Побережного, который живет над самым Бугом. Мужики оперлись на тын и продолжали нескончаемую беседу все о той же земле и политике.

– Нету, нету порядка, Поликарп, – вздохнул Побережный, высекая кремешком огонь.

– Ой, нету! – охотно согласился Поликарп, благодарный Побережному за то, что тот говорит с ним как с ровней: с ним как не часто разговаривали, хотя побасенки его слушали с охотой.

– Уже и землю вроде в руках держишь, а все не знаешь – не выскользнет ли она, как вьюн... – Пожилой рыбак нахмурился, раздувая огонек.

– Того и гляди, выскользнет. – Худой, как жердь, Поликарп склонился над плетнем; он прикурил от губки, видно, глубоко затянулся, и кашель глухо отозвался в его тощей и прокуренной груди.

– Кругом же бандиты, кругом! Не Гальчевский, так Шепель, не Шепель, так кто-нибудь из компании «гоп, кума, не горюй»⁵ – и все на безначалье наше. Нету той строгости, того порядку, что при царе были.

– Да-а, далеко до того, – так же охотно поддакивает Поликарп и внезапно выпаливает: – Вот ежели бы царь да с большевиками замирился, кругом был бы порядок. Царь, я думаю, царствовал бы в своем хрустальном дворце, а большевики землю бы людям нарежали. Тогда было бы у нас государство на весь свет.

– Эн куда хватил! – Побережный безнадежно махнул рукой и затянулся сигаркой.

«А может, что и вышло бы из этого», – на миг задумался Мирон, осторожно проходя мимо, но вспомнил, какой Поликарп болтун, и махнул рукой. А что нет порядка, это сам бог с неба видит. Ну, наложили на мужика разверстку, так пускай уж тогда и власть его защищает, пусть не грабят его все, кому не лень. А то выходит – платишь не одну, а три продразверстки. Да к тому же нигде паршивой железины не достанешь, а на керосин да на соль такие цены, что не подступишь. Вот лемех для плуга нужен до зарезу, а человек вместо него прилаживает австрийский штык. Да только стоит ли ради этого тревожить кости помазанника божьего, пусть уж лежит себе в земле, не трогает людей, и они его не тронут...

В сторонке, возле навеса, что-то зашевелилось. Мирон испуганно присел под тыном. Совсем близко раздался девичий голос:

– Слышь, не балуй!

– А что я делаю? – ломающимся баском возразил парень.

– Ничего. Убери руки.

– Вечно от тебя только это и слышишь.

«Черти, и революции на них нет!» – осмелев, подумал Мирон, выпрямился и даже полез в карман за огнивом. Но нет, лучше дома закурить.

На краю села за мостиком, где всегда, кроме зимы, ночует эхо, спускается в овражек узенькая улочка. Она выбегает к рядку верб, и тут ее перехватывают ворота. Чуть подалее за ними начинается усадьба Мирона.

Вот и видны уже лунные блики на его родниковом, вечно холодном пруду. Как и всегда, листва камыша поворачивается вслед прибрежному ветерку, как всегда, не горюя,

⁵ «Гоп, кума, не горюй» – так звали на Подолье банды махновцев.

весело журчит пониже пруда неумный ручеек. Мирон просыпается и засыпает под его щебет, а когда отлучается на день-два, чувствует, что ему недостает чего-то.

Он вступает на крохотную, осененную вербами плотнику, отделяющую пруд от ручья, и вздрагивает: за кустами орешника стоит бричка Барчука, лоснящиеся спины вороных поблескивают при лунном свете. Позади лошадей стоят сухой, черный, как цыган, Варчук и широкоплечий, с головой, отороченной космами волос, Ларион Денисенко. Они молча ждут, пока Мирон подойдет. И он идет к ним, как к убийцам. Чего же надо им от его души, которая ищет одного лишь покоя? Только где же теперь найдешь покой на земле...

– Долго вы ораторствуете, Мирон. – Варчук, покачивая клинообразной головой, подает узкую руку.

– Не пьем, не едим, знай на митингах галдим. – Денисенко прямо из руки Варчука перехватывает руку Мирона. – Что там? – кивает он своей колесообразной шевелюрой в сторону села.

На пруду спросонья кашлянула утка и напугала всех троих. Денисенко потянулся рукой к карману, а Мирон поднял щепоть к вспотевшему от страха лбу.

– Вы скоро собственной тени будете пугаться, – презрительно скривил тонкие губы Варчук.

На плоском лице Денисенка отразилось неудовольствие.

– Помолчи, Сафрон, со своей храбростью. Теперь не знаешь, с какого бока погибели ждать. Что же там на собрании слушали-постановили?

– Э, и не спрашивайте! – безнадежно махнул рукой Мирон и опустил голову под тяжестью двух настороженных взглядов.

– Не отказались мужики от нашей земли? – спросил Сафрон, подходя к леснику.

– Один я отказался.

Мирон впервые замечает, что большой, с горбинкой у самой переносицы, нос Сафрона одним концом вырастает в сплошную линию бровей, а другим в смолистые усы.

– Только ты один? – Сафрон удивляется и хмурится, недоверчиво поглядывая на лесника: не обманывает ли?

А Мирон начинает поспешно оправдываться:

– Когда я, прошу прощения, отказался от земли Лариона, сказал, что возьму только барскую, сзади отозвался было еще кто-то, да Мирошниченко заглушил.

– Как же он заглушил? Может, не по закону? – спрашивает Сафрон в надежде уцепиться хоть за какую-нибудь ниточку.

А Мирону снова становится страшно: не продал ли он Мирошниченка?

– Да нет, он как сказал мне: «Не хочешь брать землю Лариона – не бери, а другой не дадим», – так они и замолчали. Этим не то что заглушишь, этим добьешь мужика, – вырвалось у него лишнее слово.

– Его и лихоманкой не добьешь! – Сафрон блеснул ненавидящими глазами. – Завтра будут делить?

– Завтра.

– Что ж, может, и потешатся несколько дней нашей землей. А ты, Мирон, держись своего – не пропадешь. Живи! – Сафрон хлопнул лесника костлявой рукой по плечу, словно разрешал ему жить на свете.

Денисенко, горбясь, тяжело зашагал к бричке, вытащил оттуда наволочку, поднес леснику.

– Бери, Мирон, гостинец. Знаю, туговато у тебя с хлебом. Наскреб малость святого зерна для тебя.

– Обойдусь, Ларион, – морщится лесник.

– Не обойдешься, знаю твои недостатки! – И Денисенко решительно сунул подарок в руки лесника.

Тот растерянно подхватил наволочку снизу, и она приросла к его телу, как чужой живот.

Варчук и Денисенко, потихоньку переговариваясь, залезли в бричку. Воронье, перекидываясь лунными бликами, с роскошным звоном перебирают ногами бревнышки плотины и, тронутые вожжами, сразу переходят на размашистую рысь. В глаза растерянному леснику бьет нестерпимый блеск обрызганных росой шин. Бричка с двумя темными фигурами исчезает на лесной дороге, а возле плотины остается одинокий человек со своими нелегкими думами и чужим зерном; оно для Мирона хуже краденого, даром что никто и не узнает об этом, даже родной брат.

На пруду с плеском вскидывается рыба, тихие круги расходятся и расходятся по воде до самых берегов и скрываются под корнями деревьев, а вот для дум нет такого надежного убежища, все мучают они человека.

Мирон опускает наволочку на землю, развязывает и засовывает руку внутрь. По одному прикосновению определяет, что зерно не отвеяно. Потом подносит полную горсть к глазам. Ветерок, играя, срывает с руки половину и красные, как кораллы, зерна пшеницы то вспыхивают, то гаснут под движущимися тенями верб.

На руке у него лежит та самая пшеничка, которую он давно хотел выменять у Лариона на посев, да тот заломил за нее, словно за родного отца. А теперь вот сам привез. Мирон грустно оглянулся и без жалости швырнул горсть зерна в пруд: оно зашипело и, как дань неведомому богу, облегчило его душу. Потом Мирон поднял наволочку, отпер клеть и сплеча высыпал зерно в темный, глуховато загудевший сусек. И в этот миг на него надвинулись презрительные глаза Мирошниченка. Лесник мысленно оправдывался перед ними: ничего, совсем ничего такого не сказал он Варчуку и Денисенку...

Прежде Мирон, засыпая хлеб в сусек, всегда останавливался перед ним, перебирал зерно руками, а тут отвернулся и быстро запер клеть.

В хате, разметавшись, спит на постели дочка, а напуганная жена и сегодня ночует в чулане. От стола несет жареной рыбой, которую вылавливает вентерями его Василинка. Но сейчас ему не до еды. Он снимает шапку, сапоги, катанку⁶ и, оставшись перед образами во всем полотняном, кладет на себя широкий крест и горячо шепчет:

– Крестом крещуся, с крестом спать ложуся, крест при мне, при моем сне. Пречистая в головах, ангелы по бокам, сторожите душу до полуночи, а от полуночи до свету, а от света доньне, а отныне до веку...

Но ни пречистая в головах, ни ангелы по бокам не принесли ему в эту ночь покоя.

V

Из Каменец-Подольска, последней резиденции «головного атамана войск Украины» Симона Петлюры, через линию фронта пробирались подполковник политического отдела Киндрат Погиба и сотник Данило Пидипригора.

Одетые в поношенные крестьянские свитки, с косами за плечами, они возвращались из Бессарабии в обличье отходников. Даже табак у них в кисетах ради осторожности был молдаванский.

Правда, Погибе предлагали взять в дорогу еще и отравленные папиросы – может, кого-нибудь придется отправить потихоньку на тот свет, – но у опытного подполковника вокруг рыжих, как табак, глаз собрались иронические складки, и арбузовидная, всегда угрюмая физиономия его повеселела.

– Возьму, только если, не дай бог, придется долго в Совдепии работать. А сейчас моя миссия гораздо проще.

В военном министерстве Погибу знали как смелого вояку и способного штабиста. Хмурый и сосредоточенный он не терял головы в боях, не совался в мелкие авантюры и, сидя в штабе, кажется, прежде самого Петлюры разгадал далеко идущие планы австрийского

⁶ Катанка – род куртки.

архикнязя Вильгельма Габсбурга.

Когда узкоплечий отпрыск эрцгерцога Карла-Стефана из румынского плена вторично попал на Украину, головной атаман встретил его с распростертыми объятиями и своим приказом переродил ротмистра Вильгельма Габсбурга в полковника украинской службы Василя Вышиваного. Конечно, после Бреста, когда немцы и австрийцы чуть не стукнулись лбами, вырывая у делегации уэнэровцев ключья Украины, можно было сделать из ротмистра не только полковника, а даже генерала, но следовало подумать и о том, почему архикнязь полюбил Украину, почему так заигрывал в своей расшитой сорочке с сечевыми стрельцами, почему, приложив немало усилий к изучению украинского языка, принялся печатать в Вене плохонькие украинские стишки.

Не венец поэта, а корону украинского королевства мечтал надеть на свою голову наследник эрцгерцога. Поигрывая маленьким треугольничком усиков, он, когда бывал в хорошем настроении, любил повторять: «Если уголь – король, а пшеница – королева, то Украина – королевский трон».

Да, для него Украина была только тронном, на который он рассчитывал опустить свой поджарый зад. И как этого не почуял честолюбивый головной атаман, который не мог представить себе Украины без своего единовластного правления?

Хотя Погиба и недолго любил суетливого, падкого на парады и авантюры Петлюру, а все свои надежды возлагал на Юрка Тютюнника, однако осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года однажды намекнул головному атаману о тайных замыслах новоиспеченного руководителя политического отдела. У головного пониже припухших губ задергались две складочки.

Он со всхлипом вдохнул воздух и сразу же, по давно выработанной привычке, артистично поднес руку к воротнику, украшенному трезубцем и цветами. Казалось, в знаках власти он искал новое решение, и хотя за атаманом наблюдал лишь один человек, он и перед ним позировал, не различая грани между великим и смешным.

А смешным он стал для Погибы уже в осенние дни восемнадцатого года на подступах к столице. Когда петлюровцы выгнали из Киева Скоропадского, сам головной атаман Петлюра еще пять дней не въезжал в столицу, руководя иной операцией: его хозяйственники обдирали в спальнях вагонах красное и зеленое сукно и шили из него для Петлюры и штабистов казацкие шлыки. Без них полководец не мог въехать в столицу.

– Спасибо, пан подполковник, разберусь. – Головной показал движением усталых глаз, прикрытых тяжелыми, в синих прожилках веками, на дверь и, отняв руку от знаков атаманской власти, нажал на потайную кнопку звонка.

Но в это время назрели такие события, что головному атаману, очевидно, стало не до королевских грез Вышиваного. «Начальный вождь» украинской галицийской армии Микола Тарнавский по тайному приказу диктатора Петрушевича подписал договор между галицийским командованием и Добровольческой армией Деникина. Украинская галицийская армия, которая на несколько месяцев продлила агонию головного атамана, разбитого весной тысяча девятьсот девятнадцатого года, теперь бросилась в объятия того врага, который, неведомо почему, считал Петлюру большевиком. Петрушевичу легче было принимать из рук Деникина галицийское губернаторство в составе «единой-неделимой», чем присоединиться к договору с Пилсудским, подготавливаемому тайно от Петрушевича петлюровскими дипломатами.

И в эти осенние дни в Каменец-Подольске, где с июня осели два «украинских» правительства, тихая ненависть между двумя царьками переросла в яростную грызню между директорией и руководством Западно-Украинской народной республики. В то время как тиф нещадно косил петлюровцев и сечевых стрельцов, в то время как фронт разлагался, а министры снимали с позиций бойцов для эвакуации за границу награбленного имущества, в Каменец-Подольске шла жестокая борьба за власть, шел бесконечный торг – кому править Украиной и какому палачу выгоднее служить. На последнем объединенном совещании министров, состоявшемся у диктатора Петрушевича, присутствовал только один министр

УНР, и недаром доктор Макух едко подметил, что на совете министров выступили восемнадцать управляющих делами, потому что министры бежали с Украины с «неприкосновенным» имуществом.

Но и в такое время, когда два правительства владели двумя неполными губерниями, между директорией и Западно-Украинской народной республикой (ЗУНР) не было достигнуто соглашения. Старый адвокат, неожиданно ставший диктатором, умело свалив вину за подписание договора на Тарнавского, даже для проформы арестовав его, попытался широким жестом примирить спорящих.

– Для истории нам надо умирать вместе!

Он верил, что история уже неотделима от него, как верил в то, что она сбросит со своих страниц корсиканца из Кобеляк, как втайне величали Симона Петлюру.

– Для истории нам надо умирать вместе! – повторил он, трагически подняв руки к черным, очевидно крашеным, усам.

Но и перед смертью диктатор поставил перед директорией четыре требования: включить в директорию одного галичанина, Петлюре же оставить почетный титул головного атамана, но от оперативных задач его отстранить, сменить кабинет и отдать галичанам портфель министра финансов.

Остатки правительства Украинской народной республики отклонили домогательства Петрушевича, ибо где же это видано, чтобы Петлюра мог хоть на вершок ограничить свою атаманскую власть! Пятнадцатого ноября Петрушевич со своим правительством тайно скрылся из Каменец-Подольска, а головной атаман бросил на произвол судьбы остатки своей армии, сам же с несколькими членами кабинета и сейфом поспешил в Проскуров. Но по дороге пришлось бросить даже сейф, на возу добраться до Любара и оттуда бежать от своих же атаманов к полякам.

В эти же ноябрьские дни бежал в Австрию и претендент на украинскую корону. Он уже больше не явился к головному атаману, когда тот вернулся на Украину с теми самыми союзниками, которым еще недавно грозил словами поэта: «Кары ляхам, кары!»

За два года цыганской службы у головного атамана Погиба уже потерял возможность судить, кто же по-настоящему заслуживает кары. Вчерашние враги становились союзниками, вчерашние союзники оборачивались лютыми врагами, ориентация Петлюры менялась, как ветер весной, и за все это приходилось сполна платить кровью, хлебом и возами денег, напечатанных в Берлине и Каменце.

Нелегкие раздумья подчас тревожили душу Погибы, и больше всего пугало то, что с каждым днем он уносился все дальше от своей Украины. Он тоже мог бы давно сидеть за границей, но после бегства Петлюры к Пилсудскому пошел с Омеляновичем-Павленко и Тютюнником в тяжелый зимний поход, чтобы только остаться на Украине. Бился с денкинцами и с красными, отлеживался в тифу у хуторян и весной двадцатого года с болью в сердце получал у поляков для своих казаков обноски бывшей австрийской армии. Вот и все, что заслужили его голодные, ободранные и завшивевшие бойцы. Правда, они еще с удивлением увидели генеральские знаки различия, нашитые новыми союзниками атаману Омеляновичу-Павленко и, кляня все на свете, стали в австрийских обносках на правом фланге Шестой польской армии.

И хотя Петлюра за остатки своей власти продал Пилсудскому Галицию, Холмщину, Волынь и Полесье, но надо уж было держаться хоть за него: все эти два кровавых года они были с Петлюрой на одной веревочке. Если Врангель не оттянет еще больше красных частей с Польского фронта, эта веревочка, кажется, станет петлей.

Погиба лежит на сене в мужицком овине, смотрит в шелку на пепельное, равнодушное небо, – оно у самой земли стелет на ночь тучи; там, за этими осенними тучами, уже другая земля, к которой он должен сегодня пробиться.

Через огороды, позванивая уздечками, проходят двое пожилых крестьян. У одного губа, видно, рассечена, и на сизой, как туман, бороде видны следы присохшей крови.

– Берегли, берегли, а теперь на тебе! – сам с собою рассуждает другой, низкорослый,

похожий на вывернутый из земли пень. – Эт, черти бы их позабирали...

– Теперь хоть на самого себя эту сбрую натягивай, – потряс уздечкой седобородый и вдруг, словно кидаясь очертя голову в омут, исторг из груди крик души: – Господи, хоть бы уж красные пришли! Смилуйся, господи!

– Эт! – махнул корявой рукой низкорослый. – Мужик у всякая власть на погибель. А красные продрозверстку накладывают.

– Зато землю дают!

– Эт, кому дают, а у кого и отрезают.

– У нас не отрежут.

«Сволочуги! – устало ругается про себя Погиба. – За них кровь проливаешь, а им задрипанной клячи жалко».

Но за такой вот клячей – подполковник понимал это – стояли все крестьянские невзгоды тех лет. Избитый, ограбленный скоропреходящими властями, атаманами и разными батьками, без керосина, без соли, без спичек, без обуви, в грубой полотняной одежде, стоял мужик на путях истории, устремив взор в землю. А рядом горбилась его покорная, с натертыми боками кляча, которая тоже мучилась не меньше крестьянина, добывая ему и его детям черный, горький от сурепки, намокший потом хлеб.

Впрочем, Погиба теперь завидовал подчас и крестьянской судьбе. Какая бы ни пришла власть, а этот залатанный мужичонка останется на Украине хоть в плохоньком, да в родном закутке и, глядишь, дождетсЯ своей земли, да еще и сам, сукин сын, большевиком станет. А куда водоворот войны закинет его, Погибу, кем он станет в ближайшее время?

После того как поляки заговорили о перемирии с большевиками, Погиба не раз с ужасом заглядывал в будущее и не видел пристанища для своей души. И в самом деле – куда ей было деваться? Пилсудского он ненавидел, большевиков боялся, на Петлюру махнул рукой. Но была еще надежда на Врангеля и чудо, и, чтобы приблизить это чудо, он без колебаний согласился перейти линию фронта и поднять всех этих батек на организованное выступление против Советской власти.

Сухо стукнул деревянный засов, створки ворот распахнулись, и в потоке предвечернего света в овин, пригибаясь, вошел сотник Пидипригора. Даже плохонькая свитка, облезлая баранья шапка и рыжие, залатанные сапоги не уродовали крепкой, коренастой фигуры сотника. У него было загорелое, обожженное солнцем чуть скуластое лицо простого деревенского парня, у которого только и красы, что свежие, по-юношески припухшие губы да диковатые темно-серые глаза, которые и улыбаются-то с затаенной тоской. Черт его знает, что кроется в этих больших глазах: тоска по земле или по детскому лепету, который и доньше снится бывшему учителю сельской школы?

– Что слышно, пан сотник? – Подполковник поднял над сеном слишком тяжелую для его шеи голову.

– Брод найден, лодка подготовлена, а на том берегу как будто со вчерашнего дня никого нет. Пока взойдет месяц, доберемся до хутора Веремия, – кратко уточнил сотник то, что, в общем, было уже известно подполковнику.

– А Веремий надежен? Не переметнулся? – с ударением на последнем слове спросил Погиба.

Пидипригора только на мгновение поморщился, сердясь на свою внутреннюю дрожь.

– Не должен бы. Ему с красными не по дороге.

– Хуторок большой у него?

– Пятьдесят десятин.

– Винниченковская норма, – с усмешкой напоминает подполковник разъяснения бывшего председателя генерального секретариата. – Как-то поживает теперь ваш бог?

Подполковник знает, что сотник почти никогда не разлучается с произведениями Винниченко, считает его одним из лучших европейских драматургов. Сотник Евсей Головань в Каменец-Подольске не раз насмеялся над Пидипригорой:

– Ты не думай, что Винниченко – это дерево, из которого вырезают королей. Это

дерево качается во все стороны, а сердцевина его еще никем не разгадана...

– Как живет мой бог – не знаю, – Пидипригора внимательно взглядывает на подполковника, – но он бросил нам новый клич.

– Это он умеет! Да еще как! – нагло вато засмеялся подполковник. – Не ориентирует больше на пятьдесят десятин?

Этот хохот возмущает сотника. Еще минуту назад он заколебался, показывать ли Погибе то, что он случайно нашел у одного крестьянина.

– Нет, он ориентирует нас на... коммунизм!

Подполковник от неожиданности даже присвистнул, подпрыгнул и на штанах, как ребенок, съехал по скользкому суну прямо на ток.

– Что-нибудь напечатано? Где? – Он торопливо отряхивался.

Пидипригора вынул из внутреннего кармана синюю на грубой оберточной бумаге газету – подольские «Вести».

Подполковник нетерпеливо вырвал у него из рук большевистскую газету, развернул ее, нашел нужное место и принялся читать.

Толстые, надутые губы подполковника оттопырились и шевелились, как у читающего бурсака. Но вот он снова свистнул, поднял глаза на Пидипригору.

– Ну и штука ваш бог... Как он теперь на капитализм обрушился! Когда же он правду говорит, а когда враньем пробавляется?

Пидипригора иронически улыбнулся, и серые глаза его красиво просветлели.

– А это вам, должно быть, виднее, пан подполковник.

– Почему вы так думаете? – покосился на него Погиба.

– Не я же, а вы встречались с ним в Центральной раде и в директории.

– Встретаться – встречался с этим орешком, а, выходит, разгрызть его и сам головной атаман не смог.

– Зато он головного атамана... – вырвалось у сотника, но он вовремя замолчал.

Погиба сосредоточенно собрал морщинки на лбу и тихо, задумчиво промолвил:

– Знаете, кого мне напоминает ваш Винниченко?

– Нет, не знаю.

– Великого грешника, вроде пана Твардовского, который не может прибиться ни к небу, ни к земле. Как вы думаете?

– Образно сказано, – задумался и сотник. – Ну что ж, если продолжить ваш образ, то политика у него, может, и от лукавого, да зато какая искра божия сияет в иных его произведениях!

– Я запретил бы писателям вмешиваться в политику! – заявил Погиба, презрительно косясь на газету. – Какая там еще ересь порадует нас?

– Читайте дальше. – Сотник бросил на него загадочный взгляд.

– А вы небось уже на память выучили? – недоверчиво спросил подполковник, и снова его скривившиеся, как месяц на дождь, губы топырились, шевелились, и снова их разорвал свист, и обнажились пощербленные кончики широких зубов. – Вот это уел! До самых печенок Петлюры добрался!

Погиба опустил газету, не зная – изорвать ее или вернуть сотнику. Наконец обернулся и трижды сплюнул через левое плечо.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Надо же на дорогу такую ересь найти! Уж не переметнулся ли ваш бог от французов к большевистским комиссарам?

– Пусть об этом думает политический отдел, пан подполковник. А наше дело телячье.

– И давно вы начали считать свое дело телячьим? – встрепенулся подполковник, и в его словах звучало не то любопытство, не то угроза.

– Нет, после этого письма, – схитрил сотник. – Боги и то не идут прямыми дорогами, а что же делать нам, грешным?

– А прямых дорог, пан сотник, нет. Они только в тумане молодости кажутся ровными и розовыми, – убежденно сказал Погиба. – Уж не потянуло ли вас домой?

– Меня всегда тянет домой, – просто ответил Пидипригора, и перед ним и впрямь, как в тумане, протянулись пути его юности.

– Хитрите, пан сотник! – Табачные глаза Погибы блеснули двумя искорками.

Пидипригора только пожал плечами и ничего не ответил. Что ж, Погиба разгадал, что он хитрит, но не раскрываться же перед ним? Не мог же он сказать: «Все это два года по зернышку собиралось и набухало во мне».

Для подполковника армия была матерью, она вырастила и взлелеяла его, возвеличила блеском царских погон, сделала из него сперва воина, потом убийцу. Он, кроме муштры, штабных карт и убийства, не знал и не хотел знать никакого ремесла, и если его душа тосковала, то лишь по настоящим полководцам, которым суждено защитить и возродить казацкую славу Украины. А Пидипригору погнали в армию крайняя жестокость восемнадцатого года и национальная романтика. Он свято верил тогда, что ударит в пасхальный колокол освобождения, и только позднее начал с ужасом понимать, что звонит на похороны своей Украины.

VI

Печальные осенние сумерки. На мраморе недвижных облаков как тень застыл высокий тополь. И как тени снуют вокруг тебя мысли, испуганно шарахаются от своего страха, летят за реку, за тополь, к тому клочку земли, на котором и до сих пор, как ты надеешься, ждут тебя человечность и счастье... Может, кого-нибудь они и ждут, только не тебя. Ты развеял их по пылинке, рассеял на чужих путях, расстрелял в тех битвах, которые не славой, а позором легли на твою изувеченную молодость.

А клочок земли от этого не становится хуже. То под громом стоит, ветви деревьев колышет, зовет: «Приди!», то весенними, в цветах, лугами, синими плесами расстилается и тоже шепчет: «Приди!» И давно пришел бы, целовал бы дорогу, где люди ходят, поклонился бы родным порогам, если бы не страх. Неужто ты такой трус, неужто душа у тебя заячья? Нет, если обрывать, так нынче же, все, с пуповиной!

Небо опускается ниже, поглощает тень тополя, подходит к самому берегу и шевелит на нем потемневшие тучи.

Словно в забытии Данило Пидипригора спускается к реке. За плечами у него старая, сбитая коса; он задевает ею за кусты, и посеченные ольховые листочки шуршат в холодных росах. Впереди, с веслом в руке, насвистывая песенку, ковыляет босоногий паренек, позади тяжело топает сапогами подполковник. Как бы ему, Данилу, хотелось сейчас сесть с веслом в руке в свой вербяной челнок, прибиться на нем к своему тихому дому, к братьям, к жене. Где только она теперь?

Двадцатилетним учителем он встретил ее на каменистых берегах прихотливого Тетерева. После роскошной и ласковой природы Подолья его все удивляло в глухомани полесских древлянских дебрей – и гнилой, обветренный камень, на котором вырастают сосновые боры, и мраморное месторождение возле «Дьякова дубняка», и лесные каменоломни, где гнули спины смуглые красавцы каменотесы, потомки древних итальянцев, давно уже породнившихся с украинцами. Тут, на правом берегу реки, возле низкой, поросшей мохом террасы он как-то увидел группу семинаристов. Черноволосый студент с глазами бунтаря сжимал в руке камень и, размахивая им, гневно и горячо убеждал своих спутников:

– Только подумайте! Это пока что единственное на Украине месторождение подлинного серого и розового мрамора, на него, как на девичьи виски, легла прекрасная нежность белых и алых прожилок. – И он показал обломок породы. – Его украшают зерна черного лосняка и кристаллы пирита, флюорита и красного железняка. Из этого надо высекать богинь и героев, а всю эту красоту уничтожает на огне дикарь помещик Коростышев. Он из мрамора выжигает известь!

– Какой вандализм, какой вандализм! – возмущенно зазвенел голосок тоненькой

миловидной девушки, и этот колокольчик сразу покори́л Данила.

Ее звали Галей, а у разгневанного семинариста, с глазами и статью бунтаря, фамилия была тишайшая, от названия травки – Нечуйвитер. Как все это было давно и как недавно! Миловидная девушка стала его женой, из Григория Нечуйвitra, как и следовало ожидать, вырос каторжанин и коммунист. А он, Данило, вместо поэта стал петлюровцем. И кому какое дело, что он с романтических вершин свалился в смердящую яму! Идеи Нечуйвitra казались ему примитивными и слишком железными для его крестьянской души, влюбленной в величественные памятники старины и в свой тихий рай на семи десятинах.

– Чего, пан сотник, пригорюнился? – Подполковник ударом руки прибил к земле все воспоминания.

– Мыслей да забот полна голова.

– Страшновато?

– Не без этого, – признался Пидипригора, и босоногий парнишка с удивлением оглянулся.

– Чего там бояться? Красные простого мужика не трогают. – Он показал глазами на сбитую косу, и нельзя было разобрать, глумится он или ободряет.

Подполковник ощутил в тоне перевозчика лукавство и подозрительно глянул на него.

С побережья тянуло солоновато-кислым илом и рыбьей чешуей. Вот уже сквозь оконце примятого ивняка мелькнул плес Буга, у берега заштрихованный смолистыми тенями деревьев, которые, словно потонувшие великаны, стремятся восстать из глубин. Берег здесь черноземный, травянистый, и вода не шипит, как на песке, а глухо клокочет. На кого гневается она, отваливая землю с купами кустов и жесткой земли? На левобережье вместо верб и кустарника залегли горбатые тени. Чем встретит их мгла: мертвой тишиной или роковым выстрелом?

Как бы хотелось стать сейчас маленьким мальчиком, услышать материнское слово, забыть груз пережитого и ужас будущего! Кажется, все, когда сделают что-нибудь плохое, обращаются к своему детству. В этом есть утешение, но нет защиты: невинность детства не в силах смыть грязь, выросшую в годы зрелости.

Парнишка, согнувшись, вытаскивает из кустов челнок, показывает на него Погибе и Пидипригоре, а сам широко крестится. Сотник садится на носу, поближе к опасности, за ним подполковник, а перевозчик руками и грудью нажимает на нос лодки и вскакивает в нее, когда та с плеском отделяется от берега.

Темень придавила суденышко к воде. Два человека с оружием, а третий с веслом настороженно следят за берегом. Вода, как сама неизвестность, зажала долбленную посудину в тиски и что-то лепечет ей на своем языке. Пальцы, сжимающие ручку браунинга, затекли, а челнок все колыхается и колыхается, выхватывая из помятых волн то плеск, то вздох, то клетот гнева.

С размаху надвинулся берег. Челнок мягко, как щенок, ткнулся в него носом, развернулся. Данило выскакивает на податливые заросли, оглядывается вокруг, вода браунингом.

На берегу осенняя тишина, и только плеск воды подмывает ее. Все трое молча прислушиваются к ней, и у парнишки вырывается первый вздох облегчения:

– Слава богу, в добрый час приехали!

В это время за ивняком раздалось визгливое и пьяное: «Маруся отравилась, в больничный дом везут...» Неподалеку прогремела подвода, пролетели мужские и женские голоса, и тишина приглушила их. Но через минуту ее вновь нарушил прекрасный одинокий голос, неведомо для кого изливавший кобзарскую тоску на торной подольской дороге, умоляя не проливать людскую кровь:

Кров людська – не водиця –
Проливати не годиться.

И перед силой этой тоски, перед силою любви человеческой двое убийц невольно опустили оружие и головы. Только перевозчик с поднятым веслом поворачивал лицо, как подсолнух, в сторону песни своей кровью политой земли.

– Слепой Андрийко поет. Даст же бог такой голос! – с грустным восторгом промолвил паренек.

– Кто ж это? – обернулся Пидипригора.

– Человек, – уклончиво ответил перевозчик.

– Отроду слепой?

– Где там! Ослепили.

– Кто?

– А кто ж его знает? – Нахмурившись, парень помолчал было, но не выдержал: – Одни говорят – гетманцы, другие на вашего брата кивают...

– А ты знаешь, кто мы? – вскипел подполковник и резко обернулся к перевозчику.

– Поденщики, – спокойно ответил тот.

Но это показалось подполковнику едким намеком.

– Замолчи, паскуда, а то другую ногу окорочу! – зашипел он, поднимая оружие на калеку.

– Спасибо и за то. – У паренька зазвенел голос. – Вижу, не задаром перевозил.

Он прыгнул в челнок, молча оттолкнулся от берега. Вода заволновалась и понесла паренька на ту сторону, где его ждали с добрым словом.

– Зачем вы так, пан подполковник? – с укором проговорил сотник.

– А чего он распустил язык, как голенище? Не знает, а обливает нас грязью.

– Он знает! Видно дьякона по космам! – резко бросил Пидипригора, сердясь на себя за то, что не смог более достойно обрезать подполковника.

– Да пес с ним, – успокаиваясь, махнул рукой Погиба. – А голос у этого Андрийка просто из сердца жилы выматывает. Такому только в императорском театре петь. Но с нашим варварством...

Шурша кустами, они пересекают мягкую от размолотой пыли дорогу и полями шагают к хутору Веремия, который невесть почему облюбовал себе низину, тешился своими прудами, рыбой и засеивал прежде свои поля не столько хлебом, сколько душистой коноплей на продажу.

– Вы тут не собьетесь? – спрашивает подполковник, теряя ориентацию в путанице полевых дорог, дорожек и троп.

– Все это босыми ногами исхожено. На этих стежках они росли, покрываясь ссадинами.

– Поэзия ссадин! – засмеялся подполковник.

– Да, истинная поэзия у нас всегда была поэзией ссадин. И смешного в этом очень мало.

В долине темнеют высокие, как холмы, осокори хутора. У плотины Погибу и Пидипригору встречается агент атаманской разведки Денис Бараболя. Для уверенности он чиркает спичкой, приглядывается к Погибе и Пидипригоре, который сразу запоминает невысокую круглую фигуру и обросшее, ворсистое, словно шерстяной мяч, лицо. Агент сердечно здоровается с Погибой и, как падкая до парней девушка, все цепляется за его рукав.

– Никого здесь нет? – Подполковник, недолюбливающий шпионов, осторожно высвобождает свой рукав из объятий Бараболи.

– Сейчас ни одной живой души! Но бывает, залетают на хутор красные казаки – поедят, возьмут пару снопов овса для лошадей. Во избежание неожиданностей я вас устрою в старой столярке. Туда никто не заглядывает.

– Фронт далеко?

– Отодвинулся отсюда. У красных не густо. И так и сяк латают свои линии. От Буга до Днестра у них только Четырнадцатая армия, бригада Котовского и Первая дивизия Красного казачества. У головного атамана сил значительно больше. Ударить в удобный момент – в порошок сотрем большевиков, – хихикает Бараболя.

– Скоро ударим, только надо хорошо подготовить тыл. Здесь есть кто-нибудь из надежных батек и атаманов?

– Под Литыном Гальчевский гуляет, в шести верстах отсюда орудует батька Палилюлька, близ Жмеринки стоит с крупными силами атаман Черногуз. А еще есть поблизости одна волость – ни наша, ни ихняя.

– Это как же понять?

– Объявили хлебобобы крестьянскую республику и не признают никакой власти, кроме своих людей. Выбрали даже министров и не смущаются, что те в полотняных шароварах заседают. А одному всем миром сложились на сапоги: своих не было, а без сапог и мужикам не надо министра. – И он снова засмеялся, точно по заказу, отчеканивая каждое «хи-хи».

– Как вы на это смотрите, пан сотник? – У подполковника от уголков рта до подбородка залегли складки.

– Как? Очень просто! Крестьянин веками искал справедливости и хорошего царя. Если у него даже Иван-дурак стал царем в тридесятом царстве, так отчего же мужику не стать министром в своей волости?

– А как у них с деньгами? Тоже свои? – с улыбкой допытывается подполковник.

– Пока разными пользуются, но упорно ищут машинку. Где-то узнали, что наш головной атаман несколько раз во время отступлений бросал денежные клише и машины, и послали своих ходоков искать их: хотят что-то доделать в этих клише, чтобы иметь собственные денежные знаки, государственно-волостные. – И снова рвется цепочка хихиканья.

На хуторе для гостей заранее отворена калитка, заранее заперты собаки, они теперь отзываются надрывным лаем из-за сенной двери.

Денис Бараболя катится по двору, заваленному свежесрубленным лесом, останавливается на перелазе и грузно спрыгивает в сад. Здесь между высокими, как дубы, подольскими глеками⁷ примостилась старенькая, облупившаяся от дождей столярка. Агент атамана со скрежетом отпирает многофунтовый замок, обеими руками срывает его. Пропустив гостей, Бараболя запирает дверь на засов, входит в мастерскую и чиркает спичкой. Спичка шипит, стреляет серой и смрадом и наконец зажигается.

Небольшие, в четыре стекла, окошки старательно завешены; на изрезанном и поцарапанном столярном верстаке стоит еда, самогон и темная варенуха; на земляном полу трещат под ногами гвоздики и бархатцы.

– Эге, да тут совсем неплохо! – с удовлетворением замечает подполковник, увидя два топчана со свежими постелями.

– По-варварски просто. – Лохматая физиономия Бараболи сразу приобретает солидность. – И я думаю, пан подполковник, теперь только варварством и язычеством можно спасти цивилизацию. Христианству эта ноша уже не под силу.

– Давненько не тянуло под украинскими вербами ницшеанским духом! – поморщился сотник.

Взгляды Пидипригоры и Бараболи скрестились, и оба сразу почувствовали друг к другу острую неприязнь.

– Прошу к столу! Самогон, скажу вам, просто мальвазия!..

Бараболя мячиком вертится перед подполковником, и Пидипригоре противно смотреть на этого мелкого картежника, который по капризу судьбы не раз был судьей и палачом единственной, неповторимой человеческой жизни. Очевидно, что-то подобное ощущает и Погиба.

– Денис Иванович, а вы сами ужинали? – деловито спрашивает подполковник, с удивлением замечая, что незримая линия делит круглое лицо агента пополам: одна половина, с угодливым глазом, веселенькая, а другая – угрюмая, и глаз на ней настороженный и

⁷ Глек – сорт груши.

недобрый.

– Был грех, был грех, – Бараболя вскидывает на Погибу разные глаза и снова разрывает тишину хихиканьем, и непонятно – от природы это у него или выработано на агентурной службе для отвода подозрений.

– Тогда прошу вас тотчас же слетать к Палилюльке – пусть прибудет сюда.

– Сегодня? – Один глаз агента удивляется, а другой злится.

– Как можно скорее!

– Что же, слетаю.

Бараболя неохотно укатывается в уголок столярки, вытаскивает из-под топчана кнут и полотняную суму. Он перекидывает суму через плечо, одним движением меняет форму шапки, меняет в тот же миг выражение лица, вяло щелкает кнутом. И вот уже перед удивленными гостями не угодливый агент, а убитый горем пастух, растерявший свою отару.

– Ну и артист же вы! – Опущенные книзу уголки губ подполковника поднялись вверх.

– Была на все хозяйство одна кобылка, да и та смоталась не то к Петлюре, не то к Троцкому... Э, беда! – Бараболя опечаленно повел бабьими плечами и даже искорки лукавства не высек из разных глаз. – Будьте здоровы, пойду поищу свою скотинку.

Он поудобнее закинул суму за плечо и вышел из мастерской настоящим пастухом.

– Видали? – Подполковник метнул на сотника взгляд. – Я его погнал к Палилюльке, чтобы не слышать этого скользкого «хи-хи», а он артист артистом.

– Артист из страшного балагана! – с презрением глядя вслед Бараболе, ответил Пидипригора.

– Не нравиться вы мне сегодня, пан сотник, совсем не нравиться, – пристально глянул на него подполковник и задумался: у него снова проснулось недоверие к этому мягкотелому учителю.

– Я и самому себе не нравлюсь, – понуро ответил Пидипригора, не пряча диковатых глаз.

– Нервы, все нервы! Водкой и женщинами надо лечить. А вы аскетом живете. На верность жены надеетесь?

– Моя жена святая! – ответил Пидипригора с гордостью и неприязнью: он терпеть не мог двусмысленных намеков и сальностей.

– Война и святых делает грешницами. Жизнь требует своего, – продолжал подполковник, не обращая внимания на тон сотника.

– Жизнь всегда требует своего, но нельзя же оправдывать этим каждую подлость.

Погиба собирался возразить, но в саду что-то топнуло, затрещало, приближаясь к мастерской. Оба схватились за оружие, отстранились от окон, вопросительно взглянули друг на друга: уж не заманил ли их атаманский агент в ловушку? А в саду, под самыми окнами, снова послышался треск и лязг железа.

– Да это же стреноженные лошади! – Пидипригора с облегчением улыбнулся. – Слышите – железные пути звенят!

– В самом деле? – Подполковник осторожно отодвинул одеяло и выглянул в сад. Там у самого малинника, подминая кусты копытами, паслись рослые кони. – Черт бы их побрал! Как ударили по нервам!

Он отошел от окна, засмеялся, потянулся к накрытым тарелками мискам.

В первой из них лежали роскошные влажные и потемневшие от сметаны жареные караси.

– Веремиевские! – пояснил Пидипригора. – Осенью старик возами вывозит на базар карасей и карпов. Карпы у него до полпуда выгуливаются!

– Как пахнут! – втянул запах рыбы подполковник. – Надо бы сразу за них садиться, но мы подождем еще минутку. Или вам не терпится?

– Я не голоден.

Погиба, морщась, стягивает с правой ноги тесноватый сапог, осторожно выворачивает край голенища, или, как здесь говорят, халявы, ножом подпарывает черный от пота поднаряд

и вынимает смятые бумажки. Вот он разглаживает их, и Пидипригора читает собственноручно подписанные Петлюрой мандаты на формирование и руководство «повстанческими» отрядами. С помощью этих документов, сфабрикованных военно-походной канцелярией, головной атаман надеялся наплодить новых атаманов и атаманчиков и утвердить власть новоиспеченных батек, которые держались не идеями, а погромами, резней и самогоном. Погиба вписывает в свидетельство фамилию Палилюльки, а остальные снова засовывает в голенище, подмигивая изогнутыми, как и рот, бровями.

– Захалывные батьки! Когда-нибудь, может, потомки вспомнят нашу работу... Ну, а теперь ужинать!

Пидипригора протягивает руку к варенухе, но Погиба силой отбирает у него бутылку.

– Казацкое ли дело пить это бабье зелье? Нам горькую подавай! – Он с шиком разливает самогон по стаканам. – За ваше здоровье, пан сотник!

Он единым духом опрокидывает в горло первач, довольно крякает и трясет тяжелой головой. На тонкой шее, как шарнир, ходит кадык, подхваченный снизу двумя толстыми жилами, словно подпорками.

Хмель сразу огнем расходится по тугому телу сотника, глаза его загораются упрямым смелым огоньком.

Выпили еще по стакану, и подполковник, забыв осторожность, развеселился, даже пытается запеть любимую песню головного атамана и его армии: «Ой, что там за шум учинился, как на мухе наш комар оженился...» Но дойдет до мухи, глянет искоса на окно – замолчит и пускается в философию:

– Нет края лучше Украины, только жить бы да жить. А жизнь – это встречи и прощания, это хлеб и вода, это водка и кровь... «Ой, что там за шум...»

Из-за выгнутых губ Погибы все чаще выглядывают широкие подсеченные зубы. И они, и надоедливый комар, который «оженился» на мухе, и подполковничья философия вызывают у Пидипригоры раздражение. Он пьет, но не допивает крепкую с венчиком пены самогонку. Его мыслей и хмелю не заглушить.

– Так вы думаете, что ваша жена святая? – с масляной улыбочкой подкусывает его Погиба, поигрывая своим обручальным кольцом.

Данило выпрямляется.

– Я предпочитаю говорить о женщинах трезвыми словами.

– Чего же вы рассердились? – удивился подполковник, – разлив еще самогонку. – Пейте, пан сотник! Великолепный первач! Кто знает, когда еще доведется выпить вместе.

– Вряд ли доведется нам пить вместе!

Пидипригора в упор взглянул на Погибу и весь напрягся, как перед боем. Это пришло к нему то природное упорство, которое уже не раз выводило его на крутые повороты. Мягкий и мечтательный по натуре, он легко уступал более настойчивым и говорливым, не умел ссориться и грозить, но, когда брало за живое, никто не мог поколебать его.

– Вряд ли доведется пить вместе?! – повторил Погиба.

У него от неожиданности задрожала рука, самогон переплеснулся через край стакана, смочил шершавый, иссеченный верстак и жалобно закапал на пол, где умирали душистые бархатцы и гвоздики.

– Это как же прикажете понимать, пан сотник? – Тяжелое, полное подполковничье лицо трезвеет, но вдруг смягчается в улыбке. – Это вы об опасности, о нашей смерти?

– Нет, о своей жизни. – Пидипригора бережно положил хлеб возле миски. – Я честно привел вас на хутор, а сам иду домой. С меня хватит войны! – И он на всякий случай отступает от Погибы.

– Крысы первыми покидают тонущее судно? – Табачные глаза подполковника блеснули недобрым огнем.

– Нет, теперь крысы кусаются, защищаясь до конца!

Эти слова поднимают подполковника со стула.

Они стоят друг против друга, злые, уже непримиримые, готовые на все.

- Значит, пан сотник, руки вверх и в ноги комиссарам?
- Комиссары дают мужикам землю.
- И вам три аршина отмерят. Чтоб не больно жирно было.
- Это уж как выйдет, – отвечает сотник; его ударили в самое больное место.
- Они же только за одну любовь к Украине ставят к стенке. Интернационалисты...
- Как выйдет, – тихо повторяет сотник.
- Вы, герой святого дела, неужто станете изменником?

Подполковник улавливает сомнение на побелевшем как снег лице сотника. Но эти слова смыывают с Пидипригоры противную волну расслабленности.

– Нет, пан подполковник, мы не герои святого дела, – покачав головой, говорит Пидипригора. – Это мы только думали так, пока не стали игрушками чужой политики и не пошли торговать своей землей направо и налево.

– Э, сколько вы тут наговорили! – укоризненно покачивает головой Погиба, едва сдерживая гнев. – Разберемся с одним, а потом за другое. Да, я не возражаю, чужие государства оказывают нам помощь, но зато у нас есть свое правительство, хоть плохонькое, но первое украинское правительство.

– А какая ему цена?

– Дороговато, как и всякое правительство, – пытается отшутиться Погиба.

– Нет, пан подполковник, дешевенькое у нас правительство, не дороже уличной девки. Какое же это правительство народной республики, если в столице у него – в Каменец-Подольске, на нашей же земле, – польский староста сажает в кутузку, как жуликов, сразу троих наших министров? Вы знаете в истории подобный позор?

– Случай и в самом деле позорный, – согласился Погиба. – Нам нужно иметь правительство получше. Хотя бы для Европы...

За эти слова и уцепился сотник, злобно изливая все наболевшее, саднящее, что скопилось в груди за два года без малого:

– Для Европы это самое лучшее правительство: оно отстаивает, как реликвию, самобытность украинского кожуха, а самую Украину продает ее же убийцам. Вот и выходит, как говорят простые стрельцы, не комар на мухе оженился, а Пилсудский на Петлюре. И невеста отдает Пилсудскому в приданое всю Украину.

– Вы и правда считаете, что мы продаем Украину? – От напряжения лицо подполковника становится свекольного цвета и каменеет.

– Я не говорю о нас лично. Нас даже приказчиками не пустили на этот торг. Мы только дешевые наемники, подслеповатые носильщики, которые на своем горбу тащат Украину на продажу.

– Bravo, сотник! Вы сразу стали красным!

– Нет, я почернел от гнева и горя, ибо разве грех этой продажи не загонит нас в гроб?

– Так и ложись, падаль, в гроб! – Погиба со звериным проворством выхватил из кармана браунинг.

Но сотник с не меньшей быстротой одной рукою впивается в пальцы, а другой в шею подполковника, подставляя ему подножку, и Погиба шлепается на земляной пол. Сотник падает поперек его тела, чувствуя, как под пальцами лягушкой бьется твердый, тугой клубок кадыка.

Подполковник вывертывается, но через миг сотник снова лежит на нем перекадиной, не выпуская из руки его кадык. Погиба начинает задыхаться, и тогда Пидипригора обеими руками вырывает у него браунинг.

– Шутите, пан подполковник! – говорит он, приставляя оружие к груди Погибы. – Шутите!

– Стреляй, изувер, стреляй, предатель, твоя пора! – хрипит, неуклюже корчась на полу, Погиба. Под ним трещат, отлетая, оранжевые, хрупкие головки гвоздик.

– Я в лежачих еще не стрелял.

Сотник пятится к порогу, но оружие держит против головы Погибы.

– Может, для удобства прикажешь встать?

На тонкой, запрокинутой шее судорожно, как отвратительный гномик, шевелится кадык, и кажется, это именно он помогает Погибе выкатывать из груди тяжелые слова.

– Для удобства лучше лежи и не подымай шума. Вот так и попрощаемся. – И Пидипригора плечом отворяет дверь позади себя.

– Но мы еще встретимся! – Не благодарным, а ненавидящим взглядом провожает подполковник уходящего. – Еще сойдутся наши дороги!

– Тем хуже будет для тебя. Слабеньк ты, – сквозь злость усмехается сотник. – Прощай! – И он скрывается за дверью.

– Нет, до свидания, изменник! До страшного свидания! – несутся ему вдогонку хриплые, исполненные ненависти слова.

«Может, вернуться и утихомирить навеки этот клубок злобы?»

Пидипригора на миг заколебался, но сплюнул и решительно вышел в сад. Тут только он вспомнил, что оставил в мастерской косу, но уже не стал возвращаться. Рвать надо один раз. И он сделал это скорее, чем думал.

А что же теперь дальше? Жизнь или три аршина земли? И снова ненависть и страх тяжелой лапой сдавливают его душу. Она всегда с трепетом летела домой, к родной земле, к пруду возле Мироновой хаты, к тем лесам, где на верхушках деревьев покоятся края туч, к золотым косам жены. Если бы можно было слиться с этими лесами, с землей, если бы там был конец его пути, если бы не надо было являться в страшные военкомат и Чека!

С Погибой он резко, смело говорил и про три аршина земли, а наедине с самим собой, перед завесой неведомого, смелость с каждым шагом по капле выцеживалась из него на росистую землю.

VII

Возле покосившегося колодца с поникшим крестом дорога от хутора Веремия расходится двумя черными рукавами, охватывающими большое, с непросохшими плесами болото.

В детстве Данило не раз в засушливое лето пригонял сюда скот, пас его у края болота, а парнем приходил по ночам на охоту. Ляжет, бывало, у плеса против луны и прислушивается, как спросонья вздыхает вода, присматривается, как луна выплетает на ней трепещущие серебристые сети. Вот и птица зашуршала в камышах, выплывают стайки на лунную дорогу. Тогда он, почти не целясь, бил по стае. Птицы, стряхивая с крыльев капли, в испуге срывались с воды и затихали за густым ивняком и ольшаником.

А он переходил на другой плес и снова ложился против луны на росистые кочки, вникая в тайны этой гиблой земли с ее страшными окнами и теплыми продухами, в которых даже зимой поблескивала тихая, прозрачная вода и зеленела травка. Старые люди передавали, что в древности, когда по Кучменскому тракту врывались на Подолье татары, в этих болотах спасались жители окрестных сел и хуторов.

Данило Пидипригора сходит с дороги и шагает напрямиком, через болото: так намного ближе домой, да и если Погиба с Бараболей вздумают за ним погнаться, они не отважатся пойти сюда.

В стороне, должно быть в просе, крикнула куропатка, на ее голос откликнулись еще две птицы, под ногой тихо пискнула вода, земля под тяжестью тела прогибается. Хорошо, что как раз встает месяц, накладывая светлые мазки на неясные очертания туч. Эти мазки легли и на маленькое темное озерко. Запахло ядовитой беленой, ржавым болиголовом, кислыми корнями. Все уже и уже на болоте цепочка следов, она переходит в щелки, затянутые травой, вскоре и они пропадают, и чистая зеленая подушка то и дело поддается, прорывается под тяжестью человека. Тогда спокойно вытаскивай ногу и, не останавливаясь, иди вперед.

Справа, словно по волшебству, раскрылся круглый, ровный плес. Месяц наполовину пропахал по нему зеленоватую борозду, а вокруг такая глубокая тьма, будто кто настоял эту

воду на черном камне. И птицы тут черные, они расклевывают лунную дорожку, моют в ней крылья.

Данило задумчиво обходит озеро, на котором все шире пашет месяц, а утки даже не оборачиваются на шаги человека: очевидно, их давно никто не пугал. За вторым плесом он по кочкам обходит «волчью пасть» – окно, затянутое болотной кашкой и цветами, – протискивается в заросли волчьего лыка, которое уже нарядилось во все свои сережки, и снова натывается на едва заметные следы.

Наконец, весь грязный, мокрый от росы, он выходит на твердый берег, на землю своего детства, ибо теперь у него нет своей земли. Дрожа, он срывает с головы чужую шапку и потными, солеными губами припадает к жнивью. На лице его смешались роса и слезы.

– Земля, прости меня за все! – И он крепче прижимается к ее груди.

Земля слушает его и молчит.

Он недолго ждет ответа, мысли его летят к людям. Данило встает, отяжелевшей рукой вытирает лицо.

Вот он и встретился с родной землей, со своей надеждой и тревогой. Немало людской крови пролито за нее, а станет ли она от этого краше, станут ли краше люди или еще больше озлобятся в своей нужде и невежестве? Он искалечил себе жизнь ради этой земли, так пусть хоть другие не уродуют жизни.

Впереди, в глубине ночи, машет веселыми крыльями высокий ветряк; над ним, как жернов, поднимается месяц, облака вокруг совсем белые, словно лебеди; он никогда ее видел среди ночи таких чистых облаков, никогда бы не подумал, что способен так разволноваться при виде простого ветряка, этой доброй птицы, которая тянется крыльями и к земле и к месяцу.

Недолго думая, он идет прямо к ветряку. Кого же первого встретит он из односельчан? Узнают ли его? У ветряка нет ни одной подводы, ни одной клячки. Это удивляет и радует Данила: значит, сегодня не заовзно. Под свист крыльев он поднимается по скрипучим ступенькам наверх, отворяет легкую дверку.

Возле мучника краснощекая молодка дощечкой выбирает в мешок муку. Неподалеку от нее на чурбаке в стареньком глиняном горшочке мерцает светец, отбрасывая свет на красивое в своей задумчивости, горбоносое, с тяжелыми бровями лицо молодого паренька. Он сидит на мешке, смотрит на игру пламени, и даже это юное лицо от извечных крестьянских дум выглядит замкнутым.

– Добрый вечер, – тихо здоровается Данило.

– Доброго здоровьица, – скороговоркой отвечает молодка, метнув на гостя стремительный взгляд, а паренек, поднявшись с мешка, кланяется и снова садится.

Кого он так напоминает из знакомых? Ага, так оно, верно, и есть, это сын Тимофия Горищвита. Такой же нос, такие же русые волнистые волосы, такая же задумчивость.

– Мелешь, парень? – подсаживаясь, заговорил Данило.

– Нет, я уже смолол. Тетку из Майдана жду, а то она одна боится домой идти. – Юноша кивнул головой на молодую женщину, едва заметная улыбка шевельнула его нижнюю, чуть вогнутую губу.

– На плечах муку понесете?

– На плечах и на спине.

– Тяжело?

– Было бы что нести! – Парнишка вскинул на Пидипригору умные печальные глаза.

– Как тебя звать?

– Дмитро.

А землю у вас уже делят?

Лицо паренька оживилось.

– Завтра должны начать.

– И ты получишь тоже?

– Как и люди. – Тихие огоньки вспыхнули в его печальных глазах.

– Любишь землю?

– А как же ее не любить? – Он резко, всем телом, обернулся к выпачканному в тине незнакомцу. – Скотина и та ее любит, губами каждую былинку целует, а что уж про человека говорить!

И Данилу вдруг открылась замкнутая душа подростка, жившая тоже только одной мечтой – о земле. И Данило почему-то ощутил, что перед ним не простой паренек, а хозяин земли, ее, а может быть, и его, Данила, будущее.

VIII

– Папа, папа, кто-то барабанит в окно! – дрожа, тербит спящего отца девочка лет десяти.

Она первая в хате услышала стук, сползла в одной рубашонке с кровати и с ужасом увидела на залитом сиянием окне руки и голову незнакомца.

– Василинка, это ты? Чего не спишь?

Отец, проснувшись, поднимает ладонь к детской головке и вдруг, сорвавшись с постели, схватывает дочку и прячет в темный угол, за сундук. Оттуда он осторожно выглядывает и в страхе замечает, как по стеклу, словно в дурном сне, движется тень шапки и руки. Василинка забивается под локоть отца, шепчет ему в рубаху:

– Не бойтесь, это не бандиты: бандиты уже выламывали бы окна...

– Ой, что ты понимаешь!

Он обнимает зябнувшее тельце своей единственной дочки, прижимает ее к себе и не знает, на что решиться. Мысли бешено мечутся и рвутся на полпути, как гнилая паутина.

«Может, забиться в яму, под печь? Или выскользнуть в сени, а оттуда на чердак?.. А Марта как же?» – наконец вспоминает он о жене, но тут же забывает снова, и мысли переносят его на чердак, где можно оторвать снопок и бежать от беды в лес.

– Слышите, зовут вас? – Василинка чутким ухом уловила произнесенное за окном имя отца.

Пидипригора напрягает слух и в самом деле слышит словно бы знакомый голос...

– Мирон, отопри, это я... Мирон...

– Говорила же я – не бандиты, – шепчет девочка.

– Мирон, Мирон... – доносится голос из-за окна, рождая волнение в груди.

«Свят, свят! Неужто это Данило? Откуда ж он взялся?» Мирон и обрадован и испуган: не смерть пришла к нему, но и не радость.

Больно ударившись плечом об угол сундука, он выходит на середину хаты, присматривается, прислушивается, потом резким движением припадает к окну.

– Данило, ты?

– Я, брат, – доносится взволнованный шепот; за окном приплюснутое к стеклу лицо, вовсе не напоминающее того Данила, которым так гордилась вся семья.

Сбивая с ног Василинку, Мирон выбегает в сени, дрожащими руками отпирает деревянные задвижки, рвет на себя дверь и тяжелым крестом падает в объятия младшего брата. Тот прижимает его к груди, целует в колючие усы, потом охает и, беспомощно цепляясь за него руками, опускается на колени.

– Бог с тобою, Данило, встань! Я тебе не отец и не судья.

Мирон поднимает с земли обмякшее тело брата. Он уже понял, что случилось с Данилом и что его ждет, не знает только, как же теперь быть Олександрю и ему.

Данило кладет руки брату на плечи, и оба долго всматриваются в глаза друг другу, даже не замечая, что с порога, прикрывая разрез сорочки, удивленно смотрит на них маленькая полная девочка. Она догадалась уже, что это откуда-то вернулся к ним ученый дядя Данило, но почему он поклонился в ноги отцу, почему в глазах у него, как у ребенка, дрожат слезы, – это странно и непонятно. «Но у взрослых многое странно и непонятно», – подумала она. Быть может, так и надо, когда приходишь к кому-нибудь в гости, она и сама

теперь так поступит, когда в воскресенье придет к тете Гале.

– Пойдем же, брат, ко мне, – показывает Мирон рукой на сени.

И Данило тут только замечает на пороге прислонившуюся к косяку девочку в белом.

– Василинка, это ты? – И он протягивает к ней руки, с которых осыпаются песчинки.

– Я, дядя Данило. – Она несмело глянула на него и опустила голову.

На миг он увидел перед собой маленькую красивую смуглянку – свою покойницу мать; она, верно, передала все свои черты этой большеглазой девочке, которая, очевидно, тоже не будет высокой и порадует глаз не фигурой, а лицом. И он улыбнулся самому себе: для чего забегать вперед? Очевидно, это мужская особенность – так видеть красоту.

Данило целует Василинку в голову и поспешно ищет в карманах хоть какой-нибудь гостинец, но там только разные пустяки, оружие да патроны. Был бы мальчуган, он бы и патронами мог поиграть, а вот девочке нечего подарить, ничего он не нажил за два года войны. И это единственная его заслуга в петлюровской армии – он и пальцем не тронул чужого.

Данило подымает девочку на руки, прижимает к груди. А той становится весело и немного стыдно; отец видит, как ее ласкают, а это уже нехорошо. И она тихо просит:

– Дядя Данило, не надо, я уже не маленькая, я уже в школу хожу.

– В какую же группу? – Данило осторожно ставит ребенка на порог и, вздыхая, вспоминает своих учеников в далекой, пропахшей сосной Житомирщине.

– Во вторую.

– Что же вы теперь учите?

– Про Октябрьскую революцию. Про Ленина. Вы, дядя, Ленина не видали?

– Не видал, деточка, – вздохнул Данило.

– Все у нас говорят о Ленине, а кого ни спроси, никто его не видал. Даже учитель наш не видал, – вздыхает Василинка. – А у вас, дядя, книжки почитать есть?

– И книжек, Василинка, нету, – отвечает Данило, машинально ощупывая рукой браунинг. – Любишь читать?

– Я и до сих пор крестиком расписываюсь, а она читает – как горохом сыплет. – Мирон с любовью смотрит на дочку. – А Юрко у нашего Олександра каков! Все господские книжки перечитал и теперь начинает и в поле и на огороде свои порядки наводить. Видно, такая уж кровь у нашей породы, до земли мы либо до науки охотники. А кровь – знаешь, великое дело, – нашу самогонкой не разбавишь, как у иных на войне...

– Не горюй, Василинка, достану я тебе книги.

– Вот спасибо! – обрадовалась девочка.

Мирон посветлевшими глазами смотрит на свою дочурку – он любит ее, он вообще любит детей. И вдруг спрашивает Данила:

– Ну, а дома ты был уже?

– Где уж там! – безнадежно машет рукой тот. – Даже не знаю, где теперь жена, на старом месте или, может, ее и след простыл.

– Как не знаешь? Правда? – Мирон удивился и даже обрадовался чему-то.

– Правда. После прошлогоднего отступления и не слыхал про нее ничего. – Данило с надеждой смотрит на брата: может, Мирон что-нибудь знает о его жене?

Лицо Мирона расплывается в широкой улыбке, он протягивает брату руку и торжественно говорит:

– Тогда поздравляю тебя с законнорожденным сыном! Крестили его в нашей церкви, назвали в честь деда – Петром. Так что ты уже отец. По такому случаю мы с тобой по одной хлопнем.

– Что ты, Мирон, правда?

Пораженный Данило отступил.

– А ты и не знал? Уже десятый месяц твоему казаку. «Мама» выговаривает, а был бы ты, и «папа» говорил бы. Дети теперь тоже поумнее, чем прежде были!

– Ну, а где же они, Мирон? Живы, здоровы? Господи, сын, говоришь? Что же ты сразу

не сказал? – Данило трясет брата за плечи.

– Да вовсе близко... хе-хе... В Березовке. Жена, как и раньше, хе-хе, учительствует... Ишь как обрадовался! Паек какой-никакой получает, ну, а чтобы не пропасть с голоду, засадила школьный огород, так что и приварок будет. Она хоть и маленькая, да жилистая, на прополке вровень с нашими бабами идет.

– Осунулась?

– А она у тебя никогда толстухой не была, – с крестьянской грубоватостью отвечает Мирон. – И теперь молодка как молодка: косы на все село, кости есть, кожей обтянута, ну, а сзадю – это уж, прошу прощения, не было на молоке, так на сыворотке и подавно не будет. По тебе страх как убивается. Все ты ей снишься в казенном доме.

– Вот так сон... Не привелось бы и в самом деле в том доме посидеть, – сразу помрачнел Данило.

Насупился и Мирон. Братья, пригнувшись, молча вошли в хату. Старший пошарил по краю шестка, но тут же опомнился: ишь ты, увидел брата – и словно вернулся к том временам, когда в доме были спички. Он отодвинул заслонку, огрубевшими пальцами поискал в золе вечного огня. Заблестели золотом угольки. Он поднес к ним смолистую щепку, раздул огонь и засветил коптилку. Василинка уже несет на стол миски и ложки, снимает скатерку, и Данило снова видит на столе жареных карасей. Они напоминают ему пережитое вечером и пруд, возле которого он недавно стоял, прислонясь к вербе, не в состоянии овладеть своими чувствами и мыслями.

Что бы отдал он сейчас за тихую судьбу Мирона! Незаметно жить у такого прудка, ходить за плугом, растить детей и позабыть все, все на свете – и проклятую войну, и петлюровский чад, задурманивший ему голову, и страх, отравляющий каждую мысль о будущем. Кому обо всем этом придется говорить? Кто поймет из новой власти, что он, как вот этот карась, увидал приманку, а не крючок? Правда, в кармане против сердца лежит у него несколько документов, и среди них воззвание Подольского ревкома. В нем гарантируется жизнь солдатам и командирам, которые добровольно переходят на сторону красных. Но недаром говорят: на посуле, что на стуле, посидишь да и встанешь.

Мирон осторожно – он во всем осторожен – наливает в чарки самогон, невесело, сочувственно смотрит на брата.

– За твоё здоровье, за твою жизнь! Чтоб тебя бог и люди не обидели.

– Хорошо бы! – вздыхает Данило и выпивает все до капли, словно от этих капель и в самом деле зависит его будущее.

– Ешь, брат, ужинай пока у меня, а завтра тебе жена ужин сготовит... Я с месяц назад занес твоему Петрику четырех петушков. Пускай сызмальства к птице привыкает. Люблю, когда человека будит птица, будь то соловей, перепелка или простой петух.

Мирон, разгладив рукой рыжие, влажные от самогона кривые усы, укоризненно посмотрел на Василинку, присевшую возле Данила и не сводившую с него больших задумчивых глаз.

Детским сердцем она почувала, что отец как-то не так встретил ученого дядю, что недаром они помрачнели, вспомнив о казенном доме, и старалась разгадать тайну взрослых, – ведь у всех, даже у старших девчат, были свои тайны, все из-за них мучились и страдали, словно без них нельзя прожить на свете. Она уже твердо решила, что у нее не будет никаких тайн от людей, она никогда не станет шептаться с подругами, как шепчутся взрослые девчата.

Выпили еще по одной.

Отец подпер голову рукой и спросил дядю:

– Как же теперь, брат, жить думаешь?

– Не знаю, – ответил дядя как отвечают в школе, когда не выучат урока.

– Не в пору ты, брат, пришел! Ох, и не в пору! – тяжело вздохнул отец.

«Ну разве можно вот так говорить в глаза человеку, да еще родному брату!» – покраснела за отца Василинка. А дядя сразу насупился.

– Не мил тебе? Так и говори.

– Да что тут говорить? Разве я тебе враг? Не мы ли с Олександром из последнего тянулись, чтобы ты учителем стал, чтобы, прошу прощения, руки у тебя навозом не пахли?

– Что же ты хочешь от меня? – Данило поднялся из-за стола и потянулся за шапкой. – Хочешь, чтобы я убрался из твоей хаты, как шелудивый пес?

– Глупости мелешь, – поморщился Мирон.

– Скажи поумнее! – Данило надел на руку шапку, и она задрожала, как огородное пугало на ветру.

– И снова скажу: не в пору ты пришел! Завтра будут землей наделять. Услышат, что ты явился, и могут нам с Олександром такой надел нарезать, что и земли не увидишь и на лавку не сядешь. Люди за войну обозлились. Да что люди, вон пчела и та злее стала!

– Да, земля дороже крови, – пробормотал Данило и предложил: – Тогда надо сделать так, чтобы никто не знал...

– И я так думаю. Переночуешь у меня, а потом пойдешь в Березовку, к семье. Только и там сразу на люди не появляйся.

– А не хуже будет?

– Пусть будет хуже одному, а не всем, – рассудительно проговорил Мирон и только после этого заметил, что причиняет брату боль. И чтобы хоть как-нибудь загладить свои слова, налил еще самогонки.

– Нет, хватит, Мирон, – Данило встал из-за стола, – а то ты мне когда-нибудь и этот самогон припомнишь.

– Э, что там говорить! – махнул рукой Мирон, тоже вставая. – Сам знаешь, какие наши недостатки на несчастном дедовском наделе: трудишься-трудишься от зари до зари, а порой до того доходит, что хоть печную глину вместо хлеба жуй. А теперь вот землей запахло, я и дрожу над нею больше, чем над своею жизнью. Так что прости, коли прямо в глаза правду режу.

– Олександр так бы не сказал.

– Это потому, что он смелее, а у меня натура пугливая, – признался Мирон и прикрикнул на дочку: – Скоро третьи петухи запоют, а ты все вертишься под ногами! Не пора ли спать?

Василинка обиженно посмотрела на отца, но не очень испугалась и припала к руке дяди.

– Вы, дядя Данило, не сердитесь на него, он у нас добрый, только напуган очень. Кто ни явится из лесу, все нас пугают: то хлеб заберут, то из улья мед выгребут. Тут кто хочешь пугливым станет.

Братья разом взглянули на детскую головку, встретились глазами; обоим стало и неловко и легче на душе. Мирон, воспользовавшись разрядкой, подал брату чарку, и они стоя выпили за здоровье детей.

– Спать будешь в хлевушке или на сеновале в овине?

– В овине.

За окнами запели петухи. Братья вздрогнули. Мирону даже досадно стало: ну как это его могла напугать птица? Он стащил с кровати дерюгу, взял подушку и повел брата в овин.

– Чем же я смогу теперь помочь тебе? – спросил он во дворе.

– Если сумеешь, разузнай, кто у нас в военкомате и в Чека, украинцы или нет, и что они делают с нашим братом.

– Об этом надо с Олександром поговорить, он про такие дела больше знает.

– Поговори.

Мирон на ощупь нашел в овине лестницу, проверил, крепко ли она стоит, показал брату:

– Лезь на сеновал. Доброй ночи. И не гневайся на меня. Это не я говорил – земля говорила.

– Спокойной ночи. – Данило по учительской привычке повторяет про себя последние

слова брата: «Земля говорила». Может, в будущем, если останется в живых, ему доведется написать о власти земли.

В овин через щели просачивается лунный свет, возле ворот по-осеннему шуршит листвою дерево, навевая на усталого Данила тоску. Если так встретил родной брат, то что же говорить о людях? Для них самое дорогое – земля, и кому какое дело, останется ли на ней еще один безвестный человек или падет он (за чужие грехи) у холодной стенки. Однако насколько проклятая интеллигентщина вьелась в каждую клеточку! Сколько можно мучиться и думать об одном и том же? Чужую жизнь мы легко, словно карман, выворачиваем наизнанку, порочим, а порой и калечим, если не оружием, то языком, а со своей нянчимся, взвешиваем все «за» и «против». И он твердо решает, что выйдет на суд человеческий без лжи, расскажет все свои страдания и муки, ибо надо же ему очиститься перед людьми. Это легче было бы сделать перед одним человеком, на исповеди. Ну, да у него хватит мужества и на исповедь пострашнее. Вот только что с ним будет после нее?

Боль на миг оставляет его, и он переносится мысленно к жене и сыну. Но теперь, когда они в нескольких верстах от него, он больше боится, что не увидится с ними, чем боялся несколько месяцев назад. Как он встретится с женой, и что она скажет ему, и что осталось от любви за эти страшные полтора года? А что, если война наложила свою лапу и на святость чувства? Тогда... тогда у него остается одно – ребенок.

Мысли, сомнения окутывают его, как осенний туман, и с тем он погружается в забытье. Но где-то на рубеже сна и яви он слышит в овине тихий шорох. Кто-то затопал по току, заскрипел ступеньками, а потом раздался робкий ласковый голосок:

– Дядя Данило, вы не спите?

– Василинка, дитяtko! Откуда ты взялась? – Данило удивился и насторожился: неужто узнали о его приходе?

Девочка тихонько засмеялась, затопала ножками по лестнице и с последней ступеньки смело спрыгнула в сено. Подобрав под себя ноги, она уселась возле дяди.

– Ты чего, деточка, не спишь?

– А я хотела к вам прийти... Так вы совсем не видали Петрика?

– Не видал, маленькая, – говорит он, чувствуя, что начинают дрожать веки.

– Вот досада! – Василинка жалостно приложила указательный палец к подбородку. – Он очень славненький. Белокурый, глазки то серые, то голубые, волосики пушистые, и спокойный-спокойный. Петрик, ну просто тихая вода. А знаете, что он любит? – вспомнила она и засмеялась.

– Откуда же мне знать, Василинка?

Данило приподнялся на локте, пытаясь рассмотреть лицо девочки при скудных лучах месяца, но полоски света ложились только на косы и рубашонку, а лицо было в темноте и оставалось незнакомым, неразгаданным.

– Как возьмешь его на руки, он перегнется и положит головку на плечо, к щеке прижмется... А еще он любит яблоки. Сам не может сорвать, так он берет мою или мамину руку и тянет к ветке. Видите, какой догадливый!

– Правда? – повеселев, спрашивает Данило.

– Правда.

И только теперь он до конца понимает, что у него есть сын, неожиданный сын. Данило вдруг увидел его таким, как нарисовала Василинка, и, думая о нем, прижал ее к груди.

– Дядя Данило, у вас есть большая тайна? – спросила вдруг Василинка, прильнув к нему.

От неожиданности Данило вздрогнул.

– А ты почему так думаешь?

– По вас вижу. Разве вы пришли бы к нам, а не к тете, если бы не так было? А потом отец велел, чтобы я никому не проговорила, что вы к нам приходили. Это ведь, наверное, тоже неспроста.

– Неспроста, детка, неспроста. – Он вздохнул и погладил ее мягкие, как шелк, волосы.

– Но ведь вы хороший, дядя?

– Не знаю.

– О себе не знаете? – удивилась девочка. – Такого мне еще никто не говорил.

И она задумалась, смеется над нею дядя или в самом деле сам не знает, хороший он или плохой. А тогда что из него за учитель? Нет, он просто шутит, как все старшие. А дядя гладил ее по голове, думал о своем и вдруг заметил, что от девочки пахнет пасекой.

– Ты, Василинка, и за ульями смотришь?

– А как же! И пчелы меня любят, – встрепенулась она и с гордостью заявила: – В этом году я даже в богоявление брала для них воду.

– Это для чего?

– Будто вы и не знаете!

– Что-то не помню. Расскажи.

Она уселась поудобнее и тихонько, словно побаиваясь, что кто-нибудь подслушает ее, начала:

– На богоявление надо пойти с чистым кувшином по воду, налить до полна и сказать колодцу: «Добрый день тебе, крин Иордана, имя твое Оляна. Есть у тебя три ключа: один с питьевой водой, другой – с медвяной, третий – с молочной. Не хочу я ни питьевой воды, ни молочной, хочу медвяной воды». Надо набрать этой воды и хранить в кувшине до весны. А когда станет тепло и пчелы хорошенько облетаются, надо сварить им на этой воде мед и зелье из роевника, маточника, лапчатки. Так и старый Горицвит делает.

Глухомань веков, прадедовские суеверия звучат в словах девочки, которая свято верит и в иорданскую воду и в чудодейственное зелье.

Данило растроганно смотрит на нее и сам погружается в далекий и такой близкий мир своих предков. Что ж, может, и это еще пригодится ему, если останется жить.

– А еще как можно получить хороший взятки? – спрашивает он с пробудившимся интересом.

– Дядя, а вы не смеетесь надо мной? Вы ж, наверно, все знаете, а у меня хотите ума набраться? – В девочке пробуждается недоверие, и она склоняется к самому его лицу.

– И не думай, Василинка! Я никогда с пасекой дела не имел.

– А мед ели? – улыбается девочка.

– Мед ел. Это проще, – улыбнулся и Данило. – Так как же ты о взятке заботишься?

– Когда на цветы погожая роса выпадает, я до света пчелок бужу.

– Так рано встаешь?

– Вместе с мамой. Мама печь растопляет, а я на пасеку. Три раза ударю палочкой по улью и приговариваю: «На море, на окияне, на острове на Буяне едет Илья-пророк, гонит дождь и ветерок, гоню и я вас, мои пчелки, по ярый воск, по сладкий мед».

– И добрый взятки берете?

– Брали бы добрый, не будь войны. Немало ульев у нас бандиты разбили, – ответила Василинка, сразу вернув этим ответом Данила из глухомани веков к холодной действительности.

Он крепко обнял девочку, словно сам искал у нее защиты.

IX

Около хутора затопали кони, мелодично заскрипели колеса. Погиба настороженно отметил, что по дороге проехал не воз, а бричка. Но почему она остановилась? Может быть, Пидипригора накликал уже беду на его голову? Он быстро одевается, кладет в карман свидетельство, выскальзывает из мастерской в дальний угол сада и останавливается у перелаза.

Здесь, на жирной земле, поднимаются в рост человека посадки свеклы. Притаишься между ними и тыном, и никто тебя не найдет. Вот и дождался он той поры, когда и по ночам приходится скрываться на своей Украине. Хотя бы удержать эти две неполные губернии,

чтобы не нищенствовать под чужими окнами...

Слышишь ты, «крымский хан», не довольно ли тебе гнусавить: «В душе моей зима царила, уснули светлые мечты?» – изливает он свою желчь на Врангеля, с которым недавно виделся в Севастополе. Высокий, с запавшими глазами «крымский хан» не обладал размахом Деникина, даже осуждал поспешное продвижение вперед его войск. Он серьезно выдвигал мысль, что можно по-настоящему воевать, только когда забитый офицерами и шикарными дамами-беженками Крым станет обетованной землей для всей России, а большевизм надоест населению. Так можно ждать и до Страшного суда. А что, если страшные слухи, дошедшие до петлюровского штаба, – чистая правда? Говорили, будто еще в декабре прошлого года Врангель сказал командующему донской армией Сидорину: «Нам следует честно и откровенно признаться, что наше дело проиграно. Надо подумать о нашем будущем – бить челом перед союзниками, чтобы они на транспортных пароходах вывезли офицеров и их семьи...» Впрочем, это, вероятно, только сплетня, пущенная теми, кто сам хотел бы сесть на место Врангеля. Сколько их теперь развелось – претендентов на высшие посты! И все жалят друг друга, а по-настоящему думать и работать некому. У одного Петлюры достанет министров на всю Европу, а простых чиновников не наберется и для нескольких уездов...

Скрипнули ворота, по двору скользит чья-то тень. Вот она поднялась над перелазом, и Погиба узнает выразительно округлые формы Бараболи. Агент головного атамана катится к мастерской, и тогда из-за посадок выходит Погиба. Настороженный Бараболя с пистолетом в руке тут же вылетает обратно, и они сталкиваются в дверях.

– Пан подполковник! – удивленно и радостно восклицает агент. – Фу! Как вы меня перепугали! Я уже черт знает что подумал. Душа до сих пор в пятках. – Он прячет пистолет в карман и сразу же откуда-то выхватывает за головку кнут. – А где же пан сотник?

Погиба входит в мастерскую, Бараболя крепко затворяет за ним дверь и стоит у порога с кнутом, точно возчик.

– Садись, Денис Иванович. – Теперь и фигура и лицо агента больше нравятся подполковнику. – А наш пан сбежал, переметнулся к красным.

– Предатель! Я сразу почуял, нестоящий он человек. – Ворсистая, как шерстяной мяч, физиономия Бараболи багровеет от ярости, но тут же мимолетное воспоминание меняет его облик. Он пророчески поднимает руку и с чувством декламирует: – «Воистину, друзья мои, я хожу среди людей, как среди обломков и отдельных частей человека». Так говорил Заратустра.

Ницше не производит впечатления на Погибу.

– Вы лучше подумайте, что скажет про меня и про вас Пидипригора. Он ведь из этого уезда. – Из-под редких ресниц подполковника мерцают отблески копилки.

– Его следует опередить. Мы ему земляную постельку постелем. – Бараболя отвечает спокойно, только пониже ушей у него обозначились подвижные желваки. – Как его фамилия? Пидипригора?..

– Пидипригора Данило Петрович.

– Из Новобуговки?

– Из Новобуговки. Что же вы с ним сделаете? – любопытствовал подполковник. – Подстрелите?

– Господь с вами! К чему такая варварская отсталость? Надо действовать в духе двадцатого века и тех наших девонширских учителей, которые предпочитают оставаться в тени. – Бараболя захихикал. – Мы составим правдоподобное письмо в Чека, напишем все, что вы знаете про господина сотника, напишем всю правду, только одну капельку лжи добавим: мол, Данило Пидипригора перешел к красным, чтобы лучше послужить головному атаману.

– А поможет? – Погиба с отвращением и страхом прислушивается к хихиканью агента.

– Уже помогало, пан подполковник, и не раз! – Он трижды проткнул пальцем воздух. – Главное, чтобы в таких бумажках было побольше правды. Если правда сходится, то капелька лжи действует как сильнейший яд. Смертельно!

– Решайте как знаете. Я, верно, так не поступил бы, – задумчиво бросил Погиба.

– Нужда заставит – и вы так поступите. В наш век романтика осталась для простаков. Не возражаю: она помогла головному атаману увлечь часть молодежи казацкой славой, малиновыми шароварами и длинными шлыками. Но, кроме романтики, есть еще грязь войны, и она ложится на нас. То, чего вы сегодня не можете сделать, сделайте завтра. Война рождает не апостолов, а убийц. Уже и в селах расшатываются устои христианской морали и жалости, – слишком много расплодилось людей, и каждому жить охота... – Голос Бараболи крепчает, он обрывает на патетической ноте и снова принимается декламировать Ницше: – «Жалость! Жалость к высшему существу! – воскликнул он, и лицо его стало как медь. – Ну что ж! Тому была своя пора!»

Погиба впервые с удивлением отметил, что глаза агента могут быть жестокими и умными.

Подполковник не успел вымолвить ни слова, как Бараболя ошеломил его убийственной фразой:

– Когда время взнуздает, и вы станете таким же артистом, хотя и побрезговали сесть со мной за один стол.

Этот внезапный выпад обезоружил Погибу и поднял в его глазах нескладную фигуру агента.

– Простите, Денис Иванович, простите, я не сразу раскусил вас.

– А я не сразу показал себя. – В жестоких глазах блеснуло самодовольство; впрочем, его тотчас размыло обычное глуповато-заспанное выражение. – Что же нам теперь с Палилюшкой делать, господин подполковник?

– Не приехал?

– После разгрома Шепеля под Хмельником осторожничает. Прислал свою бричку за вами.

– А у Шепеля плохи дела?

– Один штаб спасся, даже из правительства никого нет: разбежались.

– У Шепеля было свое правительство? – удивился Погиба, вспоминая низкорослого вонячинского атамана.

– А как же! После нашей прошлогодней трагедии он в Литыне провозгласил новое правительство Украинской народной республики, даже одного галичанина сунул туда, чтобы в правительстве были, так сказать, представители и Надднепрянской и Надднестрянской Украины.

– Ну и прохвост! – засмеялся подполковник. – Захватил один уезд, а власть формирует на всю Украину.

– Воробей, а метит в орлы. Авантюра – великое дело: а что, если вытащить туза из колоды жизни!

– Так поедем к батьке Палилюшке?

– По правде сказать, я и сам не знаю, что делать. Чутье подсказывает – хитрит батька, атаманит в нескольких селах, а сам выжидает, чья возьмет.

– Но хоть в душе-то он за Петлюру?

– В душе он только за себя и за свои несколько сел. Надеется, что удастся сварганить мужицкое царство без помещиков, генералов и власти.

– Что ж, двум смертям не бывать, поедем! Хоть почуем, каким ветром теперь несет из Совдепии!

Бараболя пропустил подполковника вперед, украдкой трижды перекрестился на образ Николая-чудотворца и погасил свет.

У ворот под яворами стоит расписная тарашанская бричка, бьют о землю копыта, в глазах у добрых коней сверкают лунные искорки. Бараболя вскочил на передок, оглянулся на подполковника, осклабился, взмахнул кнутом над головой, и лошади с места взяли галопом. И вот уже мягкая торфяная земля пружинит под колесами, едва колыша на себе убор лунной ночи.

У креста, на котором висит украшенная рушником икона, их задерживают хорошо вооруженные часовые, однако, узнав атаманскую бричку, тотчас расступаются.

Агент головного атамана подъезжает к кирпичной школе. Под ее высокими окнами толпятся бандиты, во дворе, ломая руки, плачет женщина, а на бревнах, под охраной сидят в одном белье трое понурых арестантов.

– Продармейцы. Сегодня им батька набьет животы зерном, – поясняет Погибе Бараболя.

Они поднимаются по расшатанным каменным ступеням, входят в школу. Два высоченных парня с нагайками уступают им дорогу. Через головы бандитов, сидящих в самых независимых позах на раздвинутых школьных партах, Погиба видит большой стол и за ним коренастого крепыша в бекеше и смушковой шапке; из-под кучерявых усов его свисает длинная казацкая люлька, в ней сверкает воспаленным глазом огонек. На столе перед атаманом арапник и девятизарядный «веблей-скотт». За спиной стоит обвешанный бомбами телохранитель.

Бараболя вьюном проскальзывает вперед, подводит Погибу к столу и знакомит с крепышом.

– Батька Палилюлька. – Атаман вынимает изо рта трубку и выпускает вверх дым. – Значит, от головного прибыли? – Он осматривает подполковника маленькими лукавыми глазками.

– От головного.

– Потолкуем после, а сейчас садитесь прямо на окно. – На упрямо спокойном лице батьки нельзя прочесть ни одной мысли.

Слишком уж сухой прием смутил не столько Погибу, сколько Бараболю. Ноздри его коротковатого носа расширились, принохиваясь к происходящему, глаза забегали по физиономиям бандитов и остановились на побелевшем начальнике штаба. Он, затянутый под Махно в гусарский доломан, сидел справа от Палилюльки и то и дело беспокойно вскакивал со стула. Его удлиненное, с приплюснутыми щеками лицо выражало едва сдерживаемое в щелочках глаз отчаяние. Смущенно ерзал на стуле и жирный писарь в шапке, надвинутой на самые брови. Чутье шпиона подсказывало Бараболе, что перед их приездом здесь творилось недоброе.

На передней парте сидели трое прилично одетых мужиков.

– А это кто? – тихонько спросил Погиба.

– Министры из той волости, о которой я рассказывал. Приехали с жалобой, требуют, чтобы парни Палилюльки не заглядывали на их территорию за харчами.

Батька взял со стола арапник, показал ручкой на дверь и проговорил одно слово:

– Приведите!

Два бандита с нагайками стремглав бросились в коридор и через минуту подвели к столу широкоплечего, немного потрепанного, но совершенно спокойного бойца в черной, с длинным красным шлыком шапке.

Погиба невольно вздрогнул: такие шлыки носили только молодцы атамана Волоха.

– Ты кто такой будешь? – ровным голосом обратился к нему Палилюлька. – Рассказывай, как на духу. Соврешь хоть слово – пулей рот заткну.

– Я теперь красный казак! – смело ответил парень и независимым жестом поправил шлык.

– Запиши для порядка, – коротко приказал Палилюлька писарю.

Тот выхватил из-за уха ручку, обмакнул в заарканенную бечевкой чернильницу, заскрипел пером.

– А кем ты раньше был?

– Был вольным казаком у атамана Волоха.

– Все пиши. – Палилюлька покосился на писаря и снова спросил казака: – Ну, а как ты к красным перешел?

– Я не переходил. Об этом подумал сам атаман Волох. Когда в прошлом году Петлюра

не знал уже, куда податься, наш батька захотел его проучить и напал на его штаб в местечко Любар.

Бандиты загудели, но Палилюлька стукнул арапником по столу, и все затихли.

– Говори, парень!

– Ну, вдарили мы на штаб, хотели живьем захватить Петлюру и в мешке передать красным, но адъютанты успели впихнуть его в бричку и без памяти потащили к Пилсудскому.

Школа огласилась хохотом, и этот хохот болезненно отозвался в сердце Бараболи. Захотелось соскочить с окна, подбежать к столу, но в этот момент заговорил Палилюлька:

– Говоришь, не поймали Петлюру?

– Не поймали, батька, больно лихо драпал, – с сожалением проговорил казак.

– А ты, чертова бадья, жалеешь?

– Жалею, батька.

– И не выродок ты после этого?

– Выродок, батька, – согласился парень, а вокруг снова послышался смех.

Только начальник штаба в отчаянии схватился руками за голову, вскочил и воскликнул:

– Батька, этот недоносок обливает грязью героя! У нас Петлюра все равно что в Италии Гарибальди.

– Ги-ги-ги! – вспомнил что-то казак и засмеялся. – Ворошилов писал про Петлюру, что он похож на Гарибальди, как свинья на коня.

Казак подсек своими словами начальника штаба. На миг школа замерла. И вдруг стены дрогнули от неистового хохота. Смеялся со всеми и батька, только начальник штаба присел на стул, обхватил рукой шею. Посмеявшись, Палилюлька снова обратился к казаку:

– А что же, языкастый поскребыш, дальше было?

– Что было дальше? Собрал нас атаман и говорит: «Будет нам, ребята, перематывать чужакам вонючие онучи. Побаловались, повидали своих шмар, пора и к людям возвращаться». Ну, и подались мы к красным, только пыль за нами столбом.

– В Чека водили вас? – грозно спросил Палилюлька, а все бандиты притихли.

– Не водили, батька.

– А что же делали с вами?

– Сперва дали газеты и книжечки с агитвозка, потом накормили, а после уж прислали комиссара. Мы хотели без него обойтись, но, когда послушали, оставили при себе. Подходящий человек попался.

– Вы оставили или вам оставили?

– Мы оставили! – твердо ответил казак.

– А многих из вас побили?

– Не тронули ни одного. Не то что головы, даже шлыки не снимали. Так и воюем в них.

– Он агитатор! – не выдержал начальник штаба, снова вскакивая со стула.

Но парень не оторопел, а рассмеялся.

– Я такой агитатор, как ты Вильгельма Второго зять...

Палилюлька поднялся из-за стола, насупил брови.

– Так слышали, ребята, что говорил этот недоносок?

– Слышали, батька! – загудели бандиты.

– Вот я и думаю теперь: что же нам делать? Петлюру спасти, чтобы он, значит, с Пилсудским навек стакнулся и снова его к нам привел, к красным пойти или разойтись тихонечко по домам?

Бандиты сперва притихли, потом загудели, закричали:

– А как, батька, нам лучше?

– По домам пора!

– Ой, придется нам арестантских вшей кормить!

– Вместе пойдем к красным, чтоб потом хуже не было.

– Вместе не тронут, а поодиночке передушат!

Когда шум стал постепенно затихать, Бараболя соскочил с окна, мимо застывшего в отчаянии начальника штаба подбежал к столу. Плотная фигура петлюровского агента сразу привлекла к себе внимание.

– Опомнись, батька! – Голос Бараболи дрожал. – На погибель ведешь ребят...

– Молчи, нечистый, когда люди думают! – цыкнул на него атаман.

Но Бараболя не замолчал.

– Побойся бога, батька! Красные перережут вас, как цыплят. Пожалеешь голову, да поздно будет.

– И в кого ты грубиян такой? – удивился Палилюлька, и голос его вкрадчиво понизился: – А ну, братва, всыпьте ему хоть десяток, чтоб не умничал.

– Батька! – взвизгнул Бараболя, отскочил и забился в дюжих руках бандитов.

Они мастерски скрутили толстяка, сорвали с него штаны и вдвое перегнули его на скамье, с которой вскочили телохранители Палилюльки. В воздухе размашисто сверкнули нагайки, раздался визг, и нагайки, шипя, снова взлетели над распростертым телом.

На лбу подполковника выступил холодный пот: за этим шипеньем он чувал дыхание собственной смерти. Он понял, что Палилюлька сегодня же поведет свою банду к красным, не постыдившись прихватить и его.

В это время в школу ворвалась женщина, голосившая во дворе. Она метнула полуобезумевший от горя взгляд на парту, где лупцевали Бараболю, зажмурилась, снова раскрыла глаза и обвела взглядом класс, мучительно стараясь найти кого-то.

– Мама, я тут! – окликнул ее казак в шапке с красным шлыком.

– Сынок мой, дитятко! – И женщина, дрожа, упала ему на грудь. – Так это не тебя мучают?

– Видите же, не меня... – неумело успокаивал ее сын, смущенно поглядывая на бандитов.

– А ну марш отсюда! Разнежились! Дома нюни распускать будете! – заорал матери и сыну Палилюлька, и они медленно вышли из школы.

Обессилевший Бараболя, охая, встал с лавки, споткнулся, снова встал, постаревшими руками подтянул спустившиеся на пол штаны. Застегнув их, он, горбясь и охая, вышел из школы. Его никто не задерживал, и Погиба позавидовал ему.

Палилюлька переждал, пока в дверях скрылся согбенный Бараболя, потом вынул изо рта трубку, и его большая голова нависла над столом.

– Слушай, братва, мой, может, последний совет: не один день вы знаете меня, и не один день я думал, что нам дальше делать. На Петлюру надежды больше нет. Поляки идут с красными на мировую. А Врангель из господ, ему надо свернуть голову. Так что выходит – лучше бить господ, чем большевистскую власть. Вот я и перехожу и красным, пойду с ними на Врангеля, чтобы никакая шатия потом не привязывалась. Кто хочет – ступай со мной, а кто не хочет – отправляйся на все четыре! Не запрещаю. Вольному воля, спасенному рай! Так я думаю, братва?

– Слава атаману! – закричало большинство бандитов, подбросив шапки, а несколько человек стали поспешно пробираться к дверям.

За ними рысцой двинулся и начальник штаба. Их никто не удерживал.

– Ну, братва, – обратился Палилюлька к своей охране, – тащите сюда и печеное и вареное. Погуляем еще разок вволю, а то у большевиков черта лысого погуляешь – там паек.

– А что, батька, с продармейцами делать? – крикнул кто-то со двора в окно.

– Отпустите с богом.

– Гей, вы, сматывайтесь отсюда! – крикнул тот же голос за окном, потом заговорил о чем-то удивленно, и конвоир вошел в школу.

– Батька, вот холера, продармейцы не желают идти без штанов. Стесняются.

– А куда же вы, сукины дети, подевали ихние штаны?

– На самогонку выменяли. Мы же не знали, что им так пофартит, – засмеялся бандит.

– Черти б вашу маму взяли! А я, думаете, знал? Что-то надо сообразить.

Палилюлька вышел из-за стола и направился к выходу. За ним потянулись бандиты, а позади, дрожа всем телом, тихонько двинулся Погиба. На него никто не обратил внимания. Держась в тени школы, он пробрался в сад, перескочил через перелаз и очутился на узкой, заросшей спорышом улочке. Тут он ускорил шаги, соображая, как добраться до хутора Веремия.

За селом на дороге он увидел невысокого толстяка, который неверными шажками продвигался в тени придорожных деревьев. Это безусловно был агент головного атамана. Вот он испуганно оглянулся и обрадовался, увидев подполковника.

– Слава богу, слава богу! А я уже чего только не передумал по дороге! – Глаза Бараболи блеснули болью. Он остановился и злобно погрозил кулаком селу. – Насмеялся над нами, погоди, ты у меня костей не соберешь за эту насмешку! Мы тебя одной бечевкой с господином сотником свяжем. Навеки свяжем!..

Погиба посмотрел на искаженное болью и ненавистью лицо Бараболи, на его разные глаза, которым в эту минуту было тесно в разрезах век, и отвел от него взгляд.

У самой дороги зазвенели потревоженные ветром соломинки, агент атаманской разведки сразу же настороженно оглянулся на звук. На полях, проколотое высоким жнивьем и перемешанное с тенями стеблей, колыхалось лунное марево, оно четко заштриховало извилистую тропинку, уходящую в холодную даль. Бараболя сошел на тропинку, морщась сделал несколько шагов, обернулся к Погибе.

– Простите, но я должен раздеться, не могу дальше так идти.

– Делайте как вам лучше.

Бараболя стоя разулся, со стоном скинул забрызганные кровью штаны, снова обулся и, проклиная Палилюльку, разбитой походкой заковылял на хутор. И жалко и смешно было смотреть, как его неуклюжая фигура корчилась от злобы и боли.

На рассвете они добрались до жилища Веремия. У ворот их встретил хозяин, широкоплечий мужик с короткой шеей, с длинными, могучими руками. Так же, как его хутор вращал в мягкий торфяник, вращал в землю и сам крутолобый Стратон Веремий.

– Боже мой! Денис Иванович, что с вами? – участливо спросил он, увидев, как мучительно загребали землю ноги Бараболи.

– Беда, Стратон Потапович...

Веремий выскочил на тропку, оглянулся, обошел вокруг агента и уже спокойнее сказал:

– Это, слава богу, еще не такая беда. Я пришлю свою ведьму, она вам все язвы за три дня заживит.

– Пошепчет? – криво усмехнулся бескровными губами Бараболя.

– Нет, у нее зелье.

– А хуже не сделает?

– Она, Денис Иванович, хоть и пигалица еще, а выхаживала и таких, что одной ногой в могиле стояли, поверьте мне.

– Что ж, придется поверить, – вздохнул Бараболя и пошел с Погибой в столярку.

А Веремий забежал в хату, потом вывел из конюшни лошадь и поскакал в рощу, сизую от утренней росы.

Через час, когда Погиба как раз собирался завтракать, а Бараболя охал, лежа на топчане, дверь в столярку осторожно приотворилась и на пороге появилась тоненькая девушка в берестяных лаптях и старенькой юбке.

– К вам можно? – тихо спросила она.

Погибу удивило и насторожило ее появление: он знал, что в столярку не мог прийти никто, кроме хозяина.

– Заходи, заходи! – пригласил он гостью, вставая.

Девушка неловко затворила за собою дверь, поклонилась подполковнику.

– С добрым утром вас.

– Доброе утро, девушка. Ты кто будешь?

– Батрачка у дяденьки Стратона. Марьяной меня зовут.

Она подняла голову, и Погиба увидел на узком лице брови, каких до этих пор нигде не встречал: они широко и размашисто взлетали двумя сверкающими черными крыльями от переносицы к вискам. Эти черные крылья будто влекли ввысь всю хрупкую плоть девушки. Такие брови могут только во сне присниться! Но под ними не сияли, как можно было ожидать, а молили испуганные глаза; в этих глазах угадывался застарелый страх, и тени его, казалось, лежали на всей тщедушной фигурке Марьяны.

– Ты что-то хочешь мне сказать? – Погиба залюбовался девушкой, по глазам определяя, что жизнь у нее нелегка.

– Нет. – Она смущенно опустила голову. – Хозяин велел, чтобы я кому-то тут раны залечила.

– Так это ты... лечишь людей? – спросил пораженный подполковник. У него едва не вырвалось: «Так это ты ведьма?»

– Приходится иногда... – Девушка ответила на его изумление жалкой улыбкой, дрожащей в ямочках щек.

– Кто же тебя этому выучил?

– Мама. Она во всяких зельях разбиралась. – Девушка произнесла эти слова почтительно и гордо.

– И что ж она могла вылечить?

– Всякие раны, кости сращивала, лишай, экзему выводила...

– Экзему? – Подполковник удивился, что девушка знает такое слово. – А чем она выводила?

– Перегоняла дерево орех... Так кому тут пособить?

Погиба кивнул головой на топчан, и Марьяна подошла к Бараболе, который не сводил с нее глаз. Он мало верил в знахарские снадобья, но лицо Марьяны – бровастое, с прямым маленьким носом – чем-то привлекало его.

Девушка поставила на табуретку баночку со своим зельем, стыдливо нагнулась над Барабой, и ее пальцы осторожно, ветерком, пробежали по его налитому жаром телу.

Когда Марьяна вышла, Погиба улыбнулся.

– Ну, как вам эта... ведьма? Нравится?

– Нравится. И вы знаете – утихает боль, и жар спадает. Она и самом доле кое-что смыслит.

– Возможно. А похожа она знаете на кого?

– Нет, не знаю.

– На лесную русалку.

– Красивая девушка.

– Ничего, только от ветра клонится. Верно, у ней харчи похуже наших. – Погиба показал глазами на стол.

Х

Бог для того послал на землю ночь, чтобы в тиши росли травы и отдыхали люди. В эту ночь, может быть, и поднималась под осенними звездами ранняя озимь, но люди мало отдыхали. Не клонило ко сну тех, кому предстояло получить землю; не спали и те, кто лишился части своих всеми правдами и неправдами добытых урочищ и хуторов.

Не успели еще одни разойтись с комбедовского собрания, как по селу осторожно засновали другие и по стеклам окон тихонько забарабанили те руки, которые степеннее всех крестились в церкви, а на рынке ловчее всех тянулись к рублю.

Больше всего денег прошло в селе через руки лавочника Митрофана Созоненка. Веснушчатый, точно кукушкино яйцо, скрестив на груди проржавленные руки, он недвижимым идиолом сидел за прилавком и рыжим бесом широко гулял на свадьбах да крестинах. Там Созоненко не пропивал денег и не приносил подарков, а при всех вынимал из

городского бумажника долговые расписки и величественно бросал на приданое молодой или на зубок новорожденному. А в селе как в селе – по-всякому смотрели на выходки богатея, чья рука навеки легла на аршин, и расписки его прозвали «Созоненковы деньги». Это не смутило, а только возвеличило Митрофана в собственных глазах, и он даже заготовил для расписок разноцветные, одного размера листки бумаги, чтоб они в самом деле напоминали людям настоящие деньги.

В этот вечер, после невеселого ужина, Созоненко запер изнутри и снаружи свою просторную лавку и нетерпеливо ждал, кто первый принесет ему с комбедовского собрания дурные вести о земле.

В дверь робко просунула скособоченные плечи изможденная женскими болезнями Надежда. Муж поднял голову, посмотрел и – жена словно провалилась во тьму смежной комнаты, только дверь по ней вздохнула.

«Падаль», – тоскливо, в который уж раз подумал Созоненко, как будто Надежда была виновата в том, что он женился без любви, не на ней, а на ее богатстве.

Митрофан взял ее пятнадцати лет, когда у ней еще и месячные не начинались, и бедняжка забивалась от него во все темные уголки, словно предчувствовала, что замужество не принесет ее телу и душе ничего, кроме боли. Так и случилось. Даже на хороших харчах женщина жирела, желтела, сохла. От нее не отходили шептухи и знахарки, а Митрофан в ярости прозвал ее «мешком нытья» и зачастил к другим бабам.

Жена принесла ему в приданое не деньги, а десятины, – чтоб они сгорели вместе с нею, ибо теперь эту землю забирали у него. Забрали бы вместо с землей и жену – все легче будет вспоминать о своем брачном ярме. Даже родить – на что уж нехитрая наука! – не могла по-людски. Все выкидывала и выкидывала. Только одного сына выходила, да и тот в журавлиную породу пошел – худющий, бледный, как побег проросшей в подполе картошки.

Во дворе неистово залаяла собака. Митрофан, не одеваясь, вышел из хаты, подошел к глухому забору, приложил к нему ухо и уж потом спросил:

– Кто там ходит?

– Это я, Митрофан Вакулович, – просочился в замочную скважину смиренный голос Кузьмы Василенка.

Созоненко загремел железом, отпер калитку, и во двор бочком, боясь задеть хозяина, осторожно протиснулся вековечный должник Василенко. Широкие полотняные штаны его потемнели от сырости, точно он побывал в канаве.

– Добрый вечер, Митрофан Вакулович. – Кузьма снял шапку, поклонился и вздохнул.

– Пойдем в хату. – Созоненко украдкой высунул на улицу голову, повертел шеей.

– Никого нет, я за собой... хе-хе... свидетелей не вел, – угодливо засмеялся Василенко. – Я огородами петлял, чтоб никто не увидел. Весь в росе.

– Я свидетелей не боюсь! Плевать мне на них! Я гляжу, месяц взошел или нет. – Созоненко разозлился, что даже такому ничтожеству, как Василенко, заметна его осторожность.

– Взошел, взошел. Тут вам, из-за этого забора, и месяца не видать. Крепость! – хвалит Кузьма кулацкую усадьбу, все еще не надевая шапки.

В комнате Созоненко садится за стол, а Кузьма робко топчется босыми ногами на свежевывытом полу. Его влажные, печально-угодливые глаза скорее подошли бы богомольцу, чем этому пьянице и мелкому воришке. Правда, за чаркой и Кузьма становится человеком, бросая на хмельные столы и острое слово и насмешку, которую трезвый хранит за семью печатями.

– Кончилось собрание? – Митрофан ощупывает Кузьму глазами. Взгляд у лавочника оценивающий, он сразу определяет, чего стоит человек и с нутра и снаружи.

– Должно быть, кончилось. Я до конца не досидел, чтобы вас без опаски проведать.

– Дожился, можно сказать! Ну, и что на том собрании было?

– Беспредельно плохо, – невесть зачем ввертывает Кузьма ученое слово. Потом снова вздыхает и смотрит на Митрофана по-собачьи преданными глазами.

– И смерть Пидипригоры не помогла? – Все тело Созоненка наливается жаром.

– Не помогла, нисколько не помогла. – Кузьма тронул себя за голову, посреди которой до самой макушки пролегла, словно покрытая пушком одуванчика, ранняя лысина.

– Еще поможет, – хмуро пообещал лавочник. – Мою землю забирают Олександр Пидипригора и Карпец?

– Они, кто ж еще!

– И не отказывались от хозяйской?

– Нет. Только один Мирон Пидипригора насилу от крестился от Денисенковой.

– Ну, тогда живо беги к Карпцу и к Пидипригоре, скажи, пускай тотчас ко мне приходят. А тебе за это магарыч.

– Я мигом!

Глаза Василенка при упоминании о магарыче веселеют. Он закрывает шапкой поредевшие волосы и поворачивается к двери, показывая заплатанную спину.

– Не торопись, на собаку нарвешься.

Созоненко, морщась, обходит Кузьму, от которого несет потом и шинком, выпроваживает его за калитку, на улицу, которая уже славно убралась тенями и лунным светом.

Кузьма среди теней и сам становится тенью, только по собачьему лаю можно догадаться, мимо чьего двора он идет. Правда, псы вдруг отозвались и на Козьем краю, куда Василенку сворачивать незачем. Но это не удивляет Созоненка: там, верно, тоже какой-нибудь посланец обходит мужиков, позарившихся на землю своих односельчан. Ох, помогут ли только эти колядованья?..

Сквозь проделанную в столбе скважину для самодельного ключа капля лунного сияния просачивается во двор и затекает в руку. Он стряхивает эту росинку далекого света и, кривясь, входит в комнату. Тут он привычным движением вынимает из божницы разноцветную пачку перевязанных расписок, расшнуровывает их и, на миг забыв о земле, любит своим мелким почерком. От этого почерка не раз обдавало холодным потом хмурых трехаршинных здоровяков, обливались частыми и крупными слезами женщины, и в отчаянии, заламывая руки и корчась, отдавались ему молодые вдовы. Только с ними, а не со своей холодной и увядшей женой познал он страсть и любовь. Конечно, грех тратить свое добро на чужих баб, да ведь и то сказать – не дарить же его.

Он перелистывал расписки, и каждая из них о чем-то говорила ему, смотрела на него со скорбно униженной или просительной улыбкой. Вот и крестик Олександра Пидипригоры ниже слов «в сем расписался». Вот и непослушные изломы и кружочки подписи Карпца. Тяжко, не рукой, а грудью налегая на стол, выдавливал из себя человек обязательства. Да что поделаешь, если надо собрать на лошаденку. И купил-таки на его, Созоненка, деньги сивую кобылу.

Смеху было с этой лукавоглазой клячей, которая, верно, и не ведала, что такое рысь, – ее опухшие в суставах ноги знали только твердую поступь труженицы. А хлестни кнутом – шарахается как бешеная, и глаза становятся по-человечьи злыми. Но однажды, когда и добрые кони Полищука застряли в луже, эта самая кобылка возьми да и покажи себя – вытащила двойную ношу. С той поры никто не поднимал больше на смех ни Карпца, ни его лошадь.

Разноцветные бумажки ненадолго отвлекают Созоненка от главного, и руки его снова обретают крепость и силу. Но прояснение это ненадолго, как осенний день, когда из дымчатой облачной прорехи проглянет пятно солнца. «И чего убиваться?» – не раз спрашивал себя Митрофан. Ведь у него отрезают всего семь десятин. Но теперь эта земля стала для него самой дорогой, самой лучшей.

Созоненко перевязывает расписки, прячет их за божницу и только две оставляет при себе. «Где наше не пропадало!» Он простит долг и Карпцу и Пидипригоре, только бы отказались от его земли.

«За свое и еще свое давай! Дождались свободы! Голоштаный Мирошниченко вертит

селем как хочет...» Тоскливые и злые мысли подогревают ярость, и уже хочется плюнуть на кротовьи лазейки, по которым пустился Сафрон Варчук, и придумать что-нибудь посерьезнее.

За окном с перебоями бренчит железная, прорезавшая сквозь столб щекотки. Созоненко поспешно кладет расписки в карман и выходит во двор. Он отпирает калитку. В проеме перед ним залитая лунным светом безнадежно понурая фигура Кузьмы. Вид его не предвещает ничего хорошего.

– Что, Кузьма? – Митрофан почему-то сторонится и дает ему дорогу, как порядочному человеку.

– Беспредельно плохо, – вяло бросает тот свои глупые слова и втаскивает за собой во двор косою столб тени.

– Говори, не тяни же! – злится Митрофан; даже при луне видно, как краснеет его пестрая физиономия.

– Что там говорить! Взбесились мужики. Вот Карпец запряг кобылу да и поехал ночью на ваше поле.

Созоненко, удивленный и обиженный, кладет руку на грудь, чтобы унять боль.

– На моей лошади и на мое же поле?

– На ваше. Так жена сказала.

– И нарезки, вражий сын, не дождался? – Побелевшие губы Созоненка дрожат.

– Там и будет ждать. Вот человек! – Кузьма поднимает сжатый кулак, в душе дивясь смелости Карпца.

– А Пидипригора что?

– Лучше и не говорить!

– Говори!

Василенко входит во двор, а Созоненко с размаху гасит калиткой лунное сияние.

– Застал я Олександра дома. Как раз после ужина с семьей про завтрашний день говорил. А у его Юрка столько книг – ну прямо как у бурсака: и возле божницы, и на лавках, и в сундуке... Уж не думает ли и этот на кого-то выучиться?

– На черта мне сдались его книжки! Ты дело говори! – вскипел Митрофан. – Тянет и тянет, только кишки выматывает...

Кузьма вздохнул, тупо покосился на лавочника и забубнил в землю:

– Сказал я Олександру, чтобы сразу, значит, бежал к вам. А он поглядел, ровно грош подарил, и спрашивает: «Ты долго еще думаешь в холуях у Созоненка ходить?»

– Так и сказал?! – Митрофан не поверил своим ушам.

– Так и сказал, черти б его взяли. «Ты, говорит, долго еще думаешь в холуях у Созо...»

– Слышал уже. Дальше, ради бога!.. – Митрофан застонал, словно от зубной боли.

– И дальше, Митрофан Вакулович, не легче. «Передай, говорит, своему Созоненку, что, ежели он со мною хочет видеться, пусть сам ко мне придет. Не велик он теперь барин».

От этих слов у Созоненка помутилось в голове. Такой наглости ему не доводилось слышать за всю жизнь.

– Ну погоди! – погрозил он кому-то кулаком. – Теперь я сам пойду по ночам колядовать!

Забыв о Кузьме, он бежит в хату, надевает прюнелевую чумарку⁸ и, погасив свет, выбегает, уже собирая мысленно своих друзей и единомышленников.

Осенняя прохлада не остудила вспотевший от злости лоб, поздний час не сдерживает его быстрого шага: бог не на то послал на землю ночь, чтоб отдыхал хозяин.

XI

⁸ Чумарка – вид сборчатого кафтана.

Дома Свирида Яковлевича уже ждали Уляна Завирюха, дальняя родственница его по молочной матери, и учитель Григорий Марченко. Оба сидели в тени на широкой завалинке, о чем-то тихо толкуя. При виде учителя Мирошниченко сразу же вспомнил о своем долге перед школой.

В селе Новобуговке никогда не было приличной школы, да и хлеборобы не очень-то посылали своих детей учиться: «На попа не выучится, а пьяниц писарей нам не надо». И ученье их сыновей и дочек чаще всего начиналось на выгоне или в помещичьей экономии. Прежде в селе школа прозябала, а в революцию и вовсе закрылась; дьячок-учитель, плюнув на голодный паек, удалился хозяйничать на свой хутор, книги пошли мужикам на курево, а рамы в школе повынимали хорошие люди.

Но в этом году отдел народного образования прислал в село настырного учителя, который не даром получал в месяц тридцать фунтов ржи, фунт сахара и две пачки спичек. Когда Свирид Яковлевич впервые застал его в школе за ручными жерновами, учитель, отирая рукавом потный лоб, ничуть не смутился.

– Ну вот, наконец мы и встретились, – невесело улыбнулся Мирошниченко, с досадой поглядывая на жернова.

– Рад видеть у себя первого коммуниста, – приветствовал его учитель, подавая белую от муки руку.

– Ругаться собираетесь? – настороженно глянул на него Мирошниченко.

– Нет, Свирид Яковлевич, не собираюсь. – Учитель выпрямился; он был высок и худощав, из-под темной верхней губы красиво сверкнули чистые, синеватые зубы.

– Неужто не собираетесь? – немало удивился Мирошниченко. – А я бы на вашем месте не выдержал.

– Подстрекаете? – снова по-детски доверчиво засмеялся учитель. – Прошу в гости.

Комната у него была четыре аршина в длину и три в ширину. В ней стояли узкая железная койка, накрытая вместо одеяла выгоревшей австрийской шинелью, заваленный книгами стол, два стула и бадейка с продуктами, на которой красовалась буханка черного хлеба, выпеченная самим учителем.

– Не густо у вас в хате. – Свирид Яковлевич крикнул, садясь на самодельный стул. – Скажите, как же вы рассчитываете прожить на паек? Кругом учителя бегут из школ...

– Я не сбегу, если сами не надумаете выгнать, когда увидите, как вам со мной туго придется, – беззаботно заверил учитель.

– Ого! – повеселел Мирошниченко. – За горло нас брать думаете?

– Доберусь и до горла и до печенок, если понадобится, – пообещал учитель. – Не привезете дров в школу – пойду вашу хату разбирать. Не улыбайтесь, пойду! – Он потряс кулаком. – Ну, разобрать вы не дадите, а сраму будет на все село. Я тоже из хохлов, упрямый! Я выучился, и дети у меня будут учиться.

– Дров я вам привезу. – Мирошниченко внимательно, с затаенной радостью смотрел в глаза учителя, которые то смеялись, то гневались. – Но вот как вам жалованье вырвать в уисполкоме? – За три месяца не получали...

– Иные и по полгода терпят.

– Что ж тут сделать? – Свирид Яковлевич уже беспокоился о понравившемся ему учителе.

– Обойдите двенадцать апостолов, может, вырвете, – улыбаясь, посоветовал учитель.

– Каких это двенадцать апостолов?

– Всех двенадцать заведателями, – охотно пояснил учитель.

– Тогда уж лучше к самому богу – к председателю! – расхохотался Мирошниченко.

– А он скажет: «Дайте мне раньше хлеб собрать да с бандитами и дезертирами покончить».

– И это может быть, – согласился Мирошниченко, удивляясь, почему Григорий Михайлович не скулит и не жалуется на судьбу.

Учитель догадался, какие мысли шевелятся в голове председателя комбеда, отрезал

хлеба и даже достал из бадейки ломоть влажного от соли сала.

– Перекусим, Свирид Яковлевич. Ведь вы почти такой же холостяк, как и я?

– Ого! Где же вы сало достали? Прислали из дому?

Учитель нахмурился.

– Вот эта квартира – весь мой дом. Из родных никого у меня не осталось. Матери очень хотелось увидеть меня учителем на господском жалованье, да не дождалась своего счастья. А где я сало взял, скажу. Только условие – чтобы ни одна живая душа об этом не узнала. – Григорий Михайлович согнулся пополам, выбросил из-под кровати натянутые на колодки девичьи сапожки, кусок вара и разный сапожный инструмент. – Вот мой второй заработок: людям сапоги шью и за двадцать пять верст отношу, в соседний уезд, – меняю на продовольствие, чтобы здесь никто не знал. Больше подозрений не будет?

– Вот так-так! – только и проговорил Мирошниченко и крепко пожал учителю руку. – Теперь я верю, что будет у нас школа, хоть и тяжел ваш хлеб.

– Это ничего, это все преходящее, а надо творить непреходящее. У каждого поколения свой героизм и своя трагедия. Под старость, Свирид Яковлевич, даже весело будет вспомнить перед молодыми, красиво одетыми учителями, как их коллега в дни революции, в дни величайших в истории человечества декретов, тайком, из-под полы, продавал на базаре сапоги, чтобы не бросить школу и не присоединиться к тем, кто каркает на революцию. Воспоминания придут в свое время, а теперь ни ученики, ни родители не должны догадываться о моем ремесле и промысле.

– Назвал бы вас молодцом, да мало этого, – растрогался Мирошниченко. – Значит, у каждого поколения свой героизм и своя трагедия? Это следует запомнить.

– Запоминайте, Свирид Яковлевич! Вы, я знаю, человек жадный. А теперь скажите, как поможете мне собрать учеников в школу? Дразню собак по селу, записываю школьников, а родители утаивают их от меня, как от вас хлеб. Утаивают будущих профессоров и ученых, перед которыми, может быть, целые государства будут снимать шапки!.. Неинтересно? Ну, тогда ешьте мой хлеб, хоть он и пахнет дратвою...

В тот вечер они стали друзьями. Мирошниченко понес домой несколько книг, а учитель прошелся по школьному двору, вернулся в свою комнату, завесил австрийской шинелькой единственное окно и принялся пришивать головки к голенищам. А чтобы для соседских и ученических глаз не оставалось на руках следа просмоленной дратвы, натянул старенькие перчатки...

Но как ни старались учитель и председатель комбеда, осенью в школе детей собралось не много. Родители чаще всего отговаривались тем, что нет одежды и обуви. И тогда Мирошниченко схитрил: распустил слух, что каждый учащийся получит сапоги и материю на одежду. И сразу в школу повалили малыши, которых даже не было в учительских списках. Проходили дни, родители все чаще надоедали учителю вопросом: когда будет обещанное?

И сейчас Свирид Яковлевич наперед знает, какой его ждет разговор. Поэтому он здороваётся как можно ласковее, не догадываясь, что уже этим дает понять Марченку о несбыточности его надежд.

– Мне, Свирид Яковлевич, уже можно уходить? – как обухом по голове бьет его учитель.

– Неужто так скверно, Григорий Михайлович? – Упрямый лоб председателя комбеда хмурится.

– Кое-кого из детей родители уже не пускают в школу. Была б кожа, сам бы сшил сапоги.

– Вот беда! Ездил я к председателю уисполкома.

– А он что?

– Бранил за мою выдумку, как самого последнего, да еще классово несознательным гастролером обозвал.

– Свирид Яковлевич, неужто и вас ругают? – удивилась русая улыбчивая Уляна. –

Никогда бы не подумала.

– Еще как перепадает, хоть я в таких случаях и орден нацеплю на гимнастерку и пиджак расстегиваю, – отвечает Мирошниченко и сам смеется своей выдумке.

– Выругал и ничегошеньки не пообещал? – Лицо Марченка увяло.

– Нет, пообещал. Он хоть и сердился, а за школу и у него душа болит. Сказал, что при первой же реквизиции у спекулянтов дадут что-нибудь и на школу... Ну, там ситчик какой ни на есть.

– И на том спасибо. Хоть бы вместо обещанных сапог ситчиком разжиться!

– Непременно получим.

– Буду ждать. Вы сына Олександра Пидипригоры знаете?

– Юрия?

– Да, да! Любознательный подросток, все мои книжки уже перечитал. А теперь прошу вашей помощи.

– Чем же я могу помочь?

– Есть у меня предложение, – Марченко понизил голос, чтобы не услышала Уляна, – пойти к попу.

– Мне пойти к попу?! – Мирошниченко удивился и рассердился. – Вы подумали, что сказали?

– Подумал, Свирид Яковлевич. Ради науки я пошел бы и к черту, как один немецкий ученый, только душу не продал бы. Ведь у попа три шкафа книг.

– Будь хоть двадцать три, а я к нему – ни ногой.

– А я ходил, не постеснялся.

– Не дал?

– Хуже – на смех поднял: «Могу предложить вам только божественные книги, для очищения души...» Ну, коммунисту он, я думаю, об очищении души не заикнется.

И, не дав Мирошниченку опомниться, учитель попросился и поспешил в школу.

– Наговорил, наболтал – и бежать, а ты думай, что делать... – пробормотал Мирошниченко и почесал в затылке.

– Очень хороший и деликатный человек, – похвалила Уляна учителя.

– Деликатный-то деликатный, а до самого нутра доберется. Как моя мама поживает, скажи, Уляна? Давненько я у нее не был.

Свирид Яковлевич улыбается, вспоминая свою молочную мать, которая и доньне удивляется, как она, маленькая женщина, смогла выкормить такого. «Ты ж у меня весь на подушечке умещался», – часто говорила она.

– Сердится мать на вас.

– Что так?

– На спаса ждала вас и на пречистую, а сынок не пришел.

– Все некогда.

– Она так и говорит: «Свирид приходит ко мне, только когда ему худо».

Мирошниченко выругал себя и твердо решил пойти к матери, как только выпадет свободный часок.

– Что у тебя, Уляна?

– То же, что у всех, Свирид Яковлевич: землю мне дали, где думали? – Она доверчиво заглянула ему в глаза.

– А ты что же сама на собрание не пришла?

– Где уж бабе ходить на собрание! И смех и грех...

– Глупости, Уляна! Кому же, как не тебе, теперь быть в передовых? Муж добровольцем на Врангеля пошел, брат с Петлюрой сражается.

– И не уговаривайте, Свирид Яковлевич! Никуда я не пойду.

– Почему?

– Почему? Страшного наговора боюсь.

– Какого еще страшного наговора?

– Э, сами знаете...

– Не знаю. Говори!

– Не успеет женщина посидеть на собрании, а уж бессовестные языки мелют, что она шляется. – Уляна разволновалась, и ее веселые, с приподнятыми краешками губы обиженно дрогнули.

– Так ведь это кулачье.

– Кто бы, Свирид Яковлевич, ни бросил грязью, а след остается. А я не хочу, чтобы мне в спину летели грязные слова... Так как же у меня с наделом?

– Три десятины наилучшей земли, как семье добровольца. Завтра выходи на поле.

– И возле бугра?

– Целая десятина.

– Спасибо, Свирид Яковлевич! – Она поклонилась. – Простите, что так поздно наведалась: дома у меня старый да малый.

Молодая женщина взялась уже рукой за калитку, но заколебалась.

– Еще что-нибудь, Уляна?

– Ох, еще! – Она тяжело вздохнула и опустила голову. Тень от платка упала на лицо, изменила его выражение. – Не знаю уж, как и сказать...

– Говори просто, мы люди бесхитростные. – Мирошниченко подошел ближе.

Уляна подняла на него глаза, полные муки, залитые слезами.

– Может, и грешно с такими словами к мужчине обращаться, – зашептала она, глотая слова и слезы, – только к кому же тогда? Свекор глухой как пень, с печи не слезает, а сестра каждый божий день гонит меня к знахарке. Тяжелая я, Свирид Яковлевич.

– Что ж горевать? Ты гордись этим, княгиней по земле ходи!

Уляна горько отмахнулась.

– Нищенкой пойдешь, если мужа убьют.

– Кто его, чудачка, убьет? – Мирошниченко даже потряс кулаком. – Да твой Денис, слышь, самого Врангеля в Черном море утопит! Ты что, своего Дениса не знаешь?

– Да знаю, – женщина стала понемногу успокаиваться.

– Еще и снег не выпадет, а Денис уже дома будет. Врангелю вот-вот крышка!

– Ой, Свирид Яковлевич, вас послушать – так всем не сегодня-завтра крышка: и Петлюре, и Пилсудскому, и Врангелю.

– А как же иначе? Конечно, крышка! Ты знаешь, что такое международный пролетариат?

Что такое международный пролетариат, Уляна не только не знала, но и выговорить не могла и потому осторожно спросила:

– А он за нас или против?

– За нас, Уляна, за нас! А твой милый до зимы непременно прилетит.

– В самом деле?

– Конечно! – уверял Мирошниченко, всем сердцем веря, что так и будет. – А ты уж разнюнилась! – Он кончиками ее же платка вытер ей слезы.

– Как маленькой, – улыбнулась она, всхлипывая. – Ох, Свирид Яковлевич, недаром моя сестра говорит, что вы лучше всех умеете... врать.

– Сама она стерва брехливая! Прокоп Денисенко вертится вокруг ее юбки, гляди, насмеется над вдовой, еще кулацким подголоском ее сделает. Пускай дубиной гонит его от себя, коросту липучую. А заикнется еще раз про знахарку – в кутузку посажу. Ты, Уляна, роди такого казака, как Денис, или такую же курносенькую дочурку, как сама. Я больше люблю курносых – как-то они веселее других на свет глядят. Сам этот курносый носишко улыбнуться тянет.

– Скажете, Свирид Яковлевич! – Уляна повеселела и вытерла слезы.

– Истинная правда. Одни любят носатых – не знаю, что они в них нашли, – а я курносых.

– А пришла бы носатая, так вы сказали бы, что носатых любите. Правда? – рассмеялась

Уляна, поправляя платок.

– Вот не нравится мне, когда бабы начинают все на свою куцую мерку мерить. Сказал – курносых, значит, курносых. Роди, Уляна, скорее, а меня в кумовья зови. Не позовешь – сам приду.

Он легонько хлопнул ее пониже спины, и она, не обидевшись, посмотрела на Мирошниченка из-за плеча, повела веселой бровью и мягко потонула в лунном свете.

А Свирид Яковлевич тяжело вздохнул. Говорил с Уляной, словно Керенский. Нет, лучше все-таки с мужиками шуметь и ругаться, чем иметь дело с этими плаксами... Он поднял голову и увидел сквозь листву, как щурился, расстилая над селом свою золотистую пряжу, месяц.

В такую ночь только на мельнице сидеть – отозвались далеким воспоминанием молодые годы.

Он подходит к хате и замечает на завалинке мисочку, прикрытую вместо тряпицы листом лопуха. Свирид Яковлевич приподнимает лист и вдыхает запах свежего творога. Ясное дело, Уляна принесла для детей. Немало помещичьих коров перешло к людям через его руки, а вот себе посовестился взять, потому и приносят ему подчас из бедняцких дворов то горшочек ряженки, то кружок творога, то комок масла. Даже заявление было уже в укоме, что председатель комбеда собирает себе подать молоком. Свирид знал, что это дело не темной бедноты, а кулацкой злобы, однако несколько дней на душе было противно: он ругался и просил, чтоб ему ничего не носили, но не помогло, даже укорять стали, что загордился.

Свирид Яковлевич тихонько отмыкает деревянным ключом дверь. Но чуткая Настечка уже услышала, как звякнула задвижка, она бросается с постели на порог и повисает на шее у отца.

– Тише, баловница, мисочку выбьешь! – Он поднимает одной рукой хрупкое тело ребенка.

– Ой, как вы колетесь! – Настечка отстраняется от его щетины и пробегает по ней тоненькими пальчиками.

От этого легкого прикосновения с плеч его сваливаются будничные заботы, глаза веселеют, и только в глубине груди царапает сознание вины: мало, ой как мало бывает он с детьми! Растут они у него, что трава на берегу. Порой он диву дается: как его Настечка справляется со всем? И откуда только у нее умение берется? Вот закончится раздел земли, тогда его не оторвешь от детей... Правда, можно было бы жениться на какой-нибудь вдове, но к нему до сих пор не приходили ни любовь, ни даже та жалость, с какой он относился к первой жене.

Настечка зажигает плошку и, прикрыв рукой, несет к столу. Неверное пламя просвечивает сквозь розовые пальчики, тени ложатся на удлиненное смуглое личико с такими же большими, как у матери, глазами. Удивительно создает людей природа: мало найдется в селе мужиков здоровее Свирида Яковлевича, а вот ни его сила, ни простые черты лица не передались детям, оба в мать. Шесть лет Левку, а смеется мало, даже вздыхает так же часто, как покойная.

Свирид Яковлевич берет у дочки плошку, подходит к постели. Там под отцовской катанкой, подобрав под себя ножки, спит его сынок. Одно веко у него набухло от жары и пыли. Черные, по-девичьи длинные ресницы выделяются, как у взрослого. На смуглом личике белеет несколько щербинок – следы ветряной оспы. Припухшие розовые губы полураскрыты, как бутон.

– Ужинал наш Левко? – спрашивает отец, чувствуя, как от волнения у него спирает дыхание в груди.

– Поужинал, – звонко откликается от печи Настечка. – Я наварила галушек. Попробовал – и на кровать. «Что ж ты не ешь?» – спрашиваю. «Замерз!» Тогда я вашу катанку на него накинула. «Садись – за отца будешь». Он засмеялся даже, сел, поужинал, а потом и спать пошел с вашей одеждой, возился-возился под нею, так и уснул.

Свирид Яковлевич целует сына в висок и, жалостно, по-женски, улыбаясь, отходит от него, чтобы не разбудить. А тем временем Настечка хлопочет возле посудного шкафчика, ставит на стол немудреный ужин.

– Идите поешьте немного.

Девочка уже перемешала в миске творог с галушками и садится за стол, на то же место, где сидела мать.

– Настоящая хозяйка! – отведав галушек, хвалит отец дочку.

Та лукаво посмеивается:

– Что ни сварю и как ни сварю, вы все хвалите. Видно, хорошо с вами нашей маме жилось.

И от этих доверчивых слов отцу становится не по себе: не больно-то хорошо жилось с ним его жене, всяко бывало в жизни, но пусть дети об этом не знают – у них и без того немало плохого впереди.

– А правда, у меня галушки не хуже, чем у тетки Докии?

– Лучше!

– Ну, вот уж и лучше! – возражает Настечка, хотя в душе она убеждена, что так и есть.

Вот если б ее кушанья попробовал теткин Дмитро! Настечка улыбнулась своим мыслям и застыдилась. Еще этой весной, когда Дмитро насилу вытащил ее из Буга и на плече отнес домой, она полюбила его от всей души. Что ж тут такого? Могут же девчата постарше любить парней, почему и ей в одиннадцать лет не полюбить своего спасителя? Она век будет любить его, уже и платок ему фабричный заполочью⁹ вышила, только подарить боится.

– Папа, я завтра с Левком думаю пойти в лес за терном. Я знаю, как вы квашеную ягоду любите.

– За терном? – Отец кладет ложку на миску. – Не ходи, доченька, в лес, там еще беспокойно. Обойдемся как-нибудь в этом году и без терна.

– А мы далеко не пойдем, мы по опушке. – Настечка болтает под столом ногами и только этим отличается от настоящей хозяйки.

– И не вздумай, Настя, ходить в лес! Долго ли до беды!

– Тогда на луг пойдем – там тоже есть терн, только в лесу на нем ягоды побольше.

– Ну, на луг можете. Спасибо, дочка, за ужин! Расти большая! – говорит он, тепло глядя на свою хозяйку.

– Спасибо и вам, – с достоинством отвечает Настечка, первая поднимается из-за стола, степенно несет к шестку ложки, обливную миску и принимается мыть их над ведром теплой водой.

– Вы куда пойдете ночевать – на луг или в овин? – спрашивает она, отрываясь от своей работы.

– Переночую сегодня с вами.

– Ой, лучше не надо! – испуганно возражает она. – Мы уж как-нибудь одни, а вы идите в овин. Не ровен час... Разве не хвастался вчера сынок Данька, что мы круглыми сиротами останемся? Ведь это он от старших слышал...

На душе у Мирошниченка мрачно, однако он улыбается.

– Не горюй, доченька, скоро все страхи развеются, как дым. Я тебя тогда в город учиться пошлю и козушек с немецким гарусом справлю.

– А я смогу стать учительницей? – в который уже раз спрашивает она отца. Нет на свете ничего лучше, чем стать учительницей: и книжки читай сколько захочется, и детей уму-разуму учи...

– А как же! Ты и теперь вроде учительницы.

– Вам только бы посмеяться... – Девочка вытирает ручонки холщовым полотенцем и подходит к отцу.

⁹ Заполочь – бумажные нитки для вышивания.

– А Левка кто научил читать?

– Так то ж Левко. Он такой понятливый, что сам уже до тысячи считает.

Свирид Яковлевич привлек дочку к себе и громадной матросской ладонью погладил ее косы. От этой ласки Настечка присмирела и опустила голову, как провинившийся ребенок. Так опускала голову и его жена. Даже это перешло от матери.

XII

На окнах, как черные птицы, распластались тяжелые, с бахромой платки, – пусть свет не проникает ни во двор, ни со двора.

На столе железная лампа, узкая бутылка с сизым самогоном и толсто нарезанное сало, – видно, не женская рука готовила ужин. А гости, кажется, пьют не самогон, а отраву – ни одной улыбки не вызывает на угрюмых лицах хмель.

Улыбается в светлице Созоненка лишь последний царь на портрете. Он хитроватыми, все понимающими глазами косится из-за спины Денисенка и не обращает внимания на холодный взгляд белорудой, в жемчугах царицы. Такими глазами он смотрел и на деньгах, но царь давно в земле, а деньги его живы, правда, четвертные мужик берет неохотно, ему подавай теперь серебро да золото либо «катеринки», «петровки».

Сафрон Варчук задумчиво смотрит на царя и не знает – жалеть, что его нет, или гневаться? Царицу он давно уже ругал последними словами – все за Гришку Распутина, – а царя лаять не поворачивался язык, да и злости не хватало. Все-таки при царе он переселился на хутор, оброс земелькой, денегат на черный день припрятал, на все село стал Сафроном Андриевичем. При царе он и в дворяне вышел бы, а теперь его только в насмешку голодранцы называют столыпинским дворянином. Да, до недавней поры не знал Сафрон, сколько бед падет на его умную голову. Легко было когда-то говорить: беден потому, что глуп, – а теперь и самый богатый может дураком стать. И тоска перемешивается в нем со злостью, как вода с землей.

За столом бушует подогретый хмелем Ларион Денисенко. Он поворачивает во все стороны свою обросшую колесом волос голову и кричит:

– Хозяева, мир погибает! Погибает и погибнет, потому что как заберут у нас землю, так все с голода опухнут!

От натуги в грубом голосе Лариона пробиваются козлиные ноты, и это забавляет одного только Сичкаря, который, кажется, веселее всех воспринимает весть о гибели мира.

Ему даже в это время приходят в голову непристойные мысли про жену Лариона Настю: эта хоть и глядит на всех навеки обозленными глазами, но привечает не одних только лохматых, – и он посмеивается в душе над Денисенком, который не видит, как жена с другими прыгает через плетень. Впрочем, и это нравится в ней Сичкарю: женщина с огнем, перцем и жадностью всегда лучше, чем покорная размазня.

Он украдкой окидывает взглядом присутствующих: не заметил ли кто у него в глазах блудливого, не ко времени, огонька? Вздыхает и начинает внимательно прислушиваться и приглядываться к тому, что делается в светлице. Вот он останавливает взор на печальном Супруне Фесюке. Над сухим, с глубокими глазницами лицом Фесюка нависает копенка переспелых волос; надменные складочки в уголках рта сейчас больше говорят о скорби. Он обхватил рукой острый подбородок и думает свою нелегкую думу.

Сичкарь недолюбливает Фесюка: тот хоть и выбился в настоящие хозяева, а все хочет жить по правде. В конце концов, если уж так тебе хочется повсюду правды, живи ею, только не суй нос в чужие дела! А Фесюк не раз подбивал людей поймать Сичкаря на краже леса. Думает – так легко его за руку схватить. И не догадывается, чудак, какую радость, какое удовлетворение может принести по-настоящему ловкая кража.

Дело даже не в деньгах, а в том, как ты схитрил, как вышел сухим из воды, обойдя все ловушки. Вот только зря в каталажку угодил. Но тут не ловкость, тут подвел гонор. Ну, да недолго уж сидеть! Снова взгляд его останавливается на Денисенке, и вспоминается Настя.

Что за бесовская сила в ее злющих глазах!

После Денисенка шмелем загудел Данило Зяйтчук; его грубо вытесанная голова только до половины обросла волосами, а уже от висков идет голая, как коленка, лысина. Ну прямо недоделанный Денисенко: у того целое колесо вокруг головы, а у этого полколеса.

– Советская, можно сказать, власть нашим хозяйским хлебом живет. А чем она будет жить, когда наша земля попадет тем голодранцам, которые и сами ею не прокормятся, потому – голодные? Что означает такая власть? А означает она – дери, бери да назад не ворачивай. Словом, коммуна: кому – на, а кому – нет. Вот я и думаю: не одну власть мы пережили, переживем, даст бог, и эту, потому – не сможет заграница отдать Украину Мирошниченкам, загранице Украина, как пасхальная писанка, нужна, заграница ей – богатая родня. Вот как я думаю!

– Завтра у нас землю отбирают, а он до утра завел про свою заграницу! – поморщился Созоненко. – Ты говори, добрый человек, что нам сейчас-то делать.

– А что ж теперь делать? Взять топоры и стать стеной возле своей земли, а то так ее обчекрыжат, что не оставят и клочка, чтоб земной поклон положить. Стало быть, остается одно – рубить! Всякого рубить, кто ни подойдет.

– Глупый поп, глупая у него и молитва, – не выдержал Яков Данько. – В бороде уже гречиха цветет, а в голове и под зябь не пахано. – И он постукал себя пальцем по лбу. – Рубанешь одного, а они всем селом навалятся, дадут сколько влезет, а потом отправят туда, где козам рога заправляют.

– Все равно надо рубить! А как же иначе? – упрямо махнул волосатой рукой Зяйтчук и обернулся к Даньку: – Ты как хочешь, а я уж и топор наострил. Мирошниченку первому в голову засажу по самый обух.

– Вот это уж поумнее! – Данько кивнул пышноволосой головой, а Фесюк поморщился. – Бить – так уж бить, только в сердцевину! А что нам даст, если мы развалим голову какому-нибудь Поликарпу Сергиенку?

– Только сделаем из него советского мученика, с флагами на кладбище снесут, как ему и не снилось, – осторожно вставил Сафрон Варчук: он предпочитал оставаться в стороне от споров.

Созоненко взял со стола бутылку с самогоном, взболтал, и Сичкарь заметил, как со дна дымком поднялся целительный отстой «христовой слезы». Даже крикнулось человеку: до чего же пользительное зелье!

Молча выпили, потянулись жирными руками к салу, а Фесюк и закусить позабыл. Тяжко, ох как тяжело доставались ему десятинки! Другие получали наследства, другие плутовали, продавали душу черту, а он понадеялся на свое здоровье, на свои руки и самолюбие, он не продал черту душу, но чуть ли не всю силу свою заложил в Крестьянский банк. И в глаза и за глаза смеялись над ним те, с кем он сегодня пьет и горюет в ужасе перед завтрашним днем. Отгоняя дурные видения, он потрянул копенкой переспелых волос, зажал в горсти острый подбородок.

А Зяйтчук снова заводит про заграницу и про то, что богатая родня поможет бедному Петлюре.

– Не бедный он, а обманщик! – с сердцем выкрикнул Денисенко и этим развеселил Ивана Сичкаря.

Когда петлюровский министр финансов Мартос издал приказ об обмене всех денег на гривны, недалекий Денисенко один из первых понес в Каменец-Подольский банк свое золото и царские бумаги; он привык, что власть есть власть и ее надо слушаться. Но из Каменец-Подольска он принес даже не гривны, а одни только расписки. Потом иные ограбленные богачи пострелялись, а он с отчаяния повесил в овине вожжи и полез в петлю, – насилиу жена и родня вытащили и отходили его.

Во дворе залаяла собака, и все примолкли, подняли глаза на завешенные окна.

Но собака, верно, просто тьякнула на луну и замолчала.

– Поздний час, – ни к кому не обращаясь, проговорил Сафрон Варчук, надеясь этим

замечанием подогнать тех, кто должен был сказать главное, и посмотрел поверх голов на божницу, где из-под перемятой фольги прислушивались ко всему, что тут говорилось, молчаливые боги.

– Что же будем теперь делать, люди добрые? – вырвалось у Созоненка. – Не возьмем греха на душу – пропадем, как мыши. А греха этого, ежели подумать, немного и будет: село запугано, и никто не знает, что станет через несколько дней. Одно надо: избавиться от Мирошниченка.

– И от Степана Кушнира! – прибавил Данько. – Он хуже Мирошниченка, злее!

– А Тимофия Горицвита на расплод оставить? – удивился Сичкарь и решительно поднялся над столом. – Утихомирим эту святую троицу, и никто не полезет на нашу землю! – Сырой румянец заливал ветряные лишаи на полных щеках богача, челюсть обвисла в злобной гримасе.

Все притихли, не дыша слушали Сичкаря. И он выставлял напоказ свою смелость, которую никогда не обнажил бы осторожный Сафрон, хотя его и радовала решимость Ивана.

– Нечего нам долго лясы точить! Надо сейчас же вырывать свою погибель с корнем. А как ее выкорчевать? Я беру на свою душу Мирошниченка. Сам беру, чтобы тише было. А вы возьмите Горицвита и Кушнира. Поделитесь между собой! И еще до утра божьего мужики отшатнутся от нашего добра: тяжелым им оно покажется.

– Будь по-твоему! – стукнул кулаком по столу Яков Данько. – Я с Денисенком наложу руки на Горицвита. Пошел бы к Кушнису, да люди видели, как мы сцепились на улице... Господи, помоги нам! – Он глянул на образ спасителя, державшего в руке землю, поклонился ему и перекрестился, чувствуя, что в груди все обрывается.

Но не успел еще Данько оторвать шепот от живота, как с лавки тяжело поднялся Супрун Фесюк; надменные складочки вокруг его рта тревожно дрожали.

– Делайте, люди, как знаете, только меня в свою компанию не тащите. Не по моим силам это делать. За чапыги я брался, а за обрез – не возьмусь. Не злобою мир держится. Будьте здоровы!

Первым к нему кинулся Сафрон Варчук.

– Ну, где это видано, Супрун? – закричал он, вырывая у Фесюка шапку. – Чего люди выпивши не скажут, когда их за живое возьмет? Это же только слова, полова. Ну, кто из хозяев убьет бедного человека? Что у нас – нет бога в душе и детей в хате? – Черное клиновидное лицо Сафрона побелело от волнения и затаенной злобы: нашли же кого позвать в честную компанию! Теперь с ним лиха не оберешься.

Созоненко многозначительно подмигнул другим гостям, и все, кроме разгневанного Сичкаря, засуетились вокруг Фесюка. Но тот уперся:

– И говорите и делайте что хотите, а я пойду домой. – Его глаза, налитые болью и тревогой, не могли смотреть на суетившихся вокруг людей.

– Ну и пусть идет, черт его дери! – не выдержал Сичкарь. – Чего вы цацкаетесь с ним, как с путным?

– Вы не бойтесь, я никому не скажу, но сидеть больше не могу. – Все еще оправдываясь, Фесюк неверными шагами направился к порогу.

За ним вышли встревоженный Созоненко и Сичкарь. Воцарилась гнетущая тишина.

Когда во дворе хлопнула калитка, первым с горечью заговорил Сафрон:

– Все, про что мы говорили, пошло кобыле под хвост. Надо другую думу думать. Принес же его черт! Что будем делать, хозяева?

Но хозяева теперь ждали его слова.

У калитки Созоненко попрощался с Фесюком, а Сичкарь вызвался немного проводить его.

Эти проводы не очень обрадовали Супруна, но он ничего не сказал. Шли молча, волоча за собой по улице тени, которые бились головами о чужие тыны.

– Так, Супрун, и отдашь свое кровное задаром? – спросил наконец Сичкарь, подняв круглую голову и пожирая Фесюка презрительным взглядом.

– Так и отдам! Всякая власть от бога, – не глядя на него, ответил Супрун.

– Теленок ты! Какая же это власть от бога, когда она бога не признает? – У Сичкаря отвисла тяжелая челюсть. – Такую не грех и скинуть.

– Так чего ж ты тогда в кутузке поселился? Селись в лесу с бандитами! – обозленно бросил Фесюк, но тут же понизил голос: – Ступай-ка ты от меня, не мути душу, она и так едва в теле держится.

– Ну и держи душу в обеих горстях, а земля пускай сквозь пальцы утекает. Ты гляди, молчок! – подсек напоследок Сичкарь и, не прощаясь, свернул в боковую улочку. Он раздумывал: вернуться ли на совет к Созоненку или хоть на минутку забежать к Насте?

У двора Денисенка Сичкарь слегка свистнул, на знакомый свист от овина, скуля, отделилась собака. Он еще поколебался: стоит ли в такую ночь про баб думать, но чего там совеститься – одна живем! Он перелез во двор, подкрался к боковому окну, тихонько постучал в раму.

В хате послышался вздох, шорох, потом на крыльце загремела щеколда, и высокая Настя в одной юбке, накинутой поверх сорочки, потягиваясь, вышла на порог.

Сичкарь припал к ее губам.

– Бешеный! – вздохнула Настя, изгибая тонкий стан. – Увидят!

– Кому теперь взбредет в голову на улицу выйти...

Сичкарь хмелел от ее губ больше, чем от самогона.

Настя обвела долгим взглядом улицу и огород, охнула и крепко обняла гостя.

XIII

Всегда занятому Супруну Фесюку некогда было любоваться природой, но и он знал, что лучше всего село выглядит при луне. Солнце было ласково к воде, к деревьям, к цветам и девичьей красоте, но оно безжалостно выставляло напоказ, а то и на посмешище по-кротовьи подслеповатые халупы, заваленные навозом дворы. А луна жалела и обитателей халуп, она так играла светом и тенью, так ворожила над какой-нибудь лачужкой, где на крыше гордо возвышался в гнезде аист, что больше верилось в человеческое счастье, чем этого счастья было на земле.

Но в эту ночь Супруну село показалось страшным: тихое, забытое людьми, оно смахивало на погост, и луна кадила над ним холодным болезненным светом. Озаренный этим светом, он шел как лунатик, глядя в землю, и думал о земле. Он по капельке, по ломтику отдавал ей всю свою молодость, всю свою силу, а она по бороздке, по четвертинке, по полдесятинке скапливалась у него, радовала и возвышала его в собственных глазах.

А как тяжело начиналась его охота за землей! Во все стороны кидался человек, чтобы раздобыть копейку, ходил на заработки и в Таврию, и в Крым, и в Одессу, и в Бессарабию. И вдруг счастье принесла ему спокойная и крепкая, как орешек, Олесья.

Он встретил ее в осенний престольный праздник в соседнем селе. До вечера пьяное село гуляло возле церкви, до вечера он все ходил вокруг да около и, видно, не надоед девушке. А вечером, когда над тополями прорезался тонкий молодой месяц, Супрун пошел следом за Олесей к ее хате у самого выгона, где на приволье паслись краснолапые гуси. От хаты потянуло на него таким диким смрадом, что он удивленно уставился на девушку, а та покраснела, опустила голову.

– Отец мой – кожевник, шкуры дубит... – еле слышно, чуть не сквозь слезы, объяснила она.

– Вот и хорошо! – обрадовался Супрун. – Стало быть, оказия. Мне как раз надо на подошвы. Может, найдется у отца? – Он уже с любовью глядел на ее смущенное лицо.

– Наверно, найдется. – Девушка еще больше покраснела, догадываясь, куда клонит этот широкоглазый, со стожком переспелых волос парень.

В хате, пока старый Омелян метал перед ним подбрюшные, нутряные и шейные заготовки, Супрун едва не задохнулся, – тут же, в полу, были вкопаны дубильные чаны и

зольник. Как можно было жить в такой хате, да еще спать на полу? Казалось, переспи тут одну ночь – и голова у тебя превратится в такой же вот чан. Но семья Олеси не обращала внимания на запахи сыромятной и дубленой кожи и дубильного раствора.

Супрун, не торгуясь, купил половину добротной кожи, но сказал, что зайдет за нею в другой раз, а то неловко возвращаться с престольного праздника с покупкой. Так он и зачастил в семью кожевника, а со временем привык к скверному запаху и выучился обрабатывать воловьи, конские и козьи шкуры.

В кожевном ремесле, где все делается на глаз и на нюх, Супруну повезло: ему равно удавалась белая и черная юфть, на коже не оставалось живцов, и красный сафьян сиял нежным, текучим лоском – его сразу же вырывали из рук ярмарочные перекупщики и сапожники.

Постигнув до тонкости ремесло старого Омеляна, Супрун забрал у него дочь, справил простенькую, непышную свадьбу и стал лучшим кожевником в волости. Чуть ли не все свое достояние он бухнул в постройку дубильни, где можно было вырабатывать тридцать – сорок кож, сам натуго обшил досками яму для замочки на краю огорода, сам сделал зольники, чаны, ступу, а скребок и штрихель принесла из дому Олеся. Супрун, смеясь, назвал этот инструмент «жениным приданым» и со всей самоуверенностью юности взялся за работу.

То были дни его великих надежд. Он не продавал черту ни души, ни шкуры, а сам обдирал шкуры с падали, брал их в долг и так становился на ноги, в смраде коровьей крови и дубовой коры, в грязи от мездры и произвесткованной шерсти.

Дубить он умел на славу, однако ненавидел это ремесло всем своим земледельческим сердцем. Не грязь дубильни, а золотой и зеленый сафьян полей видел он перед собой, когда готовил на продажу разноцветные кожи. И они принесли ему сперва хлеб и кое-что к хлебу, а потом и землю. Он дневал и ночевал на поле, летом и обедал, опершись на косье, и жене отдыха не давал. Она у него на лугу, под стогом, и сына родила; истекая кровью, перегрызла пуповину, а он растерянно постоял у телеги, потом, чтобы не ехать порожняком, догрузил воз, затянул рубель и осторожно подсадил родильницу наверх. Так он впервые взял жену на руки...

Только теперь Супруну становилось понятно, как тяжело он мучился и как мучил непосильной работой жену. Мучил даже при батраках и батрачках, потому что уже завертелось его хозяйство чертовым колесом, а он и жена стали в этом колесе только послушными спицами. И вот кто-то одним ударом разбил это колесо, разметал и обод, и спицы, и ступицу. А земля, которую он годами сшивал из цветного сафьяна и юфти, переходила в чужие руки, и он оплакивал ее, и крупные слезы скатывались прямо в душу.

Один бог знает, как тяжело ему лишаться своих богатств. Но он не возьмет в руки топор – руки у него для работы, а не для убийства. Только почему его поставили в один список с Варчуком и Созоненком, Денисенком и Сичкарем? В былые годы, когда он только еще становился на ноги, они звали его шкуродером. Но ведь он драл шкуры со скотины, а они – с людей, он кормил своих батраков хлебом, а они – цвелью да слезами, он никогда не нарушал слова ни перед большими купцами, ни перед последним батраком... Так почему же и с ним новая власть не может хоть поговорить по-людски? Стало быть, записали на бумагу – и конец твоей судьбе?

Он, как чужой, подходит к своему просторному двору, отворяет глухую калитку, навстречу с темных бревен поднимаются Олеся и Гнат. Сынок ростом уже догоняет мать. Все трое молча сходятся посреди двора. Первым, не поднимая головы, нарушает молчание Гнат.

– Что там решили? – Он показывает рукой в сторону, откуда пришел отец.

– Ничего не решили, – отвечает Супрун, дивясь, откуда сын знает, что он идет от Созоненка.

– Побоялись, что ли? – Сын поднял тяжеловатую для подростка голову. И там, где у отца под усами горделивая линия рта, у сына скользнула недобрая улыбка, и он прикрыл ее рукой.

– Цыц! – Супрун огляделся по сторонам. – Я оставил это сборище, первым домой ушел.

– И зря оставили. Дом не убежал бы и через час.

Сын снова поднял голову, с вызовом посмотрел на отца. Глаза его, колючие, так же глубоко посаженные, как и у Супруна, потемнели от злого упорства.

Супрун видел только эту тьму и не различал за нею глаз сына.

– Ты когда это научился так с отцом разговаривать? – хмуро спросил он.

Однако и это не остановило парня, рот ему кривили не по летам зрелая злоба и неукротимость.

– Когда бы ни научился, а от людей в такое время бежать не надо!

– А ты знаешь, что эти люди готовы убивать?! – едва сдерживая гнев, проговорил Супрун.

– За землю и убивать можно, – твердо проговорил сын, повторяя чьи-то слова. – Она святая.

Супрун на миг оторопел, а потом дал Гнату оплеуху.

– Молчи, сукин сын! Ты откуда, падаль, знаешь, что такое земля и дороже ли она человеческой крови?! Сперва заработай ее, надорви на ней жилы! От Карпа Варчука погани набрался? Я у тебя это дикое мясо огнем выжгу!

Он размахнулся второй рукой, но на ней повисла его молчаливая Олеся.

Успокойся, Супрун, успокойся, дорогой! Дитя неразумное, сболтнуло с чужих слов...

А «дитя» выплюнуло на ладонь кровь, посмотрело на нее, а потом недобро покосилось на отца, отвернулось и, бормоча под нос, зашагало к овину. Ворота овина так хлопнули, что у колодца зазвенела защелка журавля.

В кого только уродился его сын? Кто посеял у него в сердце такую злобу? Ни своей упорной, трудолюбивой, ни Олесиной ласковой крови не чувствовал в нем Супрун. Эх, трудней всего с детьми, которые с колыбели богато живут! Им неведомо, что такое насыщенный хлеб, размоченный потом.

– Вырастили сынка, хорош! – Супрун поднес руку к глазам. – Такой и земле в тягость.

– Варчуков сорванец возле него целый день вертелся, тот и святого на подлость подговорит. – И Олеся бережно, как ребенка, увела мужа в хату.

В сенях Супрун почему-то повернул на ту половину, где у них была дубильня. В долгие годы войны он изредка брался за свое старое ремесло, чтобы изготовить себе и соседям кожу на обувь или на упряжь.

Луна заглядывала в дубильню, освещала зольник, чаны, мешки с золой и козлы, на которых висела неочищенная шкура.

Супрун вместе с женой сел на самодельную скамью, и Олеся прижалась к нему, как в тот день, когда они, полные надежд, впервые сели в своей дубильне. Это был не совсем еще ясный, но надежный рассвет их жизни. А теперь ночь смотрела в их налитые тоской и страхом перед неизвестностью глаза. Супрун твердо положил руку на плечо Олеси. Что ни говори, а жену ему бог послал будто ясный денек.

– Что же теперь будем делать, Олеся? – спросил он, впервые в жизни советуясь с нею.

И она, его тихая тень, его смущенная улыбка, его печальная думка, тоже впервые в жизни принялась его утешать.

– Жили мы, Супрун, на двух десятинах, жили и на пяти, стало у нас десять, а потом и за двадцать перевалило. Так что ж мы – не как все люди?! На норме не проживем?

– Да разве человеку норма нужна? Я хотел, чтобы ты у меня на старости лет княгиней жила.

– А может, обойдемся без княжества? – грустно улыбнулась Олеся, не зная, не остановит ли ее вспыльчивый муж: у него для порядка жена приучена молчать. – Побывала я раз на веку княгиней, и будет с меня.

– Когда же это было? – спросил он, не сообразив.

– А когда ты князем был, на свадьбе у нас. Помнишь тот день?.. Тогда небо хмурилось и прояснялось, и дождик пролился на землю, как солнечный сок...

– Да, тогда солнце светило.

Супрун поглядел на луну. Как давно это было! Ему вспомнился свадебный двор, бояре, дружки, невестины подруги. И снова на глаза надвинулась мгла.

– Не могу, не могу, Олеся, без своей земли, она уже небось и в сердце набилась. Как мы мучились над ней!

– Мучились, Супрун. И кто его знает, надо ли было? Может, когда-нибудь дети или внуки посмеются над тем, как мы жили, гоняясь за богатством.

Он с удивлением взглянул на свою тихую жену: она ли это говорит? Когда же она этому выучилась?

– Смеяться будет только тот, кто земли не понимает, кому все равно, колос ли над нею покачивается или бурьян цепляется за грунт... А новая власть понимает землю?

– Должна бы понимать, раз хочет, чтобы у каждого мужика был надел, – снова нашла неожиданные слова жена.

– Раздать землю – то меньше половины дела. А вот понять землю – это потруднее. – Супрун подумал и вдруг встал. – Пойду-ка я к Мирошниченку, спрошу его, понимает новая власть землю или нет.

– Может, завтра пошел бы? – поднялась вслед за ним и Олеся и потянулась руками к его плечам. – Чего ночью людей будоражить?

– Нет, сейчас пойду. Не могу я иначе, не могу – так и печет в груди.

Олеся знала, что отговаривать его бесполезно. Молча, как тень, проводила его до улицы и долго жалостно смотрела, как он уносил в глубь ночи свое сильное тело. Не легко, не хозяйкой, батрачкой прожила она у него. Из-за проклятого богатства подурнел Супрун и лицом и душой, из-за денег враждовал не только с людьми, но и с богом: на что господь столько праздников дал? Однако Супрун ни разу не ударил ее, ни разу не пошел к другой и перед людьми не лаял, только хвалил, – а это походило уже на женское счастье.

Супрун не постеснялся-таки разбудить Свирида Яковлевича и, когда тот вышел из хаты, попросил его присесть на завалинку, расшитую тенями вишен.

– Давно ты не бывал у меня, Супрун. – Мирошниченко вглядывался в измученное думами лицо гостя.

– Не пристало кулаку к партийному идти, – ответил Фесюк, забыв спросить, понимает ли новая власть землю: свое больше болело. – Хотя, как подумаешь, не всегда я был кулаком.

– Не всегда, – согласился Мирошниченко. – Я еще хорошо помню, как вы с Олесей выгоняли первый воз кож. Тогда и я к вам частенько заходил, сам перенимал кожевничью науку.

– А помнишь, как у нас горели пальцы, как с них шкура слезала, когда мы с тобой вымывали шерсть, настоящую в извести?

– И это помню, Супрун. Проклятая была работа!

– Не всякий кожевник гнался за такой шерстью. Ну, а теперь ты приравнял меня к Варчуку и Сичкарю. Так что мне делать – брать обрез и убивать тебя?

– А это уж, Супрун, как тебе совесть подскажет, – спокойно ответил Мирошниченко. – Если она за годы твоего богатства стала комом грязи, бери обрез и ступай убивать людей. Большое богатство всегда с этого начинается или этим заканчивается.

За короткое мгновение Супрун перебрал в голове с десятков известных ему в уезде богачей и подумал, что слова Свирида Яковлевича многим из них не в бровь, а в глаз.

– А мое, Свирид, богатство с правды, с кровавых мозолей, а не с паскудства начиналось, не паскудством и кончится. Я-то свою землю честно заработал?

– Не всю, Супрун.

– Как – не всю?

– Ту, что ты заработал, – честно заработал. Эта твоя земля чиста, как солнце. А про ту, что для тебя батраки зарабатывали, – прости, но скажу так, – на тех нивках чужой пот поблескивает.

– Я же батракам работу, хлеб давал.

– А Варчук по-другому скажет? То же самое. Вот в этом и сошлись вы на одной дорожке.

– И в одном списке нам судьбу записали?

– Список, Супрун, один, – заметил Мирошниченко, начиная понимать, о чем тревожится Фесюк, – да не одно думают люди про тебя и про Варчука.

– Спасибо, Свирид, и за то. Тебе, как партийному, можно и поверить – вы нашего брата не больно почитаете. Ну, а что же мне дальше делать? Землю-то заберете?

– Заберем.

– Страшный ты, Свирид, человек: в глаза все говоришь. В глаза-то хоть ложью бы утешил.

– Ложь, Супрун, и впрямь немалая утеха, – помолчав, проговорил Мирошниченко, думая о лжи в мировом масштабе: всю землю оплела она, правдой вырядилась, нелегко будет людям выдирать ложь из мозгов, из протертых коленями храмов. – Может, Супрун, я тебя правдой утешу?

– Правдой, ежели много ее, тоже можно невзначай человека убить.

– А в революцию, Супрун, ничего понемногу не бывает, кроме хлеба.

– Ну, спасибо, утешил, полегчало! – Под губами у Фесюка дрогнули морщинки. – И знаешь как полегчало? Сдавили тебе петлей шею, так что глаза на лоб полезли, а потом чуток отпустили ее – глотни, бедный человек, воздуху. Хорошее облегчение?

– Глупости говоришь, – нахмурился Мирошниченко. – А мне кажется, ты сам своим богатством все больше затягивал на себе петлю. Что тебе дало богатство? Землю и деньги! А что оно отняло у тебя? Отняло твой веселый смех, искалечило твою добрую душу, истощило щедрость. Прежде ты не раз угощал меня яблоками, купленными на ярмарке на трудовые медяки. А развел большой сад – злыми собаками от людей отгородился и сам набивал патроны солью да резаной щетиной. На кого ты готовил соль и резаную щетину? На врага? Нет, на детский задок да спинку, – жаль тебе стало яблок для малышей, свои, не купленные яблоки стали для тебя дороже детской крови. С ярмарки ты яблоки как человек приносил, так почему же ты возле своих яблок, прости меня, псом становился? Это твое богатство делало. Я против тебя злости не держу. Мне жаль тебя. Ты человек умный и гордый. Мы оставляем тебе целых десять десятин твоей прежней земли. Неужто тебе для трех душ больше надо? Или, может, тебе надо, как царице, есть не простые галушки, а золотые? Вылезай из своей петли, поживи хоть немного не для богатства, а для семьи, возьми да купи хоть теперь своей Олесе цыганские сережки. Помнишь, лет двадцать назад она со слезами на глазах просила их у тебя, а ты рассердился, обозвал ее скверными словами, а сережек и до сей поры не собрался купить...

– Въелись тебе эти сережки в печенку! Я бы на твоём месте поменьше потакал бабьим прихотям, а то сам бабой станешь... Послушал я тебя, Свирид. Все говорят – за словом в карман не лазишь. При новой власти ты уж не станешь волам хвосты вертеть, выйдешь в начальники. И может это погубить тебя, как меня богатство. Ну, скажи еще одно: сегодня вы раскулачили меня, ну, а не захочется вам это и завтра сделать?

– Будут у тебя батраки, – все может стать, не поручусь.

– Значит, послушаться тебя, Свирид, так все надо начинать заново?

– Если сможешь начать...

– И то верно, – кивнул головой Супрун и недоуменно посмотрел на Мирошниченка: а чем же, мол, ты живешь? Партия, конечно, партией, а с экономии надо было брать корову, а не луковицы георгинов. В святые все равно не попадешь – коммунист!

И вот они расходятся, унося с собой нелегкую путаницу мыслей и соображений, не зная, как встретятся поутру, как повернется завтра их жизнь.

В человеке всегда великое соседствует с малым, и мысли его похожи на свежеемолоченное и неотвеченное зерно, где перемешаны хлеб и полова. Так сейчас и с Фесюком. Идет он по дороге, до боли в голове думает о земле и черт знает о чем еще. И вдруг, увидав мерцающий огонек у заядлой самогонщицы Федоры Куцой, поворачивает к ее

вдовьему двору.

На его стук из хаты испуганно выскочила хозяйка.

– Кто это? – спросила она с порога.

– Отвори, Федора! Это я, Супрун.

– Ой, батюшки! Неужто вы?! – обрадованно воскликнула вдова, отворила сени, засмеялась. – Такого гостя никак не ждала! Спасибо, что не побрезговали нами...

Федора засуетилась вокруг него и, задев сборчатой юбкой, повела в хату, где за столом тупо пропивал свою дань с кулаков Кузьма Василенко. Он тоже изумился, увидав Супруна, хотел подняться, состричь, но ни язык, ни ноги уже не слушались его.

– Нагрузился, – кивнула очипком в его сторону Федора. – Вам первачка с огнем или паленухи с дымком? – Быстрые глаза и полные губы вдовушки заиграли в улыбке.

– Я, Федора, к тебе, пусть это будет между нами, не по такому делу... – замялся Супрун.

Федора насторожилась, загадочно улыбнулась, покосилась на Кузьму и руками подперла груди. Их белые краешки выглянули сквозь прорезь сорочки.

– Прямо и не знаю, что такому дорогому гостю надо? – понизив и без того низкий голос, проговорила она, и Супрун только теперь увидел, как по-бесовски соблазнительны ее налитые румянцем щеки, какая сладкая улыбка дрожит на ее полных губах.

– Мне, Федора, сережки нужны. – Он покрутил пальцем возле уха. – Тебе ведь люди всякое добро таскают. Может, и такая цацка найдется?

– Золотые вам? – уже ровным голосом спросила Федора и погасила улыбку в глазах.

– Какие ж еще! Ясное дело, золотые, – сказал Супрун так, словно никогда и не покупал других.

– Поищу для вас. Ради того, что первый раз заглянули.

Она выбежала в светелку, заперлась там и принялась стучать чем-то.

В это время заскрипела сенная дверь. Супруна так и передернуло: не больно-то ему хотелось попасться кому-нибудь на глаза у Федоры Куцой. На пороге появился босоногий, с длинной, как дыня, головой подросток в изодранном картузе, из-под которого торчали давно не стриженные вихры. Вот он увидел за столом Василенка, потихоньку подошел к нему.

– Домой пора, а то мама сказала, что сюда с пестом прибежит.

– Га, это ты, Клим? – Василенко сперва удивился, а потом неуверенно потянулся рукой к бутылке, налил в чарку самогона. – Выпей, сынок, зелье доброе.

Клим взял чарку, внимательно посмотрел на нее, и лицо у него стало степенное, как у настоящего, почтенного хлебороба; он одним духом осушил чарку и сразу поставил ее; маленький рот его искривился от горечи.

Даже Супрун не выдержал.

– Клим, побойся бога, раз людей не боишься! Где ж это видано постольку разом потреблять этой дряни! – воскликнул он, показывая пальцем на порожнюю посуду.

– Я, дяденька, привычный, – не обиделся, а рассмеялся Клим и потянулся тонкой рукой за хлебом.

И Супрун, хоть не его дело было поучать при отце чужого сына, стал ему выговаривать:

– Пропадешь, парень, ежели за отцом потянешься. Не доведет он тебя до добра. Маму, свою маму слушай – она у вас мученица.

– А я долго при отце не буду, поеду в город на курсы, – беспечно ответил Клим и набил полный рот немудреной закуской.

Супрун знал – Клим и сынок Олександра Пидипригоры лучше всех учились в церковноприходской школе, а теперь вбили себе в голову, что будут и дальше учиться. Им, вишь ты, не хочется барахтаться в навозе. Ну, Юрко, может, и станет человеком, а на кого выучится Клим, который уже и работать ленится, и до чарки охотник?

Из светелки торжественно вышла Федора, равнодушно посмотрела на Клима и разжала перед Супруном кулак. На ее ладони лежали две пары цыганских сережек; одни были

черные, с огоньком, а другие сияли, как осколки солнца.

– Вот эти я возьму. – Супрун взял с Федориной ладони те, что получше. – Сколько за них?

– Денег не беру, только хлеб.

– Много?

– Мешок пшеницы.

Супрун лишь на миг сдвинул брови – не слишком ли дерет с него баба? – но сразу же проговорил:

– Завтра привезу тебе хлеба. Можно брать твои игрушки или не согласишься?

– Кто ж вам на селе не поверит! Берите. Даже самой жаль, – вздохнула Федора, почтительно провожая его до дверей.

На улице Супрун разжал кулак, внимательно рассмотрел две маленькие, похожие на кувшинчики сережки, и его охватило сомнение: стоило ли их брать? Это сомнение мелькало среди его неповоротливых, тяжелых мыслей все время, пока он шел домой. Он не удивился, что Олеся все еще сидела на бревне возле овина, подперев подбородок коленями. Услыхав его шаги, она проворно поднялась, пошла ему навстречу, а он равнодушным движением вложил ей в руку украшения, запоздавшие на двадцать лет.

– Что это? – удивилась она, разжав руку, и ахнула в испуге. Не золотые сережки увидела она, а свою ушедшую молодость, и на ее по-девичьи густых ресницах закипели слезы.

– Глупая баба, – неодобрительно покачал головой Супрун, которого слезы не трогали, а злили. – Не покупал сережек – плакала, купил – тоже плачет...

Они не заметили, как за спиной у них очутился подкравшийся Гнат. Он увидел сережки и довольно кивнул.

– Вот это, отец, верно, теперь самое время золото покупать. Золото капитал при всякой власти.

XIV

Левко просыпается, раскрывает глаза и сразу холодеет – Настечки возле него нет. В тишине его сердечко стучит и разносит страх по всему тельцу. Мальчик поднимает голову к окну – там на подоконнике стоят в горшочках герани, а проказник месяц опрокинул окно прямо на разостланный на полу мешок, и на нем тоже чернеют тени цветов. Левко боится смотреть на месяц, а то станешь лунатиком и в лунные ночи будешь без памяти ходить по селу, даже по крыше колокольни можешь безопасно разгуливать, только если крикнет кто, проснешься и разобьешься о землю.

От Левка отлетают остатки сна, и перед ним мелькает столько видений, сколько глазами никогда сразу не охватить. Но между далекими колокольнями, полями, лугами и месяцем носится страх; ведь совсем неизвестно, что притаилось у дверей, на печи, под столом и под лавками. Того и гляди, затанцует дежка с водою или выскочит лохматый домовый из горшка.

«Да ведь третьи петухи давно уже пропели!» – обрадовавшись, мальчуган взглядывает на месяц, на который нельзя глядеть. Вокруг месяца лисьим мехом золотится неширокое кольцо – на дождь показывает. А почему же сверчок поет на ведро? От примет, которые Левко ежедневно слышит от старших, мальчик переходит к мечтам. Сперва у него вырастают крылья, и он летит над своим селом, а на него с изумлением и завистью смотрит вся детвора, все, кто собирает на лугу щавель или пасет стаи серых гусей. Гусак Разбойник вытягивает к нему змеиную голову и не шипит, а только хлопает крыльями. Куда тебе, гусачище, до Левка! Тебе выше вербочек не взлететь, а Левко летит под самое облако, где живут радуга, молния и гром...

Грома и молнии он боится, а радугу любит – она представляется ему девушкой, которая убрала свой веночек разноцветными лентами, словно невеста. И весна тоже кажется ему

девушкой, только радуга живет на облаке, а весна ходит по земле, ее можно увидеть на лугу, когда там вербы распускаются, или в поле у родничка, когда она воду набирает, либо на реке, когда она едет на серебряном челноке, правит золотым весельцем. Он уже не раз бегал с Настечкой и на реку, и на луга, и в поле встречать весну. Но так по-настоящему и не видел ее. Пока он смотрит в одну сторону, Настечка тычет пальцем в другую: «Вон, вон пошла!»

Глянет он на легкую прозелень густого ивняка, увидит, что там в зеленом оконце кто-то всколыхнул молодые ветки и скрылся. И так досадно мальчику, что не увидел весны, прямо плакать хочется. А Настечка уже дергает его за рукав, показывает большими глазами на купу верб, которая то распрямляется, то гнется под ветром.

– Вон, вон промелькнула! В зеленой юбочке и в венке... Неужто не заметил? Вот раззява!

Но он снова не видел ни зеленой юбочки, ни венка. Брат и сестра бегут по следам весны, из-под ног солнечными брызгами разлетается вода, отскакивают лощеные головки желтой калюжницы, взлетают тонконогие голубенькие, как клочки неба, трясогузки. А весны все нет. Пробегут еще немного – и вдруг Настечка остановится и снова кивает головой, показывает пальцем.

– Вот, кажется, возле озера пробежала, в камышах.

Они мчатся к круглому, как мисочка, озерку. Вокруг него, над самой водой, взялись за руки кудрявенькие кусты ивняка и запусты, как дети, ведут свой зеленый хоровод. А у самого берега, выставив из воды гладкую голову, плывет толстый, словно крученный, уж.

Дети от неожиданности приседают, со страхом смотрят на два противных желтых пятнышка на его голове, на бесшумную зыбь за хвостом ужа.

Недалеко от них уж высунулся из воды, покрутил головой и выполз на ветку. Под его тяжестью она, бедная, опустилась к самой воде, забилась, вся дрожа, а он, изгибаясь, пополз по ней к стволу деревца. И вдруг дети видят, что он подбирается к маленькому гнездышку.

– Ой, соловьиное гнездышко! – кричит Настечка и оглядывается вокруг.

Сразу осмелев, дети бегут за палками. Уж только потянулся к соловьятам, как Настечка и Левко ткнули в него с двух сторон палками. Уж отпустил ветку – и бултых в озеро! Разъяренная девочка сгоряча бьет его еще раз, уже в воде, а потом вдруг плачет.

– Какой противный, мерзкий – соловьиных птенцов хотел съесть!

– А мы ему хорошо всыпали, до новых веников запомнит! – утешает ее Левко.

Но Настечка еще долго-долго не успокаивается: она напоминает братишке, что всю родню их матери на улице звали соловьями; мама не раз, лаская, называла их соловьятами, говорила, что они будут петь, как дедушка, к которому даже из какого-то большого города приезжали ученые люди и он им пел жалостные песни, а веселых не хотел. Дедушка теперь уже не поет, а только кашляет, смеется и утирает веселые слезы, когда Настечка танцует и распевает перед ним:

Ой, найму собі цимбали,
Щоби ніженьки дримбали,
Гех!
Щоби ніженьки дримбали,
Дрібушечки вибивали,
Гех!

– До чертиков ловко у нее получается! – хвалит дед внучку своей сестре, бабке Олене. – А «гех» она сама для пляски выдумала. Телом пляску понимает!

Но бабку не радуют ни песни, ни выдумки в пляске. Она корит и деда и внучку:

– Что старый, что малый – один толк, один грех.

Песни она признает только церковные, а от дедовых песен и трубки всегда пахнет грехом.

Пока Левко все это вспоминает и мечтает на будущий год непременно встретить

наконец весну, за соседскими огородами начинается рассвет. Синева, словно вешние воды, обступает овин Карпца, а из-за него, как заспанные гуси, показываются белые облачка. Под окном истекают росой пышные георгины, принесенные отцом с господского двора. В глубине расцветших головок еще таится темь, а кончики лепестков то алеют, как кровь, то горят, как солнце. Светлеет и в хате. Левко видит уже, что на лежанке спит Настечка, а с полатей свисают большие ноги отца.

Левку хочется к отцу, но вдруг раздается отдаленный шум машины. И вот глаза мальчика уже прикованы к окну. Шум приближается, на дорогу черным зверем вылетает чертопхайка на трех колесах, за нею стелется хвост пыли. Но чертопхайке пригнулся тот самый долговязый дяденька в больших очках, со шрамом от пули на щеке, что дважды приезжал к ним. У него очень смешная фамилия – Замриборщ. Когда он впервые назвался, и Левко и Настечка прыснули. Отец хотел было прикрикнуть на них, но и сам улыбнулся. А Замриборщ ничуть не рассердился и даже посадил Левка в коляску чертопхайки и прокатил по улице. Вот бы еще раз так прокатиться!

Возле их ворот чертопхайка чихает и останавливается. Левко соскакивает на пол и не своим голосом кричит:

– Папа, дядя Замриборщ приехал! На чертопхайке!

Отец поднимается с полатей, а Левко, чуть не разбив лбом дверь, вылетает во двор.

– Дядя Замриборщ, доброе утро! Вы опять к нам? – радостным криком встречает он гостя, который уже вводят свою чертопхайку в ворота.

– К вам, уважаемый товарищ Левко, – серьезно, как большому, отвечает Замриборщ.

«Уважаемый товарищ Левко» сразу перестает улыбаться, подтягивает штанишки и с удовольствием здоровается за руку с белозубым мотоциклистом.

– Дядя Замриборщ, вы меня еще покатаете? – Длинные черные ресницы Левка вспархивают вверх.

– И сам не знаю, – задумывается гость. – Это ведь большой расход бензина...

Лицо у Левка становится печальным, а Замриборщ улыбается.

– Ну, да где уж мое не пропадало! Прокачу такого казака, только за плату.

– Откуда же я вам денег возьму? – еще больше опечаливается Левко. – Мы очень бедные.

– А я с тебя много и не запрашиваю: споешь – вот и прокачу.

– Ну да? – недоверчиво тянет Левко, и его смуглое личико выражает удивление.

– Правда.

– Что же вам спеть? – спрашивает Левко, все еще опасаясь, что его обманут.

– Что? Н у хотя бы ту, что Настечка пела, – про соловья, который на лугу почует. Знаешь эту песню?

– Как не знать! – Левко откашливается, кладет руку на чертопхайку. – Только ее надо с подголоском вести. Может, лучше про другого соловья спеть?

– Спой про другого. Как знаешь, – сдерживая улыбку, охотно соглашается мотоциклист.

Левко еще раз откашливается, бросает взгляд на дверь, и его чистый голосок звенит на весь двор:

Ой, там, на горі, дивний див –
Там соловейко гніздо звив,
Всю нічку не спав
Та все щебетав,
Собі солов'їху прикликав.

Свирид Яковлевич в сенях услышал, как сын пел о птице, передавшей голос и его детям, вспомнил покойницу жену, и сердце у него сжалось, как перед несчастьем. Он, чтобы не спугнуть Левка, ждет, пока песня не затихнет, и выходит на крыльцо, когда его сын уже

гарцует на худых плечах Замриборща.

– Левко, ты куда одну штанину подевал? – со смехом спрашивает отец, заметив оборванную штанину.

– Ее собаки так изодрали, что болталась во все стороны, так мы с Настечкой вечером взяли да и оборвали ее совсем, – смеется и Левко, видя, что отец в хорошем настроении.

– Снимай, сорванец, другие надень, – велит отец.

– Праздничные?

– Праздничные.

– Мне, папа, и в этих хорошо! – жалобно кривится Левко, потому что нет хуже, чем гулять в новом: там не сядь, тут не ляг и через голову не перекувырнись, как будто у него только и дела, что смотреть за одежей.

Замриборщ, посмеиваясь, подходит к Мирошниченку, здоровается.

– Послали, Свирид Яковлевич, по вашу душу. Немедля, говорят, привези – и никакая гайка.

– Кто сказал?

– Заместитель председателя уисполкома.

– А где председатель?

– На банду поехал.

– Зачем же вызывают?

– Не сказано. Приехал член президиума губкома и гоняет всех, как пришпоренных. Краем уха слышал я, что очень ругает за плохие дела в совхозе. У него, похоже, родственник там.

Из хаты, доплетая косу, выбегает Настечка, личико у нее свежее от сна и умывания.

– Доброе утро, дядя... – Она дошла до фамилии и засмеялась: – Замриборщ!

– Гляди, вот скину пояс! – Мотоциклист хмурит густые брови и кладет руку на ремень.

– А вот и не скинете! – пританцовывает Настечка.

– Поехали, Свирид Яковлевич.

– Ох, и не в пору же ты приехал, Олекса! – хмурится Мирошниченко. – Как раз надо земель наделять.

– Ничего не поделаешь – служба.

– Ну что ж, едем, раз такая горячка.

– Папа, а завтракать? – с укоризной смотрит на него дочка. Ну разве можно не пригласить гостя позавтракать? Настечка поднимает глаза на товарища Замриборща. – Милости просим к нам, отдохните с дороги, а я быстренько откину вам картошечки, поешьте с огурцами.

– Спасибо, хозяйюшка, спасибо, некогда! – Замриборщ вскакивает в седло, сажает позади себя Левка, а отец насилу втискивается в коляску.

– Сперва заедем к Тимофию Горицвиту, – говорит Мирошниченко.

– Папа, я вам хоть на дорогу дам! – огорчается Настечка. – Ведь проголодаетесь.

– Не надо, доченька.

Но девочка проворно бежит в хату, а чертопхайка выезжает со двора.

Ну и славно же ездить на ней, даже глаза от удовольствия сами закрываются, а сзади ветер надувает рубашку колоколом. Так и ездил бы всю жизнь. Жаль, что до дяди Тимофия так близко.

На дворе у Горицвитов уже хлопочет Дмитро – он оседлал столярский стульчик и острым ножом вытесывает зубец для ясеневых граблей. С огорода, подоткнув юбку, идет по меже тетя Докия, в деревянном подойнике у нее картошка и огурцы. Раз нету в хозяйстве коровы, так подойник послужит и для овощей. Увидев подъехавших, она поклонилась, улыбнулась и побежала в хату. Оттуда, уже одетый, выходит дядя Тимофий. Отец отворяет ворота и идет ему навстречу.

– Ну, Тимофий, сегодня ты хозяин всей нашей земли. – Мирошниченко обводит рукой окрестность, подернутую синим туманом.

– Как хозяин? – удивленно и настороженно переспрашивает Тимофий. – А ты куда же?
– Еду в уезд. Справляйтесь без меня.
– Вот тебе и на! – вздыхает Тимофий. – Так хотелось вместе делить землю...
– А мне, думаешь, не жаль? Во всех снах видел этот день... Справишься один?
– Попробую, – отвечает Тимофий, косясь на сенную дверь, потому что на порог как раз выходит Докия. – Только моей половине ничего не говори: очень уж боится она...
– Думаешь, не узнает? – Свирид Яковлевич понижает голос и косится на Докию.
– Пусть хоть попозже.
К ним почти одновременно с двух сторон подходят Докия и Дмитро.
– Собираетесь? – спрашивает Докия.
– Собираемся, – отвечает Мирошниченко.
– Дай-то бог! – Она по-женски подпирает высоколобое, красивое лицо ладошкой и смотрит уже не на людей, а на дальнюю землю, лежащую за синим туманом.
– Стань, Докия, перед образами, помолись, может, и даст, – смеется Мирошниченко.
Но она, не принимая шутки, серьезно говорит:
– Кабы наши молитвы да господу в уши...
К воротам подбегает Настечка, в руке у нее чистенький белый узелок.
– Вот вам на дорогу. – Она подает узелок отцу, встречается глазами с Дмитром и, застыдившись, принимается чертить что-то ногой на песке.

Докия и отец переглянулись, загадочно улыбнулись, а Настечка сразу вспыхнула: разве она не знает, что тетя Докия нет-нет да и обмолвится, что хотела бы иметь такую проворную невестку! Смеется она или в самом деле так думает? Знает это и Дмитро, но, ясное дело, и виду не подает, только изредка глянет исподлобья на девочку: как она?

А Настечка прислушивается, что говорят старшие о земле и о нынешнем дне, и боится поднять глаза на Дмитра, только смотрит на свою потрескавшуюся от воды и росы ногу, которая все чертит что-то на песке.

XV

Из-под облачка, словно из-под лохматой брови, глянуло на землю солнце и удивилось: отчего это на поле так много людей? Словно на пасхальный благовест они стекались со всех концов села. Истрепанные сапоги да ноги в ссадинах стряхивали еще серую, без блеска, росу, приминали утренние тени и останавливались на урочищах, где лежало их счастье.

Больше всего людей собралось вокруг Тимофия Горицвита. Он молча шел со своей чистой саженькой, ощущая на себе взгляды сотен глаз. Одни согревали его надеждами, другие сверлили злобой. Возле Тимофия со списками в руках вертелся белоголовый подросток Юрий Пидипригора, потому что секретарь сельсовета, бывший волостной писарь, рыжеусый Таганец уже с утра напился в дым и отказался и от списков и даже от своего надела.

– Кому конь, тому и черпак, а я своим почерком без вашей земли проживу. – Он водил пропитым языком по толстым губам, привычным ко лжи и к житью на даровщинуку.

Недалеко от пруда, там, где сходятся уголья сел Новобуговка и Любарцы, Тимофий вышел на межу земли Варчука и остановился. Он разыскал глазами пожилого, бородатого пасечника Марка Григоровича Синицу, улыбнулся ему и взглянул на солнце. Оно как раз проскочило мимо узкого розового облачка, золотыми стрелками прытко погнало перед собой спугнутые тени; они, бледнея, бросились врассыпную, пробежали по долинке, упали в пруд, и над ними заиграла искристая рябь.

Тимофий не нашел слова, которое передало бы все его чувства. Сперва он хотел перекреститься на солнце, но передумал и негромко проговорил, обращаясь к мужикам:

– Так начнем доброе дело?

– С богом, Тимофий, с богом! – ответило несколько голосов, а Марко Григорович трижды перекрестился: он первым получал землю.

За ним перекрестилась жена и тут же заплакала, вытирая глаза концом платка.

– Цыц, старая рухлядь! – зашипел на нее муж. – Нашла время плакать! – и он понес вежу на другой край полосы.

Когда саженка, измеряя первый надел, завертелась в руке Тимофия, к нему подбежали Сафрон Варчук, Ларион Денисенко, Иван Сичкарь и Яков Данько.

– Стой, Тимофий! – запыхавшись, придерживая рукой сердце, прохрипел Сафрон. – Слышишь? Стой, говорю!

Но Горицвит и не оглянулся на него. Он спокойно, ровным шагом шел по земле, ведя в уме счет, в котором слились и людская, и его радость, и слезы, пролитые женой Марка Григоровича.

– Стой, Тимофий! – Черная рука Варчука легла на белую саженку. – Поговорить с тобой надо.

– Ты бы, Сафрон, передохнул с дороги. Запыхался! Тогда и поговорим. – Тимофий властно снял руку богача с саженки и пошел дальше.

Рядом скрежетнула брань. Ларион Денисенко поднял вверх суковатую палку, но Иван Бондарь сразу же вырвал ее и отшвырнул за дорогу.

– Ты чего хочешь, распросукин сын? – выверился Ларион.

– Хочу, чтобы ты еще пожил малость! Жалею твои глупые мозги в умной голове.

– Пожалеешь, когда я из тебя кишки выпущу! – заорал Ларион, тесня Ивана своей обросшей колесом волос головой.

– Закрой пасть, Ларион!

– Гляди, как бы тебя отсюда на кольях не вынесли! – закричали вокруг, и в воздухе замелькали палки и межевые колья, на совесть вырубленные из дерева твердых пород.

Денисенко норовисто огляделся вокруг, и еле видные из-под усов губы на его плоском лице сами собой поджались: чего доброго, и в самом деле на кольях вынесут...

Тимофий прямо по линии вех подошел к дороге, остановился, обратился к Юрию:

– Запиши, сынок, сто две сажени в длину. – И, обернувшись к Варчуку, спросил: – Ну что тебе, Сафрон Андриевич? Не перепеклось еще? Не перекипело?

Варчук с богачами подошел к Горицвиту вплотную, их застарелой ненависти преграждала путь только девичья нежность белой саженки. Позади них настороженно стояли Бондарь, Кушнир, Синица, Олександр Пидипригора, а Поликарп Сергиенко отступил к самой меже и вытянул длинную шею, чтобы ничего не пропустить.

Сафрон впился в Тимофия темными, без блеска, глазами и заговорил как можно спокойнее и громче:

– По какому, Тимофий, закону самовольно отбираешь хозяйскую землю?

– А ты разве не знаешь?

– Послушаю.

– Революция дала такой закон. – ответил Тимофий и упрямо глянул на Варчука.

Тот не мог больше сдерживаться:

– Брешешь, как пес!

– От живодера слышу!

– Люди, революция дала другой закон! – закричал Варчук. – Она дала закон отбирать помещичьи и казенные земли, а наших не трогать! – Он выхватил из внутреннего кармана газету, развернул и замахал ею в воздухе. – Вот здесь правильный закон напечатан!

– Почитай, – спокойно ответил Горицвит, а у самого заныло сердце: вдруг в последних газетах напечатано что-нибудь новое, неизвестное?..

Мужики темным кольцом окружили его и Сафрона, который почтительно поднес к самым усам газету, подумал и громко сказал:

– Я прочитаю вам закон рабоче-крестьянского правительства о земле от пятого февраля тысяча девятьсот двадцатого года.

– Кто его подписал? – спросили из толпы.

– Подписал этот закон председатель Всеукраинского революционного комитета Григорий Петровский. Признаете такую подпись? – Голос Варчука крепчал.

– Ты не заливайся соловьем, а читай! – обозлился Степан Кушнир и заглянул в газету через плечо Варчука: не ровен час, богач по-своему повернет то, что там написано.

– Начинаю читать закон!

Варчук стал поудобнее, прокашлялся в рукав бекеша.

– «Восстановленное кровью жертв русской и украинской рабоче-крестьянской армии рабоче-крестьянское правительство Украины, приступая к своей государственной работе, считает своей обязанностью окончательно освободить крестьянство Украины, освободить его раз и навсегда от власти помещиков, обеспечить его землей и создать его силами условия для утверждения власти труда на земле.

Рабоче-крестьянское правительство объявляет ко всеобщему сведению рабочих и крестьян и власти гражданской и военной на Украине:

Первое. Отныне на территории Украины право пользования землей принадлежит лишь трудящимся.

Второе. Все нынешние трудовые хозяйства, принадлежавшие до сего времени трудящимся крестьянам-собственникам, казакам, бывшим государственными крестьянам и так далее, остаются неприкосновенными, и в дальнейшем владельцы их свободно, без ограничений, будут пользоваться всей землей в тех формах, в каких пользовались до сего времени: подворной, хуторской, отрубной, общинной и др....»

– Слышали правильный закон?! – загорланил Денисенко. – Никто не имеет права тронуть нашу подворную, хуторскую или отрубную землю! А помещичью режьте как хотите.

И вдруг его обрезал Горицвит:

– Хитро повернули! Долго, верно, думали, в какую бы щель проскочить! Вы думаете, закон что дышло – куда повернул, туда и вышло? Теперь так не бывает! Теперешний закон не про вас писан! – Он никогда еще так много не говорил с людьми, а теперь слова сами вырывались из груди. – Люди добрые, на эту хитрость Варчука и Денисенка надо наплевать и растереть! В законе ясно сказано – не трогать трудовые хозяйства.

– А у нас какие же? – вскипел Варчук.

– А ваши на чужом горбу держатся!

– Так их, Тимофий! Думали нас вокруг пальца обвести! – воскликнул довольный Бондарь. А сам восхищенно подумал: «Чертов Горицвит! Заговорил наконец! Да еще как заговорил!»

На поле поднялся шум, кулацкая братия доказывала свое, беднота – свое, и никто никого не слушал, а все только грозилась да пугали. А Тимофий между тем повернул свою саженку и пошел вымерять ширину, словно все происходящее не касалось его. Вскоре кулаки под хохот и пронзительный свист выскочили всей кучкой на дорогу и поплелись в село, откуда с причитаниями и проклятиями мчались их жены. Варчук поморщился, махнул им рукой.

– Ничего, бабы, не выйдет! Поворачивай оглобли!

– Дай я хоть этому Горицвиту зенки выцарапаю! – побелевшими от злости глазами глянула на него Настя Денисенко и так ощерилась, что все поверили – такая баба ни перед чем не остановится.

Но жены бедняков сразу же охладили воинственный пыл Насти. Они со всей крестьянской простотой обозвали ее сучкой, вспомнили ее любовников, и она с позором побежала прочь, – ей и в голову не приходило, что все так тщательно скрываемое от соседей и пуще всего от семьи известно селу. В навеки озлобленных глазах ее сперва блеснул страх, а потом и слезы. Она внезапно с ужасом ощутила бесстыдство своей плоти, которое ни прикрыть уже никаким самым лучшим платьем, ибо то, что известно в селе несколькими, станет известно всем. Только бы муж и сын не узнали об этом...

Не одна картина человеческой радости и позора, не одно счастье и не одна злоба прошли в это утро перед глазами Тимофия, но все дурное отставало, как отстает черная грязь от белого лебедя, а взволнованная ласка западала в сердце. Глубоко запоминались и пожатия

шершавых рук, всю жизнь тосковавших по земле, и влага в глазах, и поцелуи тех, кто получал землю. Беднота, вдовы и сироты говорили ему хорошие слова, желали ему здоровья и потихоньку зазывали прийти вечером на чарку.

– Со всеми вами пить – голова лопнет, – отмахивался Тимофий.

– От таких магарычей не лопнет, Тимофий, только прояснится, – заверяли люди.

И он переносил с поля на поле затаившуюся в глазах и в уголках губ добрую и чуть грустную улыбку, а сам с дрожью в сердце высматривал, не идет ли Свирид Яковлевич намерять землю ему, Тимофию Горицвиту. Правда, около полудня его радостное ожидание внезапно прервал на время Супрун Фесюк. Он с утра ждал на своем поле Горицвита и людей. Супрун не грозил, не ругался, а только стал как каменный на меже. А когда Горицвит обошел его саженью, Супрун неожиданно пошатнулся, упал на межу, забился в дрожи, заплакал.

– Земелька, земелька! – повторял он и, как слепец, ощупывал ее руками, вырывал со жнивьем и зеленью, засовывал в карманы свитки.

Тимофию стало жаль его. Он подошел, помог Супруну подняться, подал шапку, покачал головой.

– Не убивайся, Супрун, больше твоего люди терпели, больше твоего мучились.

– Так ведь земелька, земелька! – бормотал тот, все еще держа в судорожно сведенных пальцах черную пыль.

– Она не дороже людей, – ответил Тимофий. – Ты же толковый человек, понимать должен.

И люди молча прошли мимо Супруна, а он остался одиноко стоять на меже, изодранной его пальцами.

Если Супрун Фесюк расстроил Тимофия, то Василь Карпец, усатый мужик, не хуже цыгана разбирающийся в лошадях, развеселил всех. Ему так не терпелось получить свой надел, что он с женой еще ночью выехал на землю Созоненка. За ночь супруги здорово намерзлись в телеге, а с рассветом Карпец решил, что нечего напрасно терять время и, отмерив на глаз полдесятины, приступил к пахоте. Жена хотела удержать его, но он обозвал ее глупой бабой, пригрозил изломать на ее плечах кнутовище, и Мокрина, привыкшая к ругани мужа, взяла кнут, сперва хлестнула им муженька, потом погнала лошадей.

Под лемехом рассыпался жирный чернозем, сочно подрезались корни, а медноусая физиономия Карпца светилась радостью. Сгибаясь над плугом, он видел только задние ноги лошадей да землю. Когда отвал вставал торчком, он бережно приминал его ногой, чтоб земле не было больно.

Карпец больше не сказал жене ни одного скверного слова, только порою покрикивал, чтобы сильнее стегала не своего, а чужого коня. Когда они добрались до того места, где Василь на глаз обозначил межу, он усомнился: не меньше ли тут, чем полдесятины? Еще раз измерил шагами и, уже уверенный, что недомерил себе, пошел с плугом дальше, хотя жена и отговаривала его. Горицвит, придя на поле с людьми, сразу сказал, что Карпец запахался. Так оно и вышло. И это взбесило хлебороба.

– Сколько борозд вспахал этому чертову Созоненку, чтоб он огнем горел, и тут он на даровщинку поживился! Теперь в суд подам – пускай платит за пахоту.

– Так ты, Василь, вспаши уж Созоненку все поле, а потом высуживай плату, – предложил Степан Кушнир, и вокруг раздался хохот.

Даже Мокрина Карпец тряслась от смеха, как ни свирепо выпячивал муж нижнюю губу, иссеченную тоненькими морщинками.

А поодаль от людей ходили соглядатаями Сафрон Варчук и Иван Сичкарь. Они во всем могли довериться друг другу, истово раскрывали один перед другим пропасти своих душ, на дне которых клубилась в тот день одна злоба. И все же сошлись они на том, что не следует самим осквернять руки убийством: какой-нибудь глупый Фесюк не выдержит и выдаст их.

– Пора, самое время ехать к батьке Гальчевскому, – говорил Варчук, понуро глядя на белый цветок деревея, по которому сонно ползала оса.

– Сейчас никак не могу, – отвечал Сичкарь, за одну ночь ставший осторожнее. – Только завтра.

– Какая тебе, Иван, разница – сегодня или завтра! Теперь день дороже года.

– Большая разница. Завтра я пойду в тюрьму, никакая тень не падет на меня.

– Что ж, придется подождать, – неохотно согласился Варчук и пнул ногой цветок дерева, так что оса свалилась на жнивье.

Он вдавил сапогом насекомое в мягкую землю, искоса поглядывая, как оно, взмахивая искалеченными крыльями, пытается высвободить свое перетянутое тельце.

– Не Тимофиев ли щенок там идет? – спросил Сичкарь, и Варчук отвел взгляд от осы.

Поле по-отцовски степенно шел Дмитро. В руке у него покачивались завязанные в узелок горшочки-близнецы. Видно, парнишка нес отцу обед.

– Тимофиев? – еще раз переспросил Сичкарь.

– Разве не видно? Вылитый отец.

Сичкарь вышел навстречу Дмитру, крепко расставил толстые ноги на обочине.

– Куда идешь, оскребыш? – Лоснящаяся, словно салом смазанная губа Сичкаря отвисла, желваки под ушами зашевелились. – Не сдохнет твой родитель до вечера!

Парнишка метнул на богача недобрый взгляд, но не проронил ни слова, только все тело его натянулось, как струна.

– Дай хоть погляжу, чем держатся голодранцы на свете, – Сичкарь наклонился над узелком с едой, собираясь выхватить его из рук Дмитра,

– Отойдите, дяденька! К своей жене в горшки заглядывайте! – Дмитро перебросил узелок в другую руку и отстранился, не сводя с богача настороженного взгляда.

– Глади какой непочтительный! – бросил Сичкарь Варчуку. За это нам когда-то вот так вихры драли... – Он вдруг протянул толстую руку к голове Дмитра.

– Отойдите, говорю! – Дмитро побледнев от напряжения и обиды и отвел голову.

Но Сичкарь ухватил волнистые волосы подростка, дернул за вихор и засмеялся.

– Вот как нас почтению учили... – и захлебнулся, не сообразив, что с ним произошло.

Дмитро, отступив на шаг, изо всей силы хватил Сичкаря горшками-близнецами по голове, так что наземь посыпались теплые черепки, а по щекам богача потекли борщ и молочная каша.

– Ух ты! – Варчук растерялся от неожиданности и вторично вбил в землю осу, теперь уже навеки.

XVI

Под недовершенным сводом вековых лип серой лентой в спорышовых каемках тянется старый чумацкий тракт. Время давно уже выело сердцевину деревьев, и в дупла вселились рои одичавших пчел или влюбленные пары лесных голубей. Бывает, что из трухлявого отверстия, как из черного рукава, выглянет и проржавленная голова совы, но об этой нечисти Свирид Яковлевич всегда думал неохотно – он любил природу в ее красивых и могучих проявлениях. Бывали времена, когда в подольских лесах меньше водилось всякой погани, а пчелы носили мед прямо на землю, ибо не хватало им ни дуплистых деревьев, ни бортей. Недаром старые люди передают, что возле местечка Меджибожа¹⁰ пчелы однажды не пустили в лесные села и выселки татар: те, не зная дорог, поехали наобум по роям земляных пчел, и насекомые дождевой тучей обрушились на врагов и их коней.

Мотоцикл сердитым зверьком подпрыгивал на тракте, по обе стороны которого тянулись дубовые леса. Здесь даже на высоких обочинах, рядом с липами, выросли вековые дубы, устлавшие желудями ровно четыре версты дороги. Из глубины дубравы веяло

¹⁰ Меджибож (Каменец-Подольская обл.) – упоминается уже в летописях XII века. Знаменитый меджибожский замок и крепость не раз принимали на себя удары татар и турок. (Примеч. автора.)

запахами диких яблок, увядшей зеленым валерьяны, гниловатым брожением прелой листвы и грибной влажностью.

Дубовые рощи больше всего нравились Мирошниченку осенью. Весной они долго не зеленели – стояли голые сверху донизу, – потому что ни белый колокольчик подснежника, ни желтый первоцвет, не белые, ни алые, ни пурпурно-лиловые соколки не пробивались сквозь жесткую листовую подушку. Только незавидный цветок гусяного лучка одиноко торчал на этом кладбище листьев. А осенью дубы хороши были – и в дни медного созревания желудей и позже, когда желтели и краснели их курчавящиеся листья.

На обочине зачернели дымчатыми капельками ягод кусты терна, и сразу вспомнились дети, которые собирались идти сегодня в лес. Как там они? Невольно вздохнулось, мысли снова вернулись к селу, и стало несказанно жаль, что не он наделяет односельчан землей. И среди этих мыслей запуталась еще одна: ведь он забыл что-то сделать. И только у самого въезда в город Свирид Яковлевич вспомнил: не сказал Горицвиту, чтобы тот отмерил Марийке Бондарь чуть больше земли.

«Теперь проклянет все мои косточки», – с улыбкой подумал он о нраве Бондарихи, которую неведомо как терпит Иван.

Замриборщ залихватски остановил мотоцикл перед главным входом у исполкома, напугав двух оседланных лошадей, подгрызавших зеленоватую кору молодого дерева, к которому их привязали. Свирид Яковлевич нахмурился, увидав такую бесхозяйственность: «Нашли коновязь, умники». Он подошел к дереву, отвязал лошадей и подвел их к потемневшему плетню. Не успел он затянуть ременные поводья, как его окликнул с крыльца вестовой.

– Скорее, скорее, товарищ Мирошниченко! – кричал он, размахивая обеими руками. – Вас дождаться не могут!

– А что там? Пожар? – осведомился он, поднимаясь на крыльцо. – Или банда напала?

– Не банда, а товарищ Кульницкий, – понизил голос вестовой. – Разнес всех в щепы.

Свирид Яковлевич поморщился – он недолюбливал падкого на блестящие речи, вылощенного Кульницкого, называл его в душе краснобаем и франтом с Молдаванки. Встреча с этим начальством не обещала ничего приятного...

В комнате Ивана Руденка, заместителя председателя исполкома, было сине и сизо от табачного дыма. «Разнос», очевидно, закончился, потому что все уже стояли, одни собирались идти в свои отделы, другие толпились вокруг смуглого, с красивым хищным носом Кульницкого. На узком лице его смешались выражения неудовольствия, пренебрежения и снисходительности. Весь он был, как в панцирь, затянут в черную кожу: на плечах лоснилась кожанка, от которой несло касторкой, галифе спереди и сзади щедро подшиты хромом, на голове такая же фуражка, на ногах лакированные сапоги.

«Вот такими и рисуют враги коммунистов», – недоброжелательно думал, разглядывая картинную фигуру Кульницкого, председатель Новобуговского комитета бедноты.

– А, вот и Мирошниченко! – улыбнулся ему невысокий Иван Руденко, и вокруг его носа шевельнулись потревоженные улыбкой оспинки.

Кульницкий резко обернулся к Свириду Яковлевичу, смерил его воинственным взглядом и холодным, прокурорским тоном спросил:

– Товарищ Мирошниченко, вы почему опоздали? – И, не ожидая ответа, задал другой вопрос: – В Новобуговке уже разделили землю?

Вопрос ошпарил Мирошниченка словно кипятком. Что кроется за ним? Выговор за медлительность или что похуже? Он краешком глаза покосился на Руденку, стоявшего как раз за плечами Кульницкого, взглядом попросил: «Помоги». Заместитель председателя исполкома, партизанский друг Мирошниченка, чуть прикрыл веками глаза и опустил голову. Этого было достаточно.

– Разделили, – твердо ответил Мирошниченко, а Руденко с облегчением улыбнулся.

– Когда же вы успели? – Губы Кульницкого саркастически искривились.

– Рано вставали, поздно ложились – и успели. Кое-кто уже вспахал, а иные даже

засеяли, – деловито продолжал Мирошниченко.

Из карих глаз Руденка лукавые искорки, казалось, осыпались на ресницы.

Кульницкий нервно побарабанил по столу, что-то обдумывая, а потом решительно стукнул костяшками пальцев по столешнице.

– Нам, товарищ Мирошниченко, надо отрезать у вас шестьсот десятин. Как вы на это смотрите?

Перед глазами Свирида Яковлевича пошли туманные круги, к горлу подкатилась боль. Мысленным взглядом он окинул сразу всю землю своего села, и ему стало так жаль ее, словно она принадлежала ему самому. Вдруг подумалось, что и Фесюку вот так жаль разлучаться со своими десятинами, но ведь Фесюк заботился лишь о себе, а он видел сотни людей. Они как на спасение надеялись на землю, которую одним росчерком пера может оторвать у них этот щеголь в кожах.

– Отрезать шестьсот десятин? – Мирошниченко слышал, как деревенеет его голос. – Это же половина земли, полученная селом от революции!

– Мы и отберем именем революции. – Кульницкий выставил вперед длинную ногу.

– А вы подумали о том, что скажут о революции крестьяне? – Мирошниченко отвел ладонью туман от глаз. – Одной рукой она дает, а другой отбирает?

– Меня, товарищ Мирошниченко, не интересует, что скажет мелкобуржуазная стихия, не она вершит судьбы будущего.

– Вы бы полегче на поворотах, товарищ Кульницкий! – вскипел Мирошниченко. – Эта мелкобуржуазная стихия вас хлебом кормит и кровью защищает свое зерно.

– И плодит бандитов, разных атаманов и батек, – подкусил его Кульницкий.

– И еще больше расплодит, если вы будете землю отбирать! Не трожьте больных ран села, вы для них не врач! – Голубые капельки моря в серых глазах Мирошниченка потемнели.

– Вот как думает коммунист, – зловеще понизил голос Кульницкий. – Он обещает нам, что будет больше банд! Не скучает ли он сам по чину атамана?

У Мирошниченка побелели губы. Еще слово – и он не знает, что сделает с Кульницким. Может быть, выбросит в окно... Мертвую тишину нарушает недовольный голос Руденка:

– Далеко вы, товарищ Кульницкий заехали! Вы что, Мирошниченка не знаете? Как можно бросаться такими словами?

Худое лицо Кульницкого залилось румянцем, но он сдержался – увидел, что и в самом деле далеко зашел. И уже спокойное обратился к Мирошниченку:

– Вы не поняли меня, земля нам нужна для общего дела – для Любарского совхоза. Надо помочь ему.

Свирид Яковлевич с облегчением вздохнул и едва не улыбнулся – с его плеч свалилась огромная тяжесть.

– Любарскому совхозу мы не можем дать ни единой десятины. О совхозах есть постановление Всеукраинского революционного комитета, и мы не нарушим его.

– Но надо же помочь любарцам! Помощь не противоречит постановлению революционного комитета. Они говорят: у вас земля лучше.

– Такой же чернозем. Но при нынешних порядках любарцам не поможет самая лучшая на свете земля. Не землю, а порядки меняйте у них! – горячо возразил Свирид Яковлевич.

– А чем вам не нравится их порядок? – Выпуклые глаза Кульницкого стали злее.

– Мало ли чем! Руководят совхозом не хлеборобы, а дачники.

– Коммунисты, товарищ Мирошниченко! – обрезал его Кульницкий.

– Может, где-нибудь они и коммунисты, а в глазах крестьян стали дачниками. Где же это видано, чтобы в жатву, когда день год кормит, работать восемь часов!

– Норма промышленного рабочего.

– Вот из-за этой нормы и осыпался хлеб на корню, из-за этой нормы и протягивают руку к государству: «Подайте, дяди, нужды нашей ради!» А надо, чтобы они государству помогали. Нет, для такого совхоза я и ломаного гроша не дам, не то что земли...

– Вы абсолютно не понимаете, что такое крупное хозяйство! Если нам удастся охватить все государство совхозами и трестировать их – объединить в гигантские тресты, – мы добьемся экономической эмансипации от мелкого собственника! Вот куда нам надо нацеливать свои силы! – горячо закончил Кульницкий.

– В вашей эмансипации я могу запутаться, как в арбузной ботве, – с едва скрытой насмешкой проговорил Мирошниченко. – А знаю одно: сейчас не тресты, а крестьянин должен получить свой надел. Убьете в хлеборобе вековую надежду на землю, он и на тресты станет смотреть как на барщину.

– Вы не коммунист, вы – тряпка! – прорвалось у Кульницкого, и он красиво понес к дверям свое затянутое в кожу тело.

– От кожаной куртки слышу! – крикнул вдогонку Мирошниченко.

Он имел привычку все доводить до конца, даже ссору.

– Я не забуду вам этого разговора! – бросил с порога Кульницкий. – Мы еще не так потолкуем.

– Очень возможно, – ответил Мирошниченко.

Когда в комнате остались только он и Руденко, Свирид Яковлевич отворил окно.

– Ну и начадили, задохнуться можно! – Он, морщась, с отвращением стряхнул с себя гадкую муть перебранки с Кульницким.

– Ты чего, Свирид, так сегодня развоевался? – щурясь, спросил Руденко.

– Да ведь эти красавцы в кожаных куртках святое дело губят, – не мог успокоиться Свирид Яковлевич. – Он думает, что революция – это только стрельба да митинги, красивые посулы да заседания.

– Не знаю, что он думает, а врага ты себе лихого нажил, не завидую.

– Черт с ним, Иван! Дай мне еще свою чертопхайку: поеду скорей землю делить.

– Ладно, Свирид, поезжай и скорее своди концы с концами... А то как принесет к вам нечистая сила Кульницкого, тут уже горя не оберешься. Выставит тебя старым вруном.

– Только бы до послезавтра не приехал. – Мирошниченко крепко пожал Руденку руку.

– Ну, а мелкобуржуазная стихия здорово еще сидит в тебе? – Неглубокие оспинки вокруг прямого носа Руденка снова добродушно шевельнулись.

– Ох, и здорово же! – вздохнул Мирошниченко. – Как сказал Кульницкий про землю, – кажется, не десятины, а сердце вынул из груди.

– Недаром говорят: у нашего мужика в груди с одного боку сердце, а с другого – земли комок.

– Про комок не знаю, а что в крови она кипит, это правда, Иван. Разве ты по себе не чувствуешь?

– Чувствую, Свирид, – согласился Руденко и, вспомнив что-то, повеселел. – Чуть не позабыл: нашли в уезде подпольную лавчонку. Чтобы не подвести одного председателя комбеда, выделили для вашей школы пятьсот аршин товара.

– Спасибо, Иван! – Мирошниченко растроганно посмотрел на друга. – Теперь не разбежится наша школа. А учитель как обрадуется!

– Еще какой-нибудь слушок пустишь? – рассмеялся Руденко.

– И не подумаю. Если в этом году мужики получают материи на детскую одежду, все поверят, что на будущий год уже и сапоги выдаст власть. Мужика, Иван, понимать надо и не только бранить, но и жалеть.

– Стараюсь, стараюсь, Свирид! – с деланной скорбью вздохнул Руденко, и друзья расхохотались. Им не хотелось расставаться, но обоих звала земля. Одного – в натуре, а другого – расчерченная на бумаге.

Вскоре Замриборщ во весь дух мчал Мирошниченка в Новобуговку. Но в дубняке мотоцикл обиженно зачихал, зашмыгал, запрыгал черным кузнечиком и остановился.

– Гуляйте, Свирид Яковлевич, пока я свою чихалку налажу. – Замриборщ соскочил с прогнутого седла.

Он отвел машину на обочину тракта, а Мирошниченко вышел на опушку, сбивая

носском сапога ведьмовское кольцо тонконогих грибов. До недавнего времени он считал эти грибы поганками, но в партизанских лесах узнал, что они съедобны, а приправа из них хоть куда и даже чесноком припахивает.

За опушкой подымались роскошные вековые дубы, и клочки неба врезались в них, как синие роднички в зеленую землю. Кое-где на этой сентябрьской сини чеканными колокольчиками выделялись гроздья желудей или выступал силуэт птицы. Совсем недалеко ссорились, как барышницы на базаре, две сойки, на миг они нарушили чистую гармонию лесных звуков, но от этого только прозрачнее звенела чуткая глубь лесов.

Под сводом черемухи и дикой яблони глубоко дышал лесной родник, и его дыхание порождало чистый, как слеза, ручеек. По обе стороны родника зеленым пушком курчавилась маленькая и на диво тонкая травка, для нее и капелька росы была тяжкий груз. Спугнув плавунца, который, как бронзовая пуговица, стал ввинчиваться в воду, Мирошниченко напился из родника и прилег неподалеку от него, положив голову на сложенные руки.

Поклоннику симфонической музыки, желающему насладиться красотой и чарами новых мотивов, надо подремать в сосновом молодняке, когда его слегка перебирает ветер, а человеку не слишком музыкальному достаточно и мягкого шума лиственных лесов. Этот шум обволакивал Свирида Яковлевича, уносил его в родные места, и уже показалось человеку, что он легко-легко взлетел над лесами и приглядывается – где село? Но какой-то жалобный писк разбудил Мирошниченка. Он раскрыл глаза, и то, что увидел, удивило и надолго поразило его. На самом краю родничка сидела большая пучеглазая лягушка, заглатывая широкой пастью ножки маленькой птички. Доверчивая голубая синичка, собравшаяся напиться воды, теперь в смертельном страхе махала крылышками и тоскливым писком взывала о спасении.

Свирид Яковлевич сорвался с земли, подбежал к роднику и не сильно, чтобы не повредить птичке, ударил лягушку сапогом. На обведенных концах лягушечьего рта показались пузырьки, она выпустила птичку, и та, прихрамывая, помогая себе крыльями и хвостом, насилу выбралась на берег. А лягушка стремглав нырнула в родник.

XVII

Братья собрались не в хате, а в овине. К ним присоединилась было и Василинка, но отец сразу же прогнал ее. Она побежала на пруд, села в челнок и, сложив руки на коленях, задумалась о том, какую еще тайну скроют от нее, – ведь старшие не умеют жить без того, чтобы не скрывать что-нибудь.

Тихо покачивался крохотный, на одного человека, челнок, и камыши убаюкивали своим шорохом воду. Девочка с разгона ударила по ней рукой, гребнула, и челнок отделился от берега: надо же для дяди Данила потрясти вентера. Василинка выезжает на середину пруда, а над ней, как цветок, вспыхивает звездочка и, мерцая, падает в лес.

В овине между тем идет свой разговор.

– Не ты, брат, первый, не ты и последний. Вернулись в наши села и хорунжие и сотники, есть и офицеры. Известно, с музыкой их не встречали, но и к стенке не ставили. Такое дело. Живут себе тишком, трудятся помаленьку, кое-кто даже паек получает. А иные на Врангеля пошли, так их семьям и землю дают наравне со всеми, – успокаивает брата Александр.

– И взяли офицеров на фронт? – восторженно спрашивает Данило.

– Еще и спасибо сказали. Новая власть злая только со злыми. Такое дело.

– Может, и мне попроситься?

– погоди с этим, – возражает Мирон. – В теперешнее время не знаешь, кто завтра станет хозяином. Нынче самое лучшее притаиться потихоньку, как заяц под кочкой.

– Что же ты, Мирон, не подождал землю брать? – Александр бросил насмешливый взгляд на брата. – Притаился бы, как заяц под кочкой, и глядел бы оттуда, как люди наделы берут.

– Землю мне власть дала. Я тут ни причем. Кто ж откажется от земли?

– Уже и оправдания на всякий случай на языке вертятся? – хмурится Олександр и обращается к Данилу: – Завтра на зорьке будем ждать тебя на перекрестке за селом. Втроем пойдем в уезд, раз такое дело.

– Спасибо, брат! А что мне со своим оружием делать? В пруду утопить?

– Нет, в уезде спросят тебя, куда ты его подевал, – возражает Олександр. – Надо сдать.

– А ну как по дороге перехватит его с оружием черт какой-нибудь? Тогда пиши пропало, – морщится Мирон.

– Дай-ка мне, брат, оружие. Так лучше будет, – решительно говорит Олександр.

Данило вынимает из карманов плоские браунинги, достает гладкие тельца патронов и с облегчением отдает их брату.

– Вот, кажется, и все.

– Сядем на дорогу, – предлагает Мирон.

От него пахнет рыбой и медом. Пройдет еще десяток лет, поседеет человек и станет совсем похож на доброго старого пасечника, но сейчас доброту его разрушает страх, от которого усы подергиваются, словно возле них и ночью летают пчелы.

Братья садятся прямо на ток, под их руками выбоины – следы от цепов, пальцы чувствуют прохладу. Потом все трое поднимаются, пересекают двор и у ворот трижды целуются.

Данило уже перешел плотину, когда позади послышался топот детских ног.

– Дядя Данило, – к нему подбежала Василинка с торбой, – возьмите домой немного рыбы, все гостинец будет. – И она подала ему полотняную торбу, с которой еще стекала вода. Внутри билась свежельовленная рыба.

У Данила сердце сжалось от боли: не он принес подарок девочке, а она ему.

– Спасибо, Василинка. Не надо мне...

– Почему не надо? – удивилась девочка. – Она свеженькая, еще живая. Одни караси, как золото.

– Одни караси, говоришь? – переспросил он.

Девочка кивнула головой.

– Осенью, при звездах, они очень хорошо ловятся, если в вентерь подкинуть макухи.

– А знаешь, что мы сделаем с ними? – Данило подошел к вербе, всем стволом тянувшейся к воде.

– Не знаю.

– Возьмем и кинем снова в воду. Пусть поминают нас добрым словом.

– Да разве они умеют говорить? – засмеялась девочка.

– Говорить, может, и не умеют, а вспоминать нас с тобою будут – им тоже лучше в воде, чем на сковороде.

Они осторожно сошли с берега на мостки, над которыми свешивались ветви верб, и вынули из торбы первого карася. Он и впрямь лежал на руке как тусклый слиток золота и тяжело поводил боками.

Данило опустил его в прудок. Рыба на миг замерла в воде, потом встрепенулась и скрылась в глубине. Когда они выпустили всех карасей, Данило передал торбу девочке. Она вопросительно посмотрела на него и вдруг спросила:

– Дядя Данило, а скажите мне, только по правде: почему вы пожалели карасей?

У Данила задрожали губы, и он, не то вздыхая, не то посмеиваясь, ответил:

– Потому, Василинка, что теперь твой дядя сам похож на карася в торбе.

– Скажете тоже! – засмеялась девочка и прижалась к нему всем тельцем.

А у него от этого смеха на глаза набежали слезы.

Он обнял девочку, попрощался с нею и чуть не бегом устремился в дубраву. Опушка встретила его тишиной и слезами вечерней росы. В темном небе, как в черноземе, стояла

сверкающая Чапыга¹¹ и своим сиянием напоминала, что высшая человеческая мудрость – землю пахать. В сознании тускнело прощание с братьями, с племянницей, приближался страшный и радостный час встречи с женой. Порой Данило останавливался возле дерева, чтоб не расплескать свои чувства, яснее разглядеть образ, маячивший вдали, тот образ, который он пронес, как святыню, сквозь годы разлуки.

Он знал, что не много встречается по-настоящему счастливых семей. Даже те, что женились по любви, часто рассыпают ее по мелким житейским бороздам и через год-два не думают уже о тихом рае, а тащат скрипучее брачное ярмо. А у него семья сложилась как в хорошей песне. Сперва он очень побаивался, что тень Нечуйвитра будет омрачать его радость: его мучило, что девушка уже ласкалась к другому, знала вкус поцелуев, а может, и больше. Но напрасно он боялся. С Нечуйвитром Галя связывала дружба, а с ним любовь. Он брал ее миловидной девушкой с роскошными золотыми косами, у него она стала красавицей, ее полудетское личико сразу расцвело, небольшая хрупкая фигурка развилась, и нередко ему приходилось с сердцем сплевывать в сторону при виде какого-нибудь лоботряса, слишком уж тарашившего глаза на его жену.

«Соль тебе в глаза», – трижды повторял он мысленно, ибо хотя и стал учителем, но крестьянские предрассудки еще были в нем живы. Не раз он приходил в отчаяние, что не может одеть ее по-человечески, а она утешала, что когда-нибудь и у них все будет. На что она надеялась? Конечно, не на их жалованье, а на то будущее, которое обещал ей Нечуйвитер. Данило не мог ей и этого посулить.

Как же Галя встретит его теперь? Что осталось от ее любви? А вдруг одна только горечь? Ведь он отрезал ей все пути... Нечеловеческая тоска закрадывается в его душу. Ведь для него жена – это жизнь.

Вот и редеют леса, расходятся островками и перелесками. Впереди при только что взошедшей луне показались черные силуэты построек. Данило, чтобы не наскочить на самооборону, идет по краю вырубки, а оттуда огородами к центру села.

В закоулке, выходящем на улицу, он видит дубовый крест, похожий на раскинувшего руки великана. На его деревянных плечах печально белеет крестьянский рушник. Такой же крест с рушником виден и на другой улице. И еще один возле чьей-то сонной хаты. Выходит, все вокруг огорожено крестами! В эту весну, когда сыпной тиф нещадно косил и старого и малого, село крестами молило бога защитить его от несчастья, и до сей поры стоят на всех поворотах и возле каждого колодца эти деревянные свидетели человеческого бессилия и страдания.

Он минует чей-то сад, проскальзывает через улицу, и вот перед ним маленькая, выстроенная земством школа. Неужели здесь она, его любовь, его будущее? Данило останавливается возле перелаза, над которым позванивают стручками невысокие акации. Ему бежать бы к школе, к тому окошечку, откуда жена и Петрик каждый день глядят на солнце и на тучи, а может быть, и высматривают, не идет ли он. Но сила его словно ушла в землю. Данило, пошатываясь, обходит школу с другой стороны, где каменное крыльцо ведет в комнату учителя, и там присаживается в тени на холодные ступеньки. Он прислушивается к школе, словно она и ночью таит в себе чьи-то голоса и может ответить ему, что здесь нет никого, кроме его близких.

Каменные ступеньки оттягивают жар его тела, и он, махнув рукой, как пьяный, поднимается и стучит пальцами в краешек стекла. Как долго тянется минута ожидания! Он стучит еще. Из глубины комнаты доносится мелодичный колокольчик ее голоса, от которого сердце может оборваться в груди:

– Ой, кто там?

Ему хочется улыбнуться, но слезы сдавливают горло.

– Галя, это я, Данило...

¹¹ Чапыга – по-украински созвездие Ориона.

И слышит крик, слышит, как что-то падает в комнате, как жена бежит к двери. Он в круговороте мыслей выбирает для нее самые лучшие слова, но краше тех, с какими он обычно возвращался домой с дороги, не находит. Так он и сейчас скажет: «Ну вот и я, сердечко мое...»

Наконец скрипит, отворяясь, облупленная дверь, и на шею ему бросается плачущая жена.

– Данилко, родненький! Это ты?

Вот и его она называет детским именем. Сказано – мать.

Он обнимает ее, прижимает к груди и забывает произнести свои слова. Потом неловко увлекает, почти вносит ее в комнату, молча целует косы, бьющиеся о его руки, подносит ее к окну, смотрит на нее, узнает, радуется и, наконец, вспоминает, что у него есть сын. Впрочем, это, может быть, сон, выдумка?

– Галя, у нас сынок?

– Сынок, Данило. – Она выскальзывает из его рук, становится босиком на пол и подводит отца к люльке, где из вороха тряпок выглядывает детская головка.

Склонившись, он обходит люльку вокруг, трогает перильца и наконец говорит:

– Ну вот и я, сердечко мое...

В ответ снова раздаётся всхлипывание. Галя находит его руку, ведет его к освещенному лунной окну и сквозь слезы смотрит на побледневшее от волнения лицо мужа. Вот и стоит перед нею ее судьба. Она сама выбрала ее, гордилась, тешилась ею, а теперь сердце обрывается, как подумаешь, что будет с ними... Чего бы она не сделала, только бы остаться вместе, только бы ребенок не рос без отца!

Он видит слезы на ее загадочных при лунном свете глазах и вспоминает чьи-то слова, что глаза его жены – лесные черешни в утренней росе. Они и в самом деле чудесно мерцают на белизне щек своей глубокой влажной мглой.

Данило прикасается губами к ресницам жены, и с них опадает соленая теплынь.

В сенях внезапно запели ломающимися голосами молодые петушки. Их пение разбудило ребенка, он завозился, заплакал. Галя бросилась к люльке, взяла сына на руки, укачала его, запела колыбельную и поднесла малыша к окну.

Маленький человечек уютно лежал перед отцом, и мать, забывая горе, сквозь слезы улыбнулась ребенку, а потом мужу.

– У него уже два зуба! – проговорила она с гордостью.

Данило, еще не очень понимая, что означает такое великое событие, но, видя, как мать радуется этому, с удивлением переспросил:

– Неужели два? – словно речь шла не о двух зубах, а по крайней мере о счастливой судьбе.

XVIII

До позднего вечера не расходились новобуговцы с полей: одни еще получали землю, другие вешками обозначали межи, а третьи запрягали коней и пахали под зябь свои надель. Худенькие бедняцкие клячонки из кожи вон лезли, таща плохо налаженные плуги, и никого не удивляло, что у одного плуга были стертые на нет пятки, а у другого вместо лемеха торчал широкий австрийский штык – кромсал белое тело на войне, кромсай теперь черную землю.

Проголодавшийся Тимофий Горицвит не очень оглядывался по сторонам, но ничто не проходило мимо его внимания. Немало пришлось ему сегодня поработать ногами и даже языком. Под вечер совсем охрип от разговоров. Такого с ним еще не бывало. «Походишь еще вот так с людьми несколько дней, совсем без языка останешься, – посмеивался он над собой и, украдкой поглядывая на сына, улыбался. – Не пожалел же разбить горшки о голову Сичкаря. Не пожалел и не побоялся. Молодцом растет сынок!»

А сынок после приключения с Сичкарем старался не попадаться на глаза отцу, который

отругал его, говоря, что надо относиться к старшим с почтением и что мать не для того варила молочный кулеш, чтобы размазывать его по чужой голове.

Дмитро хотел еще раз сбегать в село принести поесть, но отец не позволил.

– Мне еще дважды в день обеда не носили, – сказал он под смех бедняков.

Тогда Василь Карпец кинулся к своему возу и вскоре вернулся с водкой и ломтем ячменного хлеба, до блеска натертого чесноком.

– Выпей, Тимофий, чтоб ноги по земле веселей ходили! – Василь Денисович успел позабыть, что ему предстоит судиться с Созоненком, и хмель весело бродил уже не только в его ногах, но и по широкому с подковкой медных усов лицу.

– Я, Василь, при деле не пью, – отвел чарку Тимофий. – Чарка свободное время любит.

Но Василь Денисович ни чуточки не смутился, а торжественно проговорил:

– За революцию, Тимофий, и при деле можно выпить, да еще при таком божественном деле, какое у тебя сегодня в руках.

Тогда Тимофий воткнул свою саженку в землю, взял чарку и хлеб, посмотрел на людей.

– За революцию!

– На здоровье ей!

– Дай боже! – послышалось вокруг.

Чарка пошла по рукам, и люди торжественно пили за революцию, стоя в поле, ибо она дала им эти поля.

На западе расплавленные облака уже покрылись пеплом и слились с теменью, когда Горицвит возвращался с Кушником и сыном домой. В низинке стало темнее: здесь туман поднимался на лапы и, шелестя ивняком, мягко расплывался над землей. Тимофий обхватил рукой плечи сына, и тот прижался к отцу, как в детстве. И хорошо было сыну и отцу вот так, в молчании, приглядываться к неясным очертаниям деревьев над рекой, прислушиваться к песне, пробивающейся из крайней хаты.

– Ты что же сегодня не столярничал? – спросил Тимофий, когда перешли мостки.

– Не мог, – вздохнул сын. – Да разве сегодня кто-нибудь работал в селе?

– К земле потянуло?

– Ну да. Думал, сегодня и нас наделят.

– Потерпи еще.

– Да ведь нет больше терпения. Где же мы коня возьмем? Наш от ветра клонится.

– Наверно, придется взять у дедушки да еще у брата Мирошниченка. Завтра не теряй день, а то старик Горенко обмеряет тебе плечи столярным аршином.

– Чего доброго, – улыбнулся Дмитро. – Аршин у него всегда под рукой. Так я хоть в сумерки к вам прибегу.

– Ну, разве что в сумерки. – Отец положил свою усталую руку на костлявые плечи сына. – Степан, что это я не видел на поле Ольги Пидипригоры?

– Не было ее сегодня, – отозвался Кушник, который шел впереди, раздвигая своим ладно сбитым телом лохматый туман.

– Не захворала ли?

– Не знаю.

– А ты наведайся да узнай.

– Хорошо, – согласился Кушник, поколебавшись.

В этот день он впервые за неделю собирался пойти к острой на язык и привлекательной не столько лицом, сколько станом Юльке Шаповал. Сидя с Юлькой, Степан, не очень стеснительный в обществе девчат, едва ли не впервые поймал себя на мысли, что и ему пора обзавестись женой и детьми. Дочка кузнеца, как заведено, привораживала его своими чарами, а сама не позволяла ему и руками себя коснуться – била по пальцам по-мужски. И откуда только сила бралась? Он даже спросил у нее об этом, а девушка только загадочно улыбнулась.

– Это я бью по-божески, в четверть силы.

– Цену набиваешь?

– Нет, сбавляю, – вздохнула она отчего-то.

Чтобы лучше познакомиться с их семьей, Степан заехал к ее еще не старому отцу в кузницу ошиновать колесо. Пока железо млело на углях, Шаповал позвал с огорода дочь. Та прибежала, увидела Степана, застеснялась. Отец положил шину на наковальню и дал Степану придержать ее клещами, а дочка взялась за молот, ударила по железу. Изумленный Степан и оглянуться не успел, как отец и дочь молотами сварили ему шину и натянули ее на колесо. Теперь только ему стало ясно, что била его Юля по рукам и в самом деле в четверть силы. И он с сожалением подумал: «Такой женой, черта лысого, покомандуешь...»

Прощавшись с Горицвитами, Степан зашел домой, умылся над колодезным желобом, переоделся и тогда только отправился к Ольге.

Над садами уже поднялся месяц, и кто-то при лунном свете клепал косу, готовясь к уборке проса или поздней гречихи. В хатах там и сям гасли коптилки, дворы окутывала ночная тишь. Степан дошел до ворот Пидипригоры, остановился в нерешительности: идти или нет? Он боялся пения старой Богданихи, Ольгиных слез. Однако, отворив ворота, вошел во двор. Возле сарая переливается в лунном холодном огне обмолоченный стожок, ветерок подымает соломинки по одной, и они откликаются, как лады на дудке.

В хате еще горит свет, но дверь заперта на засов. Он взялся за щеколду, и через минуту на крылечко вышла Ольга. Как монашка. На белом, исхудалом лице резко выделяются черные брови, над застывшими глазами темные круги. Женщина не удивилась, ничего не спросила, только на подбородке нервно дрогнула складочка. И Степан сразу ощутил, какое большое расстояние между ними проложило горе, почувствовал укор совести: как он смел только что думать о любовных утехах? Он уже не смог назвать ее просто по имени.

– Ольга Викторовна, почему вы...

Ее застывшие глаза расширяются, а брови болезненно переламываются, взлетают вверх, и ему становится стыдно.

– Оля, – поправляется он, – ты почему на поле не пришла?

– На поле? Зачем? – И ее глаза вдруг до краев наливаются лунным сиянием.

– Как – зачем? – оторопело говорит Степан. – Землю получать.

– Землю? – переспрашивает она чужим голосом, который и в час страшной тоски все так же мелодичен и певуч. – Не надо мне земли... Она отняла моего Василя... Ничего я больше не хочу... – Она ловит руками дверной косяк, а ртом воздух.

Степан обеими руками поддерживает вдову, чтобы не упала. Единственная слезинка, пролившаяся из ее глаз, кажется, насквозь прожигает ему пальцы.

– Оля, не надо! – утешает он ее, чувствуя, как под руками дрожат ее плечи.

– Иди, Степан, иди, не растравляй душу, – выпрямляется она, ослепляя его светом своих заплаканных глаз и выражением боли на измученном лице.

– Ну, а земля, Оля? – еще пытается он привлечь ее мысли к самому дорогому, что есть в жизни крестьянина.

– Она не вернет мне Василя. – Вдова гасит ресницами слезы и лунные блики в глазах.

– Это правда, слов нет, мертвых земля не возвращает, – голос Кушнира становится все упрямее, – но без земли и ты не проживешь. Земля – великое дело.

– Забери ее хоть себе, не пожалею.

Вдова отступает в глубь сеней и скрывается за внутренней дверью.

Степан, ошеломленный, мгновение стоит у порога, все еще видя перед собой образ ушедшей женщины, и вспоминает, что собирался к Юле. Но ее очарование почему-то уже поблекло для него. Опустив голову, он, задумчивый, отходит от крылечка. Возле сарая что-то мягко шелестит, и ему чудится, что это вздыхает Ольга. Степан оглядывается – нигде никого, только обмолоченный стожок горит золотисто-зеленоватым пламенем и на ветру дрожат соломинки, перебирая лады незримой дудки.

Уездный город с севера начинается глубокими оврагами; они подбегают изломанными складками почти к самому большаку, а над ними обрывается горбатый поток гранитных отрогов. Вверху, позади оврагов, черствое поле, словно размытое кладбище гигантов, как черепами и мослами усыпано серыми камнями. Но сразу же за дорогой земля, чудесным образом отмахнувшись от оставленной позади прадавней окаменелой угрюмости, ровно стелется черноземом под синий край небес.

Когда-то, до войны, ободранные каменотесы рвали в оврагах гранит на постройки для живых и на кресты для мертвых. А теперь тут раз в неделю собирается нечто вроде базара; под ласковым солнцем грустно дремлют заезженные лошади, и визжат, как безумные, поросята, попавшие из приволья и грязи во тьму мешков. Торговля идет не очень оживленная, но из-под полы можно достать не только самую удивительную, разбоем добытую одежду, но даже пантокрин в пилюлях и ручные пулеметы.

Подходя к оврагу, где уже суетился базар, Александр придержал Данила за руку.

– Пойдем, брат, поглядим на это сборище, – предложил он, показав головой на дно оврага.

– Зачем? – удивился Данило.

Он всю дорогу нес свою нелегкую думу и пытался заглянуть хоть на день вперед. На щеках у него и до сей поры пылали еще поцелуи и слезы жены, а в ушах раздавался детский лепет. Перед дорогой они с Галей сели на каменные ступеньки крыльца и решили не утаивать ничего от новой власти.

– Хотим с Мироном купить тебе сапоги. Для нашего брата сапоги – самое главное.

– В этих далеко не уйдешь. – Мирон ткнул пальцем в заплатанные батрацкие сапоги брата.

– Если есть деньги, купите, – согласился Данило. – Может, и я пособлю вам когда-нибудь. – Он в душе был даже рад, что еще хоть полчаса походит на воле, отдалит от себя страшную минуту встречи с военкомом и Чека.

По каменистой тропке братья спустились в овраг. Какие-то подозрительные торгаши шныряли между людьми и скотиной, приглядывались к ним, скороговоркой шептали на ухо скользкие слова или показывали из-под полы свои товары.

Братья остановились возле одного согнувшегося в три погибели сапожника. Мастер сидел на долбленом стульчике и крепкими бересклетовыми гвоздями подбивал оторванную подметку к сапогу. Здоровенный верзила в одном сапоге стоял позади, смачно уплетал хлеб с салом, а глаза его бегали по толпе. Данилу запомнилось его необычное лицо, и прежде всего крючковатый нос и убегающие от него к ушам щеки, словно боящиеся соседства с этим страшным крюком.

Мирон приценился к сапогам с модными в то время широкими носками.

Сапожник посмотрел на братьев и, не выпуская изо рта гвоздей, невнятно пробормотал:

– Продаю, только за хорошие деньги.

– За какие это хорошие?

– За царские. Других властей не признаю.

– А они тебя, Васюта, признают? – засмеялся один из покупателей.

– Мне до них дела нет, – не отрываясь от сапога, пробормотал Васюта.

Он вынул гвоздики из губ и стал лениво торговаться с Мироном.

Пока они торговались, Данило заметил, что верзила в одном сапоге прощупывает его глазами. Потом здоровяк подошел к братьям и отозвал Данила в сторону.

– Браток, я помогу тебе достать настоящие сапоги, товар – министерский! – шептал он, чуть не заталкивая в ухо Данилу свой крючковатый нос.

– Где же они?

– Найдем, коли у тебя игрушка найдется, – прошептал верзила в самое ухо.

– Какая игрушка?

– Не придуривайся, браток! Разве по тебе не видно, что ты не нынче, так вчера бросил воевать? Принесешь игрушку, – он пошевелил указательным пальцем, словно нажимая на

курок, – а я тебе сапоги, за десять лет не износишь.

Данило побледнел. Что это – провокация или в самом деле бандитский торг? Он подошел к братьям, оторвал их от сапожника, и все трое быстро пошли в уисполком. Там Александр передал Данилу котомку с харчами и оружием, тряхнул брата за плечи – не бойся, мол, – а Мирон перекрестил его.

Взойдя на верхнюю ступеньку, Данило еще раз оглянулся, хотел улыбнуться братьям, но губы у него жалобно задрожали, и он, словно в глубокую пропасть, зажмурясь, шагнул через сбитый порог. Навстречу ему не спеша шла с бумагами молоденькая стриженная девушка с красным бантом на груди. Она весело напевала какую-то мелодию, и весь ее беззаботный вид говорил, что она нашла на земле свое место.

– Скажите, пожалуйста, где находится военком? – остановил ее Пидипригора.

– Ступайте за мной, – велела девушка.

Она ввела его в просторную комнату с перегородкой, за которой большой канцелярский стол скалился на посетителей темной пастью громоздкого ундервуда; на ундервуде стучал красноармеец с забинтованной головой.

– Вы по какому делу к военкому? – спросила девушка, поглядывая на вторую дверь с надписью «Военком».

– Пришел с повинной. – Данило опустил глаза.

Девушка не удивилась.

– Бандит? Петлюровец?

– Петлюровец.

Красноармеец с перевязанной головой взглянул на него и продолжал печатать. Верно, не впервые им встречать таких гостей.

– Подождите минутку. – Девушка все так же, не торопясь, прошла во вторую дверь и скрылась за нею.

Эта минутка показалась ему вечностью. Но наконец дверь отворилась, и девушка позвала его. Он вошел в опрятную комнату и остановился перед юношей лет двадцати – двадцати двух в форме красного казака. Неужели это и есть тот самый прославленный командир эскадрона, который нагонял ужас на белополяков и вызывал на сабельные поединки самых неистовых врагов? Александр передавал, что товарищ Клименко, даже простреленный двумя пулями, не покинул поле боя. Спешенные казаки держали его под руки, а он командовал до тех пор, пока не взломал клещи окружения и не вывел из него своих бойцов.

У военкома возле губ и глаз шевелятся болезненно-брезгливые морщинки, на высокий лоб падает курчавый вихор, снизу белый, как ржаной колос, а сверху темно-русый.

– Садитесь. – Военком кивает головой и сам садится напротив Пидипригоры. – Местный? – Преждевременные морщинки на его висках дрожат.

– Местный, из Новобуговки.

– Кулацкий сын? Попович?

– Из бедняков.

– Вот как? – удивляется военком. – Тина, дайте анкету.

Девушка подошла к шкафу, порылась в бумагах и положила перед Данилом листок жесткой бумаги, на котором должен уместиться весь его жизненный путь.

– Давно явились в село? – ровным голосом спрашивает военком, доставая папиросу. – Курите?

Он протягивает пачку Пидипригоре. Тот вытаскивает одну папироску, и на лице у него проступает пот, словно он тащит мельничный жернов.

– Явился в село позавчера. Сотник я... – Он спешит рассказать о себе все, чтобы поскорее покончить с этой мукой.

– Что же вы бросили своего атамана? – Взгляд Клименка вдруг веселеет, веселеют и морщинки возле глаз и губ. – Горит петлюровская свеча?

Пидипригоре понятна радость молодого военкома – сквозь незажившую боль в нем

пробивается торжество победителя. Только свойственно ли ему великодушие победителя? И Данило задумчиво отвечает:

– Горит с обоих концов.

– Вот это верно, с обоих концов горит! – Продолговатые, серые, как сталь клинка, глаза военкома блеснули.

Данило чувствует облегчение: по крайней мере он имеет дело не с таким военкомом, каким рисовало его болезненное воображение и петлюровская агитация.

– Расскажите, как вы попали к нам. – Военком придвигает к себе листок бумаги, и над нею склоняется его двухцветный вихор. – Только подумайте сперва, – подбадривает он, видя, как сотник волнуется. Опыт уже подсказывает Клименку, кто перед ним сидит.

Пидипригора, волнуясь, рассказывает, и его повесть сразу заинтересовывает военкома. Больше всего Клименко спрашивает о Погибе и Бараболе, внимательно выверяет и записывает их приметы, не может простить, что Пидипригора не уничтожил Погибу, и внезапно делает для себя три вывода: гадуки во всем мире кусаются, сотник в самом деле не кадровый офицер, его профессия – учитель.

Когда Пидипригора, обливаясь потом, закончил свой рассказ, Клименко спросил только одно:

– Из главного ничего не забыли?

Данило оценил деликатность военкома: тот спрашивал, не утаил ли он что-нибудь.

– Я все сказал, как на духу. – Данило открыто посмотрел в глаза Клименку. – Мы с женой решили, что я скажу всю правду, как бы она горька ни была.

– И очень хорошо решили, – одобрительно кивнул головой военком. – Заполните еще анкету.

В это время отворилась дверь, и на пороге появился исхудалый смуглый юноша, опирающийся на госпитальную палочку.

Клименко быстро пошел ему навстречу, радостно поздоровался, усадил гостя на стул и лукаво повел правой бровью, которая у него была выше левой.

– Снова, Киндрат, за материалами пришел? Или, может, чего доброго, так просто – посидеть?

– Снова за материалами, – сокрушенно вздохнул Киндрат. – Расскажешь ты наконец что-нибудь про себя или нет?

– На досуге, на досуге. Сегодня некогда.

– Не первый раз я это слышу. Пойми, твои материалы для истории нужны.

– Не для истории, а для твоей брошюры, – уточнил Клименко и, чтобы загладить нанесенную этими словами обиду, извиняющимся тоном проговорил: – В самом деле, друг, сегодня не могу. Ты вот, между прочим, и про петлюровщину пишешь. Может, поживишься чем-нибудь от бывшего сотника? – И он показал на Пидипригору, который как раз заканчивал писать анкету.

– Интересно, интересно! – с готовностью согласился смуглый парнишка, подсаживаясь поближе к Пидипригоре. – Вы сможете совершенно откровенно поделиться со мной? Только абсолютная откровенность!

– Смогу, – неохотно согласился Данило. – Но боюсь, что я многое не так понимаю, как вы, и вам покажется, что я не откровенен.

– Для меня ценнее всего узнать, как именно вы понимаете, – успокоил его Киндрат. – Вы до гражданской войны принадлежали к какой-нибудь партии – к эсдекам, руповцам или туповцам?¹²

– Нет, партийная борьба меня никогда не привлекала и не интересовала.

– А что же вас интересовало?

¹² Эсдеки, руповцы, туповцы – члены социал-демократической, рабочей и трудовой партий на Украине в предреволюционные годы.

- Художественная литература и этнография.
- Что-нибудь собирали, печатались?
- Несколько этнографических зарисовок опубликовал.
- Как же вы к Петлюре попали?
- Это невеселая история.
- Понимаю. Однако что вас, как интеллигента, потянуло к нему?

– Только обстоятельства... – Данило со вздохом поглядел в окно, собирая воспоминания, на которых, как на ниточке, висела его жизнь.

За окном с одной стороны надвинулась туча, с другой – сияло солнце. А на земле в колдобине играли и дрались воробьи; ласковые лучи солнца собирали росу со спорыша; через улицу шла, изогнув стан, молодая женщина с полными ведрами, вода в них, покачиваясь, ловила солнце. Это все было жизнью. А как назвать то, чем переболел и что перестрадал не он один? И нужно ли все это безумному юнцу, который все равно подстрижет его в своей брошюре под одну гребенку со всеми?..

Он еще раз смерил глазами Киндрата и приступил к рассказу:

– Я хорошо помню весну восемнадцатого года, когда на украинский трон сел цирковой гетман Скоропадский. Тогда он в киевском цирке целовался с землевладельцами и торжественно говорил им: «Молю бога, чтобы дал нам силу спасти Украину». Вы знаете, что силу ему дал не бог, а кайзер, и от этой силы Украина застонала под шомполами карательных экспедиций. Да если бы еще дело ограничилось шомполами! У нас на Подолье, в Браиловщине, немцы и гайдамаки даже к виселицам устраивали очереди, не в силах сразу перевешать всех несчастных мужиков, провинившихся перед баринном или перед его управителем. Ну, село и взялось за топор и вилы. Крестьянские отряды разворачивались в лесах, готовясь к смертному бою. А в это время в Белой Церкви Петлюра поднял сечевых стрельцов, напечатал свой универсал против Скоропадского, назвал его царским наемником, предателем, самозванным гетманом и объявил его вне закона за преступления против независимой Украинской республики, за массовые аресты, за разрушение сел, за насилия над рабочими и крестьянами. И тогда ему многие поверили, поверил и я. Попрощался с женой и отправился в Белую Церковь освобождать Украину от иностранцев и своих помещиков. Думалось тогда, что иду под знаменами свободы выметать феодальный сор. Ну, а дальше вы знаете – от паршивого берега отчалил, да к паскудному и прибился.

– Это верно, – кивнул головой Киндрат. – Вот вы постепенно поняли, что петлюровщина – путь измены, почему же вы раньше не порвали с ней, не пристали к красным?

– Страшно было, – признался Данило. – И не только за свою шкуру... Вы хотели откровенного разговора? Я скажу вам все, что и до сих пор пугает меня. Это национальное чувство. Петлюра сперва сумел набросить на нас национальную сорочку и уверить, что большевики против украинской нации. И в этом, как ни странно, ему помогли некоторые ваши военные и политические деятели великодержавного направления. Меня – и не одного меня – больше всего смущали мысли, что национальное движение в условиях империалистического развития может носить лишь контрреволюционный характер.

– Вы имеете в виду высказывания Бухарина и Пятакова? – спросил военком.

– Да, я говорю про высказывания Пятакова, Бухарина и про страшную практику Муравьева и некоторых низовых руководителей. Украинская интеллигенция очень болезненно восприняла препятствия национальному возрождению и развитию, неясности в вопросе об украинской государственности и языке, а Муравьев своей провокационной резней бросил черную тень на большевиков. До сих пор он и здесь и за границей зовется не иначе как «Калин-царь, из Орды, из золотой земли, из Магази богатой». На нем и на свежих ранах украинской интеллигенции до определенного времени ловко играл Петлюра. А вы, верно, и сами знаете, как он умел говорить! Природа не дала ему ни таланта полководца, ни размаха государственного деятеля, ни мастерства литератора, ни даже порядочности обыкновенного человека. Но она наделила его редкостным даром красноречия. Так и

держался и держится он на чужих штыках и на своем языке... Ну вот, я и ответил, почему раньше не порвал с атаманщиной. Неясность в национальном вопросе мучила меня до последнего времени.

– Вы говорите – мучила. Теперь не мучит? – Военком встал, вспоминая кровавую муравьевскую оргию.

– Вроде поменьше, хотя я не во всем еще разобрался.

– Что же вас заставило иначе думать?

– Сама петлюровщина. Я видел, что она только эксплуатирует национальное чувство, а сама продает Украину иностранцам. Ну, и величайшее впечатление произвел на меня приказ Красной Армии, подписанный Лениным, где было сказано, чтобы Красная Армия шла на Украину как защитница украинцев и украинской культуры. Вот коротенько и все о падении и страданиях одного человека. – Данило невесело, одними глазами, улыбнулся, встал и спросил у военкома: – А теперь мне в Чека?

И тут он почувствовал холодок под сердцем: приближалась, кажется, самая страшная минута его жизни; ему приходилось столько слышать о Чека, что он пугался, даже встречая в газетах это слово.

Военком посмотрел на него, прищурился, и на висках его заиграли лучистые морщинки.

– В Чека, я думаю, вам незачем идти. Сегодня все оттуда выехали в одно из отдаленных сел уезда. Материалы я передам.

– Что же мне делать?

– Отправляться домой, – улыбнулся военком. – А сперва можно зайти к заведующему унаробразом. Вскоре отдел народного образования собирается открыть курсы по переподготовке учителей. Подучитесь – пойдете учительствовать.

– И меня пошлют учительствовать? – Данило не верил своим ушам, он решил, то над ним глумятся.

– Непременно пошлют. Учителей у нас не хватает. А работать вам надо не за страх, а за совесть.

– Господи, да я за троих... – Данило опустил на стул, полез в котомку за оружием, но тут же поднял руку и вытер лоб.

Когда он с несказанной благодарностью взглянул на военкома, тот только лукаво прищурился.

– А господа теперь пореже поминайте. Вряд ли он вам поможет.

– Данило радостно кивнул головой, а сам подумал: «Господи, неужели все страхи, все муки закончились, как в рождественской сказке?»

XX

Земля не может жить без солнца, а человек без счастья. В часы больших переживаний и тревог сердце наше похоже на родничок, который очищается от ила, – тогда познается истинная цена человечности, познается и счастье. В такие времена с удивлением узнаешь, как мало и как много надо тебе на веку, как плохо ты шел по своей дороге, как заученно повторял «добрый день», не творя этого доброго дня и, хуже того, сетуя на него, ибо щепки будней часто заслоняли для тебя золото лучей.

Такие мысли теснились в голове Данила Пидипригоры, и он растроганно смотрел и на землю, и на жену, и на ребенка. Он видел солнце и улыбался ему, дул на белые волосенки Петрика и задыхался в волнах нежности; он целовал стройные ноги жены и благоговел перед святостью женского тела.

Как на золотом снопе, лежала жена его на своих расплетенных косах, и ее милое, почти детское лицо напоминало ему святую Инессу Риберы. Она и до сих пор стыдливо прятала от него грудь и до сих пор опускала перед ним большие глаза, не познавшие еще, что такое страсть и что такое ложь. Его даже подчас пугало это: за что она могла его полюбить? Может

быть, она просто вышла за него, как выходят замуж девушки, сами не зная зачем, в свои шестнадцать лет? Заворожит за воротами молодой месяц, ударит хмелем в голову терпкий поцелуй – и, глядишь, унеслось навек девичество, как волна по реке...

Нет, не такой была любовь его Галочки. Сердце ее уже обращалось к Нечуйвитуру, когда он, Данило, увидел ее. Для нее Нечуйвитуер был набатным колоколом, а он стал дудочкой, негромко перебирающей журчание знакомых мелодий. От звука колокола было радостно, просторно и страшно; он гремел от Украины до самой Сибири, а дудочка вела прямо в петровчанские ночи, к душистым стогам, к розмай-траве и любви. Девичья душа повздыхала по великому, неведомому и повернулась к привычному, к знакомым берегам. И вот уже по вечерам вместо: революция, партия, восстание, прогнивший царизм, буржуазия, кадеты, октябристы она слушала: рыбонька, ласточка, горлинка, сердечко – да изредка про автономию Украины и ее национальные притязания.

Летом они встретились, зимой поженились. На свадьбу пришли все приглашенные, кроме Нечуйвитура: в день их свадьбы у него был обыск, и жандармы погнали его в острог, только и успел передать через хозяйку квартиры шелковый платок для невесты. И этот цветастый шелк лег не на голову, глубоким укором лег он на совесть. Галя в смущении спрятала платок от себя и от мужа и только теперь, через несколько лет, надела его, потому что больше нечего было надеть. Данилу почему-то пришло в голову, что большевизм, быть может, становится необходимым не сразу, не каждый легко приходит к нему, – но об этом после, а сейчас он хочет только насладиться счастьем человека, возвращенного к жизни, раствориться в этом счастье без остатка.

Вечер льет в их комнату потоки несказанной сини, на небо выходят частые сентябрьские звезды. А может, это не звезды, а небесные слезы, дрожащие на ресницах ночи и тихо скатывающиеся на землю? Он чувствует, как этот вечер, и звезды, и стыдливая улыбка жены распрямляют его согбенную душу, омывают ее новыми надеждами.

– Галя! – Он склоняется к ней, подсовывает руки под ее плечи.

– Что, милый? – шепчет она.

– Ничего. Просто хорошо, что есть такое слово на свете.

– А я так же про твоё имя подумала.

– Да? – И он еще ниже склоняется к жене и ощущает на своих щеках прикосновение ресниц. И это тоже счастье.

У каждого человека, как бы он ни был скверен, есть свой чистейший уголок в душе или хоть воспоминание. А у него было два таких прибежища: вешняя земля, запомнившаяся ему с детства: с желтыми от курослепа прогалинами, с вогнутыми дисками озер – да чистая душа жены. В годы разлуки он грезил землю своего детства, этими лужайками, на которых белились полотна и грубели ступни; в мечтах земля становилась во сто крат краше, и он неизменно видел на ней свою жену. Но когда он однажды за ужином заговорил об этом с товарищем по оружию Евсеём Голованем, тот только дольше задержал под усами снисходительную усмешку.

– Все это идеализация и стилизация, невытравленная психика отсталого мужика, для которого и до сей поры круторогие волы – ценнейшее сокровище, а стыдливая девчонка – идеал красоты.

Не умудренный, а испорченный Европой Головань преклонялся перед ее разумным практицизмом, стабильной государственностью западных стран и психологизмом, анализирующим до атома переживания и королей и проституток. Он знал несколько иностранных языков, а по-украински разговаривал с холодностью чужеземца, все, связанное с духовным миром украинца, легко окрестил застывшей стилизацией и отворачивался от таких вещей, как от чего-то низшего, доисторического. Ключок родной земли, простая девичья песня и женская добродетель уже не могли всколыхнуть ему душу – он привык жить и любить по-деловому – быстрее, чем жили и любили под украинскими вечерними зорями стыдливые деревенские девушки.

Отчего все это вспомнилось Данилу? Да просто по канве его счастья вышиты тени

былого, страх перед будущим. Ведь кто знает, что с ним будет завтра: южное крыло фронта еще нависает над самым Бугом. Он отгоняет от себя дурные мысли и подходит к люльке. В корзинке из прутья спит маленький человек, изредка чмокая губами, – это во сне ему кажется, что он припал к материнской груди. Как все это чудесно устроено на свете!

– Спит? – обеспокоенно спросила жена, вставая с постели.

– Спит.

Он прикладывает палец к губам и подходит к столу, где возле чернильницы лежат листки бумаги. Сегодня, после долгого перерыва, он со вкусом писал свои этнографические заметки, вплетая в них песни и поговорки. Для него эти заметки пахли золотыми полями, добрым духом ржаного хлеба. Они были полны светлыми верованиями человеческой души.

В снях смешными, ломающимися голосами опять запели молодые петушки. Петрик проснулся, заплакал. Мать бросилась к нему. А Данило, улыбаясь, подошел к окну.

За окном, рассыпаясь, катилась звезда, ее последние зеленоватые капельки упали росой на землю, и в их отсвете на миг яснее проступила во тьме чаша дерева. По дороге проехала бричка и вдруг остановилась у забора. Из нее мягко выпрыгнули три человека и, пригибаясь, бросились к школе. Руки у них были так вытянуты, что всякий бы догадался – они держали оружие. Осторожные шаги совсем не тревожили землю, залитую половодьем синевы.

– Галя! – задыхаясь, прошептал Данило и отстранился от окна, за которым стала тень неизвестного.

Она по голосу поняла, что случилось недоброе, бросилась к мужу, и тут в дверь постучали.

– По мою душу пришли, Галя.

Он обнял жену, поцеловал ее лоб и косы.

– Не может быть, не может быть! – Она дрожала всем телом. – Ты же во всем, во всем признался.

«А может, это бандиты?» – вдруг обожгла его мысль, и он пожалел, что отдал оружие.

Дверь уже гремела под ударами. Он отстранил жену, достал из-под кровати топор, подошел к порогу.

– Кто там? – спросил одеревеневшим голосом, слыша позади плач Галины и Петрика.

– Отоприте, гражданин Пидипригора! – донесся властный голос, отдаваясь эхом в снях.

– Кто вы будете?

– Из губчека.

На крыльце послышались шаги еще двоих.

Топор выпал у Данила из рук. Жена вскрикнула, бросилась к нему, а он уже не ногами, а всем телом двинулся вперед, заболевшими руками отпер дверь. Электрический фонарик ослепил его, чьи-то жесткие губы спросили:

– Вы гражданин Пидипригора?

– Я, – механически ответил он.

И жесткие губы скомкали его душу.

– Именем республики вы арестованы.

– За что? – вырвалось у него.

– За что? – стала между ними Галина.

– Вам виднее, – раздался безжалостный ответ, а второй фонарик уже гулял веселым глазом по его комнате, освещая волосы жены, Петрика в люльке, чистую бумагу на столе...

Данила под руки вывели на улицу, усадили в бричку. К его ногам еще раз припала жена. Ее оторвали, бричка тронулась; по обочине с криком бежала женщина, позади нее колыхался темный сноп волос.

Один из конвоиров оглянулся, пожалел:

– Славненькая!

Данило рванулся с кожаного сиденья.

– Пустите, пустите! За что вы меня?..

Но дюжие руки скрутили его. Он, до боли выгнув голову, увидел только, как жена упала наземь. Маленькая, вдали от него, она лежала, как сноп, неведомо кем потерянный на пыльной дороге.

А бричка мчится уже по сонному тракту, вековые липы черными птицами отлетают назад, словно распятые надежды, удаляются кресты, оборонявшие село от тифа, и копыта лошадей выбивают одно и то же мучительное слово: «Губ-че-ка, Губ-че-ка!»

XXI

На солнце под роями мошкары плавится лесной прудок Ивана Сичкаря. Под берегами зеленеют курчавые тени ивняка, а в глубине расплетается кружево туч.

От берега незаметно отходит челнок; в нем, согнувшись, в очках на носу, сидит седобородый дед Ивана и читает святое писание. Прежде он по праздникам заглядывал в божественные книги, а теперь, когда руки не пригодны больше ни к какой работе, сидит над Библией и в будни.

Челнок покачивается на воде, в глазах рябит от букв, и за прудом возникают далекие царства, грозный еврейский бог, смиренный Иисус и его апостолы. И старик, сплетая давнее с сегодняшним днем, тяжело вздыхает: прежде-то по земле ходили боги да угодники, а теперь шляются сатанинские дети. Что уж говорить о чужих, когда он своего родного внука побаивается. И старик поворачивает голову к высокому частоколу, который так плотно огораживает постройки, сад и огород, что и ужу не пробраться.

Старый Никодим побаивается своего внука – у этого разбойника нет бога в душе, – и хотя Ивану сегодня снова отправляться в тюрьму, это не печалит деда.

«Хоть бы его, вражьего сына, там научили человеком быть. Ведь нет у выродка тепла ни к людям, ни к скотине. Забарышничался до мозга костей».

На заросшей спорышом и травой дороге, где белеют только неглубокие колеи, показывается Данило Зяйтчук. Вот он увидел старого Никодима, улыбнулся ему грубо вытесанным лицом, снял старый, залоснившийся картуз и загудел над разомлевшим прудом:

– Добрый день, дед Никодим! Как здоровьечко? Перезимуете еще?

– Какое уж здоровье у деда!

– Теперь и у молодых не больно звонко. – Загорелая лысина Зяйтчука переливается на солнце. – На корню убивают и людей и здоровье.

Старик поднимает палец, поучительно произносит слова святого писания:

– И не бойтесь убийц тела, ибо душу нельзя убить.

– Душа душой, а и тела жалко, – вздыхает Зяйтчук и вплетает руку в спутанную бороду. – Иван дома?

– А где же ему быть!

– Собирается в дорогу?

– Должно, собрался уже. Ступай к нему скорей, а то, чего доброго, без тебя и водка скиснет.

– Ге-ге-ге, не скиснет, дед, мы ей как-нибудь сообщу пособим! – смеется Зяйтчук и бодро направляется на пропахший лесом двор.

Здесь его поражает новшество: вдоль всего частокола густо сплелись деревца боярышника.

«Вот сукин сын, догадался огородиться – теперь никто не перелезет, а кто и полезет, без глаз останется», – думает Зяйтчук, осматривая колючую изгородь.

Возле разинутой пасти парильни смазывает колесной мазью железные оси брички батрак Сичкаря, и даром что на парне вместо одежды лохмотья, он беззаботно насвистывает «Метелицу», а все его тело и даже кисть пританцовывают при этом. Зяйтчук не раз замечал, что этот бесенок даже в церкви приплясывает, а на гулянках выкидывает в своих отрепьях такие коленца, что и мертвец не улежит, глядя на него.

– Павло, где дядя Иван?

Белоголовый Павло Троян проворно оборачивается к Заятчуку и указывает кистью в глубину двора.

– На огороде!

– Покидает тебя хозяин?

– Да, вроде едет, – отвечает паренек, переходя на другой мотив.

– Может, у тебя мало будет работы? Так переходи ко мне, – понижает голос Заятчук. Он знает, что у Павла в руках все горит, и не первый день собирается переманить его.

– Может, и сойдемся в цене, ежели харчи будут как у людей.

В уголки серых глаз Павла заползает насмешка. Ему давно уже осточертело служить у немилосердного Сичкаря, который даже собственную жену молотит, как сноп. В прошлом году мальчуган хотел было сбежать к красным казакам, да не взяли – не дорос до коня и шашки. Жаль, не догадался увести у хозяина жеребца, – тогда приняли бы.

Заятчук подходит ближе к Павлу и тихо, сочувственно говорит ему:

– У меня, парень, в таких отрепьях не будешь ходить. Забегай завтра, поговорим. – И степенно проходит на большой, в две десятины, огород Сичкаря.

За спелой кукурузой с почерневшими уже космами кланяется в пояс неубранное просо, дальше голубеет капуста, а за нею гнутся подсолнухи. Между ними ворочается тяжелая туша Ивана Сичкаря: он секачом обрубаёт постаревшие головы подсолнухов, оставляя на изувеченных стеблях нетронутые кружочки молодых цветов.

Заятчуку эти высокие стебли подсолнухов чем-то напоминают людей; он смотрит, как Сичкарь мастерски орудует острым секачом, и смеется:

– Рубишь головы отцам?

Сичкарь как будто понимает, о чем подумал Заятчук, – махнув секачом, он кладет себе под ноги большую голову многодетного подсолнуха и значительно отвечает:

– Отцам и следует рубить головы, а дети пускай живут.

Его низковатый голос и усмешка на обезображенном лишаями лице обдают гостя холодом, и тот уже кается, что захотел переманить к себе Павла. Может, лучше поговорить об этом с самим Иваном, ведь и он не больно-то доволен своим батраком?

По дорожке, размахивая широкими рукавами белой сорочки, спешит дородная, коротконогая и быстроглазая Зинька, жена Сичкаря; от ее пестрой, красной юбки испуганно отскакивают, словно отдергивают руки, вершинки черного проса. С проса взлетают воробьи, распевая свое «жив-жив».

– Иван, ступай скорее, гости сердятся! Нашел себе работу! Добрый день, Данило!

– Доброго здоровичка, Зинька! Красивеешь? – Он любит тугим, налитым здоровьем лицом женщины.

– Где уж нам теперь красиветь! – приложив руку к груди, вздыхает она для Ивана, а сама играет глазами для Данила, который хоть и некрасив, да силен, как вол.

Иван, глядя на жену, грустнеет. Не больно-то ему хочется покидать все это приволье и отправляться за каменные стены тюрьмы. Надо же было тогда заупрямиться! Завез бы зерно – и не грызли бы казенные клопы. А всему виною Мирошниченко. Ну, да не долго Свириду землю топтать! Пойдет как миленький туда же, куда и Пидипригора.

Сичкарь подходит к дорожке, где лежат сапоги, отряхивает с одежды золотистую пыльцу подсолнуха и, стоя, бережно обматывает онучей полную, выбеленную жиром ногу. На подсолнухи все с тем же «жив-жив» налетают воробьи. Над Сичкарем носятся запахи конопли и надрубленных подсолнухов, и от этого еще круче замешивается в нем злость на Мирошниченка.

В хате уже накрыты столы, но гости толпятся возле порога и сундука. А когда входит хозяин, с сочувствием здороваются с ним, вздыхают, морщатся и садятся на топчаны и лавки. Кто-то вспоминает, что нет старого Никодима, но Зинька под одобрительный смех поясняет, что при новой власти дед заглядывает не в грешную чарку, а только в святую книгу.

– Дай боже нашему Ивану добрую дорогу, да чтоб скорей возвращался к хозяйству и к

жене! – торжественно поднимает чарку Ларион Денисенко.

Гости выкрикивают: «Дай боже!» – а Иван в это время грустно переглядывается с Настей, которой, верно, больше всех жаль, что он уезжает из села. Даже ее навек обозленные глаза подергиваются тенью. Зинька видит, куда смотрит муж, и кипит от злости, но не выказывает своих чувств, а манерно собирает губы в оборочку. Если он и в такое время заглядывается на эту, то нечего ей, Зиньке, тосковать по своему благоверному.

Сидели все недолго – не с чего было веселиться, да и большинство из них думало не столько о Сичкаре, сколько о своей земле.

Прощавшись и проводив гостей за ворота, хозяин еще раз грузно прошелся по двору, забросил на бричку тугую, завязанную у самого края суму с харчами, бережно уложил в ногах две бутылки с самогоном и посадил жену на задок.

Павло запряг лошадей и хотел было вскочить на бричку, но Сичкарь взял у него кнут.

– Оставайся дома, я сам буду править.

– А назад как? – удивился парнишка.

– Хозяйка управится, – кивнул Иван на жену. – Пускай приучается при новой власти.

Добрые кони вылетели со двора, промчались мимо пруда, где, согнувшись в челноке, все еще внимательно читал святое писание старый Никодим.

– Что же ты Павла не взял? – спросила жена. – Я этих лошадей как огня боюсь.

– Учись сама править, теперь коммуна идет, – отрезал муж и до самого села не промолвил больше ни слова.

«О Насте думает», – еще больше обозлилась жена.

В селе Сичкарь, словно напоказ, останавливался возле дворов родичей, нес впереди себя бутылку и, выпив по чарке, снова петлял по улицам, не минув ни близкой, ни дальней родни.

Все село видело, как Иван Сичкарь прощался со своим родом, отправляясь в тюрьму.

XXII

Сентябрьское солнце незаметно опустилось за растреснутые неплотные облака и тотчас расстелило далеко за лес недобеленные холсты. У опушки злобно прокартавил, протокал пулемет, и, задыхаясь от страха, по-женски заахало эхо на леваде.

Докия, прислушиваясь к выстрелам, остановилась возле перелаза.

«Опять, верно, банда объявилась. Не напали ли на комитетчиков?» Она вздохнула, думая не столько о банде, сколько о Тимофие. Он снова, еще до рассвета, ушел делить барскую и кулацкую землю и все еще не возвратился домой. Неумной женской болью защемило сердце: какая бы ни случилась беда, Докия первым делом тревожится за мужа, за всех родных да кровных, не зная кого и просить, чтобы хранила их судьба от напасти.

Подумать – сколько лет прошло с тех пор, как молчаливый, суровый Тимофий впервые неумело приласкал Докию, уже и сына какого вырастила, а все и теперь, как девушка, любит, как девушка, тоскует по мужу, хотя на людях ни одним словом не выказывает своих чувств... А когда появился на свет Дмитро, когда раскрылся светлый и тревожный мир материнства, в ее любовь не приметно влилась еще новая струя: Тимофий стал для нее не только отцом ее сына, но как бы и ее отцом. Может быть, потому, что как раз в ту пору умер ее старый отец. И до радостной боли хорошо было Докии, в сумерки встречая возвращающегося с работы мужа, прижаться к нему, положить голову на грудь и вдохнуть не выветрившиеся из складок его одежды запахи широкой степи или хмельного леса.

– Эх, ты! – коротко скажет он, улыбнется черными грустными глазами и, как ребенку, положит ей на голову сильную руку.

– Соскучилась я по тебе, Тимофий! Так соскучилась, будто ты вот только с германской войны пришел.

– Чудно! – Он снисходительно глянет на нее и по привычке задумается, погрузится в свои заботы.

...Солнце выскочило в узкий просвет меж облаками и бросило под ноги женщине живую, узорчатую тень раскидистой яблони.

Вдали звонко зацокали подковы, и вскоре показались четыре всадника на рослых, гладких конях. Трое верховых были в буденовках, а четвертый, очевидно командир, в кубанке.

За плечами карабины, на темно-синих галифе красные лампасы. Обгоняя верховых, бешеным наметом промчалась пулеметная тачанка, и высокий вихрастый казак, молодецкато стоя во весь рост, что-то крикнул всадникам через плечо. Те расхохотались, кинули вдогонку пулеметчику какие-то слова про банду Гальчевского и разом, дружно, в лад, запели молодыми голосами песню Богунского полка.

«На банду едут, а смеются, поют, будто им и смерть нипочем! Вот народ!» Женщина проводила кавалеристов долгим, затуманенным взглядом.

Вот уже и скрылись они за поворотом, – может, навсегда. Вот уже и песни не слышно, а сердце все щемит и щемит: тревожится Докия о чужих детях, как о своем сыне.

И уже не слышит она, как подкатывает к воротам пароконная подвода, как входит во двор ее высокий, горбоносый Тимофий.

– Докия! – как из глубины земной, окликает ее глуховатый родной голос.

И она спешит навстречу, одновременно замечая и просветлевшее лицо мужа, и Свирида Яковлевича возле коней, и плуг, и рыбацью снасть на телеге.

– Снова куда-то собрался, Тимофий? Добрый день, Свирид Яковлевич. Заходите в хату, – с легким поклоном приглашает она.

– Доброго здоровья! – Мирошниченко кивнул из-за тына круглой головой, горделиво посаженной на широкие плечи. – Некогда посиделки устраивать, поскорей мужа отпускай. Утром начнем пахать свои наделы.

– Барскую землю? – поразила Докия, как будто не знала ничего, не ждала этого надела, не видела его во сне и наяву.

– Не барскую, свою! – смеется председатель.

– Свою? – все еще недоумевает она. – Своя же десятина уже засеяна.

– Теперь и эта своя. Барская была да сплыла.

– Значит, барскую? – переспрашивает Докия, словно желая, чтобы чье-нибудь слово еще раз подтвердило ее радость.

– Да не барскую же, а свою! – Широколицый, кряжистый Мирошниченко раскачивается от смеха. – Никак не привыкнете, что это уже ваша земля!

– Наша, наша! – облегченно вздыхает она и, все еще не в силах поверить, застывает посреди двора.

Мысли затопляют ее, как паводок. Могучая, теплая волна перекачивается по телу, и Докия уже не видит ни осеннего неба, ни маленького двора, ни черного, покосившегося тына, кое-где поклеванного пулями...

Густо-зеленые утренние поля встrepенулись, переплеснулись через искристый горизонт, заволновались на фоне золотого литья туч и умылись солнцем. И уже не видать на них ни мотков колючей, пережженной непогодами проволоки, ни линии окопов; даже свежие красноармейские могилы омываются всплесками ярой, чубатой пшеницы, горят красными бантами маков, поднимают солнце из-под земли. И не пули подсекают колоски – раскачивает их перепел, счастливый, что теплыми комочками покатались его птенцы по земле, на молодых крылышках поднялись в небо. А она, Докия, идет, все идет с Тимофием полевой дорогой на свою ниву.

Певучий колос ластится к ней, детскими ручонками пазуху ищет, обдает босые ноги душистой росой.

«Неужели все это будет?..»

И она вздрогнула, словно увидела свои бесталанные молодые годы на клочке черной тучи...

...Высохшая степь.

Барская пшеница.

И потрескавшиеся до крови, обугленные губы жнецов. Задыхаются от жары грудные ребятишки, старичками родившиеся на батрацкой каторге. И нет у матерей молока в иссохших грудях, одни соленые слезы в глазах. И капают они на желтые детские личики, на горький тринадцатый сноп.

Вот ее мать на третий день после родов, не разгибая спины, подсекает серпом хрупкую, перестоявшуюся пшеницу. Скрипит зубами от боли, кусает распухшие губы и все-таки жнет, изнемогая над тринадцатым снопом.

– Мама, присядьте, отдохните.

– Сейчас, дочка.

Мать поглядела так, словно все небо хотела вобрать горестными глазами, выпрямилась, отерла пот со лба, охнула и, выронив серп, стала оседать рядом с ним. Она порезала черные пальцы, но кровь не брызнула, лишь несколько тяжелых капель с крохотными пузырьками пены выступили на помертвевшей руке. А на темных от пыли губах высыпал розовый пот.

И тут только Докия с ужасом увидела, что лицо, жилистые руки, исцарапанные ноги матери были черны, словно свежераспаханная, переплетенная корнями вырубка.

– Отлетела жизнь, как сизый голубь. – Над матерью горбатой тенью склонилась пожилая, высушенная солнцем и батрацкой бедой жница.

– Легкая смерть – на работе, – позавидовал кто-то из батраков.

– На чужой работе ни смерти, ни жизни легкой не бывает! – будто из глубины столетий донеслись чьи-то слова.

И под их ноющий осенний шелест перед глазами колыхнулась могила матери, проплыла в ряду других холмиков, как челнок на горбатых волнах. Над могилой пламенеет ярким платочком омытая росой калина. Как невыплаканные слезы, годами падает роса с тяжелых гроздей на изголовье полузабытой батрачки, в нужде родившейся, в муках дочь породившей и в горе умершей на чужом, колючем жнивье. Там, где калина роняет дымчато-розовые капли, гуще кустится и выше растет трава.

Дважды за лето выкашивает ее глухой сторож с седыми спутанными ресницами, и в низеньких копнах сена ветер перебирает грустные странички сотен таких различных и таких похожих одна на другую историй пасынков земли.

...Докия поспешила отогнать тревожные видения и пошла за мужем в хату.

– Приготовь мне в поле чего-нибудь. – Тимофий ласково посмотрел на нее. – Ну, хозяйка, прирезали нам три десятины земли. Рада?

– Три десятины? – Докия, все еще не веря этим словам, подошла к мужу. – И навсегда? Или может, на год- два? – спросила недоверчиво.

– Навечно. Чем теперь не хозяйева? Землю дали, коня дали, плуг на двоих дали. Вот что значит, Докия, закон Ленина, своя власть. – Тимофий твердо прошелся по хате. – Ты назавтра сготовь что-нибудь: люди наши придут, надо же отметить свое счастье, – может, и оно с нами наконец за один стол сядет.

Молодая женщина только головой кивнула, потом улыбнулась своим мыслям, и вокруг ее карих глаз засияли морщинки.

– Хоть бы нам, Тимофий, еще полдесятинки прирезали, было бы целых пять – круглое число.

– Ты гляди, и не ошиблась, – засмеялся Тимофий, чуть ли не впервые заметив, что у жены кожа вокруг глаз светлее, чем на всем лице.

– А что, неправду я говорю? – засмеялась и сама Докия, зная, что подумал муж.

– Так ты подай в комбед заявление. Так и напиши: «Для ровного счета недостает полдесятинки, выкройте где-нибудь».

– Я бы и написала, только бы дали...

– Магарыч поставь.

– И поставила бы.

– А самогонку где взяла бы?

– Выгнала бы такую, что синим пламенем горит.

– Век живи – и все равно женщину не распознаешь! – изумляясь, махнул рукой муж. – Будет скотинка да здоровье, так и на этой земле всходы, что твой Дунай, поднимутся, не придется на чужом пороге пополам сгибаться – в долг просить.

Докия от радости не знала что и сказать. Она всем телом прильнула к мужу, чувствуя, как счастливые слезы пощипывают глаза. От Тимофия веяло осенним полем, поздним, горьковатым листом и терпкой коноплей, которая еще на корню отдает влажной сорочкой труженика.

Вспомнилось ей, что на весеннюю пахоту и ее отец и Тимофий всегда надевали рубахи, в которых причащались. А чем теперешняя пахота хуже! Докия бросилась к сундуку, подняла тяжелую крышку, достала чистую, чуть измятую сорочку, намотала ее на скалку и раскатала.

– Надень, Тимофий, ведь на пахоту едешь.

Он повел глазами на жену, потом на рубаху, удивленно хмыкнул и стал переодеваться – Докия лучше его знала все поверья, связанные с землей, в них еще можно было сомневаться, но пренебрегать ими не следовало. Свежее полотно приятно холодило тело. Эта рубаха соткана из тончайших ниток, какие только Докия сумела выпрясть. Недаром говорили на селе, что у нее из-под пальцев и простое волоконец выходит серебряной нитью.

– Ну, пора мне. Эх, ты... – Хотелось сказать что-нибудь ласковое, но не смог найти нужное слово. Он обнял одной рукой жену и – удивительно! – поцеловал ее черную косу. Потом вышел.

– Тимофий, – она, волнуясь, догнала его в сенях, – не ехали бы вы на ночь! Банда Гальчевского совсем озверела... За землю души выдирают...

Докия говорила так, будто муж и без нее не знал, что делается вокруг.

– Пошли бабьи разговоры! Волков бояться – в лес не ходить. Не долго им на кулацких харчах отъедаться. Да у Свирида Яковлевича и трехлинейка с собой. Ну, не вешай голову. Вот не люблю! Вечно ты переживаешь. Сказано – баба! – И он, сильный, неторопливый, уверенно пошел к воротам.

А у Докии после суровых слов мужа стало спокойнее на душе: пока есть на свете Тимофий, все будет хорошо и нечего бояться. Она заторопилась следом за ним, вынесла порыжелую от непогоды и времени свитку, чтобы ночью в поле Тимофий прикрыв простреленные на войне ноги, и влажными от волнения и счастливой истомы глазами проводила его вдоль большака, по которому недавно проехали конники.

И не пришло женщине в голову, что никогда уже больше не увидит она своего мужа живым.

Вот подвода поднялась на пригорок. Голова Тимофия мелькнула еще на миг и скрылась за развесистыми деревьями большака, влетающего с разгона в нависшие предосенние тучи.

– Чего задумался? – Энергичное лицо Мирошниченка подобралось в осанистой, упрямой улыбке. – Все про землю?

– Эге, – коротко ответил Горицвит.

– Растревожили осиное гнездо. Ишь как завыло кулачье! Ни дать ни взять – волчья стая! Их бы воля – не одного из нас уложили бы за землю в землю.

– Да, – соглашается Тимофий, – помещики-то сбежали, а ихнее семя да коренья в кулацких хатах и хуторах так и шипит. Не отдадут нам богатеи своих полей даром. Придется еще крепко повоевать с ними. Не из таких Варчук и Денисенко, чтобы свою землю дарить. Видал я, какими глазами они на нас глядели. Морщинки на роже у Варчука так и корчатся, точно его живым в могилу кладут. – Горицвит даже вспотел от такой длинной речи.

– Ничто им не поможет. Прошлого не вернешь, хоть волком вой. Да ну их к бесу, гнездо гадючье! Лучше про жизнь поговорим.

Но разговор пришлось отложить – позади зацокали копыта, и мимо промчалась легкая бричка, накручивая за собой косой столб пыли. Сытые кони, закусив удила, вытянулись в

струну и, казалось, не бежали, а летели, разметав крылья грив. Худой черный седок весь подался вперед, свесив согнутые в локтях руки, вот-вот упадет на лошадей. Он обернулся, и черные глаза блеснули неудержимой злостью, задымились синие белки.

– Сафрон Варчук! – удивленно пробормотал Тимофий.

– Тьфу! Куда его черти несут на ночь глядя? Неужто землю отрезанную смотреть? – Мирошниченко даже приподнялся.

– Как бы он в банду не подался. Недаром говорят, с Шепелем дружбу водил, а Гальчевский – правая рука Шепеля.

Пыль, поднятая бричкой, медленно улеглась, только взлетали вспугнутыми птенцами сухие листья.

На дороге, под высоким шатром деревьев, раскачивающим дрожащее, низкое небо, замаячила одинокая фигура.

– Гляди, это не твой Дмитро идет?

К ним легкой походкой приближался стройный белокурый подросток. Густые, с живыми искорками волосы, подрагивая, касались нависших, тяжелых, как два колоска, бровей.

– Добрый день! – поздоровался Дмитро со Свиридом Яковлевичем. – Куда вы? – И в темных глазах блеснул огонек догадки. – Барскую землю пахать?

– Свою, Дмитро. Нету теперь барской. Вся – наша. – Тимофий не заметил, что повторяет слова Мирошниченка.

– Наша! Даже не верится! – улыбнулся подросток и, ухватясь за грядку, ловко вскочил на телегу, свесил ноги и принялся отбивать пятками дробь по шине и спицам колеса. В каждом его движении чувствовалась гибкая, упругая сила, а румянца не погасил и густой загар.

– Не верится, говоришь? – загремел Свирид Яковлевич. – Это тебе, парень, не в экономии за пятиалтынный жилы выматывать. Теперь будешь на своем поле работать. Ты только вдумайся: первейший декрет Советской власти был о чем? О земле! Недавно в госпитале прочел я книгу «Пропащая сила»¹³. Тяжелая книга, про деревню. «Море темной простоты» – вот как написано там об измученных, ограбленных тружениках. И правда: чем отличался мужик от рабочего вола? Вол шагал впереди плуга, а мужик позади над чужим плугом грудь надрывал. А революция нас сразу из моря темной простоты до людей подняла. Без нее никому бы из нас не то что земли – жизни не видать.

– Даже за могилу на погосте надо было платить, – робко вставил Дмитро.

– Не в бровь, а в глаз! – одобрительно заметил Тимофий.

– Это товарищ Савченко объяснял, когда на митинге про союз рабочих и крестьян рассказывал, – оживился парнишка.

Мирошниченко с улыбкой посмотрел на Дмитра.

– Прислушивайся, парень, к таким речам. Это думы о жизни, наши, значит, народные думы. Надо понимать, что к чему, а главное – новым человеком становиться, солдатом революции. Это и есть твоя, Дмитро, дорога. Свернешь с нее – и все, считай – в мертвую воду вошел человек. Счастье мы в обеих руках держим. Важно не развеять его, как полову по ветру, не стать рабом земли, не стать сквалыгой, который и себя и детей своих без толку в землю вгоняет. Понял?

– Понял, Свирид Яковлевич, – ответил Дмитро, глядя в глаза Мирошниченку. – А где теперь наше поле? – спросил он у отца.

– У самого Буга, – ответил Мирошниченко вместо Тимофия. – Хорошая земля.

– И ваше поле рядом с нашим?

– Рядом. Доволен?

– Еще бы! – светлая, детская улыбка сделала удлиненное, по-степному замкнутое лицо

¹³ «Пропащая сила» – роман Панаса Мирного.

подростка еще привлекательнее. – Разве такой день забудешь! – воскликнул он и умолк: может, не так надо было говорить с первым партийным человеком в селе?

– То-то! Эти дни всю жизнь нашу к солнцу поворачивают. – Мирошниченко придвинулся к Дмитру и вдруг покосился на его ноги. – Ты что выделываешь? Покалечиться захотел?

– Не покалечусь.

– Ты озоровать брось, подбери-ка ноги!

– А я не озорую. Я – в такт. Ведь даже когда на верстаке вытачиваешь что-нибудь или строгаешь, всем телом чувствуешь, как последняя стружка идет. Потом смеряешь кронциркулем – точнехонько... Так и тут. Возьмите меня с собой в поле.

– Без тебя обойдемся, – отозвался Тимофий. – Ты ж только из столярки, не поел даже.

– Ну и что ж? День-то какой... Слышите, в селе поют?

– Тут как не запеть? Эх, только бы нам скотины побольше! – задумчиво проговорил председатель комбеда. – Чтобы каждому бедняку по лошаденке дать... А то ведь за тяглом не одному придется на поклон идти к тем же кулакам, землю отдавать исполу... Как столярничаешь, Дмитро?

– Ничего, – сдержанно ответил подросток.

– Знаю, знаю, что хорошо. Старый Горенко не нахвалится: золотые руки у тебя, говорит.

– Какие там золотые! Обыкновенные... Будьте здоровы!

Дмитро смутился, соскочил с телеги и неторопливо повернул в село.

– Славный парнишка! – похвалил Свирид Яковлевич. – Только тоже хмурый, неразговорчивый, в тебя. Сегодня на радостях хоть немного разошелся.

– То и хорошо. Ему с речами не выступать, – пожал плечами Тимофий. – На коня крикнет «но», и ладно. А с земелькой уже и теперь управится не хуже взрослого. Поле не говоруна – работника любит.

– Хм! Куда загнул! – сердито и насмешливо фыркнул Мирошниченко. – По-твоему, вся и наука для парня – коней понукать? Каких только чудес от тебя не наслушаешься! Не для того, Тимофий, революция пришла, чтобы наши дети по-прежнему только скотину за повод дергали. Не для того!

«Это он славно сказал: не для того революция пришла, – запоминает цепким своим крестьянским умом Горицвит, привыкший больше думать и взвешивать, чем обобщать. – С головой человек. И откуда у него что берется?»

XXIII

Земля в непрерывном мелькании то вставала дыбом, то убегала назад, то вновь подымалась горою. Среди разноцветных пятен Варчук безошибочно различал очертания, приметы своих полей. Все они сейчас воплотились для него в круглое число «30». Этот нуль, как страшный сон, преследовал Сафрона, вытягивал из него душу. Даже окрестные поля кружились перед ним, как этот нуль. «Тридцать десятин!» – с тоскливой злобой думал он, и от этих дум ныло и болело все нутро.

Промчавшись мимо хутора Михайлюка, бричка повернула в Литынецкие леса. Сафрон облегченно вздохнул, перекрестился, оглянулся вокруг и снова вздохнул. Ему все казалось, что комбедовцы дознались, куда он поехал, и послали погоню.

Зоркими, настороженными глазами глядывался он в лес по обеим сторонам дороги, надеясь повстречать бандитский патруль. Но никого не было видно...

Измученные лошади, тяжело поигрывая пахами, перешли с карьера на рысь, и зеленоватое мыло падало с покрытых пеной удил на серую супесь, усеянную красными желудевыми чашечками.

Сафрон спрыгнул с брички и мягкой овсянкой тщательно вытер лошадям спины и бока.

Тишина. Слышно даже, как желудь, тугой, будто патрон, перепрыгивая с ветки на

ветку, падает к подножию дуба и отскакивает от травы кузнечиком, чтобы ловчее припасть к земле.

«Неужели выехали? – Варчука пробрала холодная дрожь. – Не может быть! А что, как махнули в другое село? Найду. На краю света найду! Выпрошу, вымолю у Гальчевского, чтобы всех комбедовцев передушил... Тридцать десятин отрезать! Чтоб вас на куски покромсали!»

На висках у него набухли жилы, гудела, разрываясь от боли, голова.

– Но-о, дьяволы! – крикнул он, срывая злость на лошадях, свирепо взмахнул арапником, и две влажные полосы легли на конские спины.

Воронье тяжело затопали по дороге; за брочкой между деревьями торопливо побежало грузное предвечернее солнце.

Когда Сафрон въехал в притихшее село, на землю уже пала роса. Варчук огляделся, и у него на лбу сразу разгладили жгут морщин. На мостике стояли двое бандитов, глядя на приезжего из-под высоких, сбитых набекрень смушковых папах. Неподалеку паслись нестреноженные кони.

– Добрый вечер, ребята! Батька дома? – нарочито веселым и властным голосом спросил Варчук. Иначе нельзя: увидят – робеет человек, и лошадей отберут.

– А ты кто таков будешь? – Высокий, косолапый бандит, поигрывая куцым обрезом, подошел вплотную к Варчуку.

– Двоюродный брат батьки Гальчевского, – уверенно соврал Варчук. – Привез важные вести о расположении Первой кавбригады Багнюка, входящей в состав Второй красноказачьей дивизии.

– Ага! – многозначительно протянул бандит и уже с уважением окинул гостя взглядом узких, продолговатых глаз. – Поезжай в штаб, там таких ждут.

– Где теперь штаб? В поповском доме?

– А где же ему быть! – не удивился патрульный осведомленности Варчука. – Где же лучше – еду сготовят, где лучше – постель раскинут! – Придав слову «постель» особый оттенок, он расхохотался.

У самого моста, под покосившимся плетнем, храпел на всю улицу полураздетый, облепленный мухами бандит. В изголовье у него, рядом с пустой бутылкой, валялась папаха с гетманским трезубцем и грязной желтой кистью; из разорванного кармана, как струйка крови, пробивалась нитка бус и выглядывал угол тернового платка¹⁴.

«За чужими сундуками да первачом им и не видать, чертям, как нас давят...» Сафрон смерил развалившегося у самой крапивы бандита недобрым взглядом. У крыльца поповского дома приезжего остановил вооруженный до зубов часовой.

– Батьки дома нету, в отъезде. – Бандит зорко и неприветливо, исподлобья, оглядел высокого черноволосого гостя.

– Нету? – Варчук задумался. – Тогда я начальнику штаба доложу, Добровольскому.

– Он сейчас занят.

– Что ж, подожду.

– Жди. Только отъезжай на тот конец улицы. Тут стоять не положено. Поскольку порядок!

– Порядок! Опипались самогону – все бурьяны под тынами облевали!

– Поговори еще! Я из тебя одним махом кишки выпущу! – огрызнулся часовой и рванул с плеча винтовку.

– Бабу свою на печи пугай, а мы эту хреновину видали, когда ты еще без штанов... Ну, ну, сукин сын! За меня батька тебе, как курчонку, голову свернет! – Варчук округлившимися черными глазами впился в часового.

¹⁴ Терновый платок – национальный украинский головной убор: либо черный платок с красными розами, либо красный с черными.

И тут кто-то весело воскликнул:

– Го-го-го! Сафрон Андриевич! Каким ветром занесло?

Часовой сразу присмирел и отступил в глубину крыльца.

– Омелян? Омелян Крупьяк? – удивился и обрадовался Варчук и с надеждой ухватился черной волосатой рукой за сухие, костлявые пальцы бандита.

Тот, в красных плисовых шароварах, невысокий, подвижный, стоял перед Сафроном и улыбался, сверкая мелкими острыми зубами. В его темно-серых раскосых глазах, врезанных в тонкую переносицу, блестели затаенные, переменчивые огоньки.

– Добрый вечер, Сафрон Андриевич! И вы к нам? Может, насовсем? Хвалю, хвалю за хватку! Повоевать против коммунии захотелось? – сыпал словами Крупьяк. – Не сидится на хуторе? Припекло? К нам пристать решили?

– И рад бы, да годы не те.

– О годы, годы, что творите вы со мною! – Тряхнув широкими шароварами, Крупьяк стал в театральную позу и засмеялся. – Значит, вести новые батьке привезли?

– Не без того, – уклончиво ответил Варчук. – Да, говорят, нету его?

– Нету. В Майдан Треповский поехал. Учился там когда-то. Ну, и краля у него где-то под Згаром завелась. Он не одной девки батька, – пошутил Крупьяк и первый засмеялся своей остроте.

– Нашел время с бабами возиться! – недовольно насупился Сафрон. – А тут такая беда, Омелян, что хоть в гроб ложись! И если вы не пособите, от нас тоже помощи не ждите. До последнего корешка корчуют, до последней нитки раздеть хотят.

– Отрезали землю? – догадался Крупьяк, и по его подвижному лицу разлилось выражение сочувствия.

– Отрезали! – Варчук задыхался, выдавливая из себя клокочущие слова. – Все равно что меня самого надвое разрубили да на дорогу бросили. Сколько я старался ради этой земли! Только к достатку руки протянул – глядь, все мое добро голякам досталось. Сердце бы вырвали – и то легче! А они – землю!

– Ненадолго, – уверенно заявил бандит. – С запада большие подкрепления идут. Как говорят, на лакомый кусок и Пилсудский сваток. Не сегодня-завтра ударят наши из-за Днестра и Буга. Это, конечно, только зацепка к настоящей драке. А там такая буря подымется, что большевиков как ветром сметет.

– Дай-то бог, дай-то бог! – Сафрон хотел по привычке перекреститься, но, встретив насмешливый взгляд собеседника, отдернул руку и уже просительно заговорил: – Помогите мне, Омелян, век благодарен буду... Не могу я так домой ехать, душа разрывается. Как бы покончить одним махом с нашими комитетчиками? Они страшнее солдат: все знают, ничего от них не спрячешь, в земле найдут. Время сегодня самое подходящее – войска из села на облаву выехали, одни обозники остались.

Крупьяк, перебирая тонкими пальцами желтый плетеный ремешок от нагана, посмотрел на Сафрона с удивлением: он ни разу еще не видел этого норовистого мужика таким жалким и беспомощным. Круглые лиловые подтеки под его глазами теперь опали, а длинный нос на клинообразном лице свисал до самых губ.

– Одни обозники, говоришь? – Крупьяк сразу стал серьезным, обдумывая что-то.

– Больше ни души! – Варчук с отчаянием и надеждой поднял глаза. – Председатель комбеда, главный враг, на ночь пахать поехал. Без хлопот и прикончили бы его... Может, сказать Добровольскому?

– Ни-ни! – нахмурился бандит, и Сафрон застыл в тревоге. Понизив голос, Крупьяк пояснил: – Что-то не доверяю я ему последнее время. Боюсь, как бы к красным но утек. Хитрая штучка! А тут еще амнистии пошли... Ненадежный человек!

«Небось наговаривает, сам в начштаба захотел, – подумал Варчук, зная честолобивую натуру Омеляна. – А может, и в самом деле?» Он со страхом глянул на окна поповского дома: не видел ли его, не ровен час, начштаба? Под темной нижней губой Сафрона нервно перекатывался продолговатый юркий бугорок.

– Что страшно? – резнул неприятным смешком Омелян. – Не дрейфьте, он сейчас занят, самогон сосет. А мы тем временем сделаем налет на ваше село. Ребята у меня как черти! Пожива будет?

– А как же? У иных комбедовцев теперь лошади хорошие.

– Э, кони и у нас есть! Кони – как змеи! На конном заводе захватили! Летишь на нем – ветер уши обжигает, – хвастался Крупьяк. Он ни на секунду не оставался в покое, все его тело ходило ходуном. – Ну, поехали! Время не ждет! – И его раскосые глаза сразу стали тверже и старше.

– Вот это славно! – обрадовался Варчук и, уже не обращая внимания на насмешливый взгляд Омеляна, истово перекрестился и сплюнул через плечо. Боль в сердце понемножку рассасывалась, верилось, что желание его осуществится.

Отчетливо представлялся ему мертвый Мирошниченко, сброшенный в зеленые воды Буга, виделись расстрелянные и порубленные комитетчики, их горящие хаты. И вся его земля снова лежала перед ним – неразрезанная, неподделенная; все его пять полос как пять пальцев на руке. «А то, ишь, сразу палец отсекли. Да что палец – жилы перерезали».

Крупьяк лихо вскочил в бричку и скомандовал:

– Погоняйте к пруду, там мои черти стоят!

Варчук, хмелея от прилива злой силы и восторга, так пустил коней по селу, что глаза сразу подернулись едкой слезою, а по обе стороны дороги нелепо запрыгали деревья и дома.

К нему снова приближалась его земля – она словно выплывала, кружилась и расстилалась перед бричкой, врезаясь всеми своими пятью клиньями в эти незнакомые осенние огороды.

Его сладостные и тревожные видения рассеял Крупьяк.

– Сафрон Андриевич, а кто-нибудь видел, как вы уезжали?

– Разве в селе можно утаить что-нибудь? – Сафрон вздрогнул и пожал костлявыми плечами.

– Ну, а ежели после нашего налета возьмутся за вас, что скажете? Найдется легенда?

– Скажу, был у фельдшера. У меня как раз воспитанница заболела, Марта. Малярия треплет, совсем измучилась девка, так вся и светится.

– Заедете к фельдшеру?

– Непременно. Кусок сала везу ему. Все будет чин чином.

– Я вашу осторожность знаю. – Крупьяк обнажил в улыбке ослепительный ряд мелких зубов, потом снова стал серьезен. – Фельдшер фельдшером, но вы после нашего налета не возвращайтесь в село.

– Где же мне ночевать?

Крупьяк задумался, приложил руку к заломленной набекрень шапке.

– Лошади у вас хорошие, погоняйте в Винницу – прямо в губком.

– Это еще с какой стати? – удивился Варчук. – До такого высокого советского начальства пока, бог миловал, не доводилось ездить.

– Разыщите в земельном отделе моего дружка Ярему Гуркала, передадите от меня привет и кулек, а то на большевистских пайках живот не наешь. И попросите Ярему, чтоб земотдел вернул вам, как культурному хозяину, отрезанную землю.

– Голубчик, и это можно сделать по закону? – удивился и обрадовался Сафрон.

– Культурных хозяев большевики не трогают. А у вас ведь, кажется, и награда была?

– И теперь берегу серебряную медаль. Вот спасибо за совет! Ну и голова же у тебя, Омелян. Министерская!

А тот только вздохнул: он и сам был высокого мнения о своих способностях, но получилось, что даже при петлюровской атаманщине не выскочил в значительные батьки – то ранение, то острый язык, то какая-нибудь случайность отодвигали его в тень, а тем временем двадцатипятилетние сопляки выбивались в послы или министры. Правда, министров этих у Петлюры столько, что на всю Европу хватило бы с излишком, а все-таки честь – хоть в газетах пишут.

В водовороте войны Крупьяк потерялся среди всякого народа, познал и тяготы боев и позор плена, видел царя и Распутина, встречался с Петлюрой и Вышиваным, жил в резиденции баденских маркграфов и в курных гуцульских хатах, но нигде не встречал человека, который был бы доволен своей жизнью. Не удовлетворен был и он сам.

У просторного без ворот двора Варчук разом осадил коней. И тут же его оглушили женские причитания, плач детей и злобные выкрики приземистого, широкоплечего бандита.

– Не дам, не дам! Я кожу до мяса протерла, пока напряла да наткала. Дети вон голые ходят! – Высокая худая женщина в небеленой сорочке и юбке цепкими пальцами впиалась в штуку холста, которую не выпускал из рук озверевший бандит.

– Отдашь, стерва, отдашь!

– Убей, не отдам! Дети, кличьте людей! Спасите, люди добрые!

– Я тебе спасу! Я тебе кликну! – Бандит рванул холст, сверток выпал из рук, покатился веселой дорожкой по зеленой траве.

Женщина ничком упала на полотно, и ее сразу окружил выводок белоголовых заплаканных ребятишек.

Бандит боком, как ворон, обошел их и вдруг выпрямился.

– Ах ты зараза шестидюймовая!

В воздухе стружкой блеснул обнаженный клинок, и женщина в ужасе, прижавшись к земле, закрыла глаза.

Но бандит и не взглянул на нее.

Кошачьими прыжками он бросился к хлеву, возле которого спокойно стояла низкорослая, худая корова с отвисшим, тощим подгрудком и грустными влажными глазами.

Женщина закричала не своим голосом и, заломив руки, бросилась наперерез, но было уже поздно.

Тонко свистнула сталь, и кровь из коровьей шеи брызнула вверх, а затем потоком хлынула на траву. Корова ткнулась рогами в землю, покачнулась и, неловко оседая на передние ноги, рухнула.

– Вот тебе, ведьма с Лысой горы! – Бандит покосился на хозяйку и вытер клинок о траву.

Женщина со стоном обхватила руками голову и опустилась на колени.

– Как рубанул! Чистая работа! Наловчился на людях, – заметил Крупьяк.

– Кто это?

– Кто же, как не наш! Куренным был у Скоропадского. Только пропил и курень и чин.

Бандит подошел к холсту и стал по-хозяйски скатывать его. Теперь ему никто не мешал – женщина не поднималась с колен. Окруженная детьми, она и сама казалась маленькой, – сентябрьские сумерки скрадывали очертания фигур, застывших в горестном оцепенении.

XXIV

Неподалеку от переката, где просвечивали сквозь воду волны желтого песка, друзья поставили вентилю и повернули к берегу.

За обшивкой тяжелой плоскодонки грустно вздыхала вода. С каждым ударом весел все реже загорались на воде золотые прожилки – на берега спускался вечер. Лица Тимофия Горлицы и Свириды Яковлевича, освещенные изменчивыми зеленоватыми лучами, казалось, помолодели, смягчились.

Привязали лодку и по тропинке поднялись на поле.

На гранитную кручу, обрывавшуюся у самого Буга, с разгона вылетел всадник в буденовке и, вздыбив коня, застыл на крутом, искрящемся под лучами утесе.

– Добрый вячор, грамадзяне! – поздоровался он по-белорусски. – На сваю зямельку приехали?

Над высоким лбом, как гнездо на ветру, покачивались льняные кудри, молодые глаза с задорным синим огоньком внимательно оглядывали людей и широкий простор.

– На свою, – прищурясь, ответил Тимофий, и сердце у него дрогнуло, как будто он впервые услышал эти полновесные слова.

«Что со мной делается?» – с удивлением думал он, прислушиваясь к себе и не отрывая глаз от юношески уверенного и веселого лица красноармейца.

И вдруг понял и просветлел. Ведь само слово «земля» звучало теперь иначе: та, прежняя его, жалкая, зажатая кулацкими полями десятинка, от которой, как соты от восковой рамки, отваливались горючие ломти на нивы богачей, совсем, совсем не похожа на его новый надел. Теперь его земля была не обиженной сиротой, не поденщицей, нет, она, как солнце, выплывала из тумана, лежала на виду. И этот молодой боец, видно, так же рад, что Тимофий получил поле, как и Тимофий радуется, что где-нибудь в Белоруссии свои комбеды, утверждая закон Ленина, верно, так же наделяют бедняков землей.

– А вы у себя уже получили землю? – спросил он, подойдя поближе к красноармейцу.

– Маци пише, аж чатыре десятины наделили. Над самую речкаю.

– Над самой речкой? Как у нас? – обрадовался Горицвит.

«Хоть и стара я стала, – пише маци, – а тяпер жиць хочецца», – продолжал красноармеец и засмеялся, блеснув белыми зубами.

– А земля у вас хорошая?

– Бульбу родит... Гэта вона шчира сказала: «Жиць хочецца». Тяпер мы люди вольные.

– Это верно. И старый человек правду чувствует... Чернозем у вас?

– Пяски да балота.

– Плохо. Пшеница, значит, не родится, – даже вздохнул Горицвит. – А вы торфа, торфа в эти пески побольше. В нем сила, даром что трава травой.

– Тяпер можно – коня дали. На плечах не натаскаешь.

– Это верно, – согласился Тимофий. – Домой скоро?

– Пакуль ворогов не доконаем. Словом, скоро.

Он упруго приподнялся на стременах, еще раз внимательно посмотрел вокруг, пустил коня на дорожку, и над полями потекла задумчивая песня:

Ой, речанька, речанька,
Чому ж ти не повная,
Чому ж ти не повная,
З беражком не ровная?

«З беражком не ровная», – повторил мысленно Тимофий вслед за певцом.

Выгнав коня из одинокого островка перестоявшегося проса, Тимофий подошел к обрыву и посмотрел на другой берег.

По ту сторону реки привольно, широко раскинулось зеленое Забужье, изрезанное протоками, мерцающее небольшими округлыми озерками. На фоне багряно-синего заката отчетливо выделялось ободранное, открытое всем ветрам село Ивчанка, жители которого испокон веков гнули спину на бескрайних полях помещика Колчака. Война и нужда наложили на село свою немилосердную лапу: полуразрушенные халупы вросли в землю, сквозь дырявые кровли проглядывали ребра стропил, – казалось, жилища умирают на глазах, как вон тот лучик на крохотном оконце крайней хаты.

Впрочем, кое-где белели и свежие срубы: видно, пошел уже господский лес на батрацкие дома.

– Что, любишься? «Как будто писанка село»? ¹⁵ – словно отгадав думы Тимофия, проговорил Мирошниченко.

– Да, понаписано тут. Еще лучше, чем у нас.

– Понаписано! – вздохнул председатель. – А ивчанцы, увидишь, раньше нас из нужды

¹⁵ Строка из стихотворения Т. Г. Шевченко.

выбьются.

– Почему так думаешь?

– Дружный народ! Славная история у этого села. Кто первыми помещика громил в девятьсот пятом году? Ивчанцы. Откуда сейчас партизан больше всего? Опять-таки из ихнего села. А за работу возьмутся – лес зашумит! Вовек не забуду девятое ноября семнадцатого года. Мы только-только про революцию услышали. Вечером в Ивчанку приехали из города большевики. Люди запрудили всю площадь. И всё старики да дети. Редко-редко раненый фронтовик покажется. А в резолюции записали: «Не глядя на то, что у нас здесь остались одни калеки, деды да бабки, не ходить по нашей земле врагам революции! Возьмем косы, вилы, метлы и сметем их с лица земли. Будем стоять до последней капли крови за Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». И как стоят! Эх, Тимофий, что это за люди! Прошлый год, когда мы с петлюровцами бились...

Но Мирошниченку не удалось закончить рассказ. Из прибрежных кустов тяжеловатой походкой вышел Иван Тимофиевич Бондарь и, не здороваясь, озабоченно проговорил:

– Свирид, тебя начальство зовет. Чтоб сейчас шел. Там из уезда приехали.

– Не слышал зачем? – спросил председатель, берясь за винтовку.

– Не слышал. Да, видно, опять бандиты поблизости объявились. Прямо ну никакого покоя нет. То Шепель, то Гальчевский, то черт, то бес, бей их гром! И до каких пор мы будем мучиться?

Печальные глаза Тимофия сузились, он улыбнулся мягко, задушевно.

– Пакуль ворогов не доконаем... – Он повторил даже интонацию белоруса.

Свирид Яковлевич рассмеялся и хлопнул Горицвита по плечу.

– Ну и ловко же ты!.. Кто же приехал? – обратился он снова к Бондарю.

– Антанас Донелайтис. Дело, выходит, серьезное.

– Антанас? Да, он зря не поедет.

– Вот и я говорю.

Антанас Донелайтис заведовал уземотделом. В 1919 году, когда Литовская Советская Республика была раздавлена Антантой и кайзеровским сапогом, раненый Антанас с группой коммунистов пробился в Петроград. Лечь в госпиталь он наотрез отказался, и тогда послали его на юг, во главе продотряда, состоявшего из матросов-балтийцев. Снова ранение, потом Черниговские леса, борьба с петлюровцами, рейд со Щорсом до самой Винницы и еще одна рана.

На Подолье пришлось долго отлеживаться – открылись плохо зажившие раны, заныли, заскрипели пробуравленные пулями кости. Кое-как подлечившись, Антанас, опираясь на палку, заковылял в губком. У высокого дома сунул свою палку за чугунную ограду и, стараясь не хромать, направился в секретариат. Но там ему сразу испортили настроение.

– На борьбу с бандитизмом не пошлем – вы больны.

– Что же, в собес прикажете идти? – едко спросил он.

– Но иронии никто не заметил, и ответили ему серьезно:

– Можно, работа подходящая.

Все его усилия, доводы, просьбы и даже хитрости оказались тщетными: не пошлем, да и только.

Наконец удалось добиться должности заведующего уземотделом.

В уезде орудовали петлюровские и шепелевские недобитки, и Антанас по целым дням не слезал с коня. Его небольшую, собранную, как у кобчика, фигуру знали во всем Побужье, любили слушать его веселые и горячие речи при разделе земель.

И никто не догадывался, как тоскует сердце юного коммуниста по милой Литве, где остались родители и невеста, где впервые пролилась его кровь. Деля землю где-нибудь за Бугом, он мечтал о временах, когда займется тем же над зеленым Неманом.

– Это где взял? – Мирошниченко только теперь заметил у Бондаря обрез.

– Красноармейцы одного бандита на опушке ухлопали. Насилу выпросил эту игрушку. – На полных губах Бондаря заиграла умная, задорная улыбка.

– А не боишься без разрешения носить?

– Для защиты своей Советской власти разрешения не требуется, – серьезно и твердо ответил Бондарь. – Пойдем, Свирид.

– Будь здоров, Тимофий. Постараюсь до рассвета вернуться. Задержусь – Дмитра к тебе пришло. Досадно! Так хотелось в первый раз пройтись за плугом по своей земле! – Огорчение смягчило жесткие складки упрямого лица. – Пошли, Иван.

– Пошли. – И Бондарь зашагал плечом к плечу с Мирошниченком.

– Точь-в-точь родные братья – оба широкоплечие, крепкие.

Осенняя тропинка зябла на разбухшем, черном от непогоды жнивье. Огородами дошли до школы и тотчас увидели Антанаса. Он сидел верхом на беспокойном, злобно скалившем зубы жеребце и что-то оживленно говорил комитетчикам и нескольким красноармейцам, которые устанавливали посреди улицы трехдюймовое немецкое орудие.

– Мирошниченко, здорово! – Поздравляю, поздравляю! – Донелайтис соскочил с коня и, прихрамывая, подошел к Свириду Яковлевичу. – Ты великий изобретатель! – И он показал рукой на пушку.

– Годится? – Мирошниченко с надеждой заглянул в зеленые глаза литовца.

– Годится! Я ее всю осмотрел! – Бледное, худощавое лицо, открытое, с редкими зернами веснушек, смеялось по-детски щедро и светло.

– Вот и хорошо! – облегченно вздохнул Свирид Яковлевич. – Пушка все-таки!

– Что пушка! Главное – ум! Ум трудящегося человека! Такая выдумка дороже любой пушки!

В 1918 году немцы, удирая, бросили посреди дороги поврежденное орудие. И вот Мирошниченко решил использовать его в борьбе с бандитами. В колесной мастерской он поставил пушку на деревянный ход; кузнецы долго бились над неисправным замком, где недоставало приспособления для оттяжки ударного механизма, потом ловко приклепали к замку здоровенный железный штырь. Мысль председателя была проста: при ударе киякой по штырю боек разобьет капсюль, и снаряд полетит в цель.

Изобретение и радовало и пугало его: «А вдруг ничего не выйдет?»

К сумеркам комитетчики и бойцы были уже на леваде. Антанас разузнал, что остатки разбитой банды Саленка вышли из Барских лесов на соединение с Гальчевским, и бросился наперерез бандитам. Когда выехали в поле, потянуло свежевспаханной влажной землей.

– Сегодня наши пахали, – сказал Мирошниченко Донелайтису, подавляя волнение: он все еще думал о пушке.

Сгущалась тьма. На горизонт, гася потоки багрянца, опускалась туча.

И вдруг край тучи словно зашевелился, оторвался и полетел к селу.

– Разворачивайся! – крикнул Антанас пушкарям.

Кони описали крутую дугу, и ствол орудия, дрогнув, уперся в затянутый мглой запад. Красноармейцы и комитетчики рассыпались по пашне.

Из-под тучи мчались верхом бандиты. Все сильнее гудела дорога, вздымая два крыла пыли к небесам.

Тяжко щелкнул замок пушки. Мирошниченко обеими руками поднял кияку, подался назад и ударил. Жерло выбросило длинный зубчатый язык пламени. Загремело, дрогнула земля. Косматый, прошитый огнем столб земли поднялся перед бандитами, разбух и стал, слабея, осыпаться.

– Так их! – задорно крикнул Антанас, бросаясь к орудью.

Из казенника вырвался горький дым, но его крутые завитки были сразу же смяты новым досланным снарядом.

– Так их! – Мирошниченко снова ударил киякой, и опять поле дрогнуло.

Бандиты, как воронья стая, слетели с коней на пашню. Но над нею сразу брызнул гейзер земли, и маленькие человечки бросились от него врассыпную. Над самой землей беспорядочно замелькали вспышки выстрелов. Из обрезов вырывались огоньки побольше; они казались страшнее, чем винтовочные светлячки, но на самом деле были безопаснее. Иван

Тимофиевич Бондарь хорошо знал это и, вдавив тяжелое тело в землю, неторопливо бил по светлячкам.

Свой обрез он уже успел отдать Степану Кушниру, который лежал на соседней борозде и после каждого выстрела немилосердно ругался: куций обрез сильной отдачей чуть не подбрасывал стрелка над землей.

– Надули, надули вы меня, Иван Тимофиевич! – не выдержал наконец Кушнир.

– Каюсь, был грех, – согласился Бондарь. – Да ведь сам видишь, для пользы дела.

– Вижу! А то разве стерпел бы я? Этим только и утешаюсь. Все меньше погани останется. Верно я говорю?

Но Бондарь ничего не ответил. Впереди, совсем близко, метнулась, выпрямляясь, длинная, неуклюжая фигура бандита; он что-то неистово заорал, но высокий, звенящий крик сразу перешел в слабый хриплый клекот.

– Жри теперь землю! – ответил Иван, перезаряжая винтовку.

– Вот и нету одной контры.

– Всех бы их за одну ночь свинцом успокоить!

– Успокоим! Только не всех сразу. На все свое время, как говорит Мирошниченко... Ох и отдает же! У меня плечо уже криком кричит, – поморщился Кушнир. – Будто отползли бандиты... Вам, Иван Тимофиевич, не страшно?

– Пока что зубами дробь не выбивало.

– А мне страшновато, – признался Степан, и голос его перешел во взволнованный шепот. – Не подумайте, что за шкуру дрожу. Она у меня уж давно задубела. Раньше о смерти не так думалось. А теперь, когда целых четырнадцать держав от нашей молодой державы в норы уползли, страх как не хочется попасть под бандитскую пулю. На своей земле поработать охота. А посмотришь, как ее разное воронье кромсает, сердце разрывается, словно это его, а не землю рвут на части.

– Ну, землю теперь никакой силой не отобрать, – ответил Бондарь.

– И у меня такая думка. Хочется при своей власти пожить. Вот недавно, как начал наш Савченко разьяснять на заводе партийную программу, так просто надежды в сердце не вмещаются. Вся страна перед глазами, как солнце, встает. И так хочется жить, что и сказать нельзя! Словно только что родился. Вы, Иван Тимофиевич, постарше, вы этого и не чувствуете.

– Нет, чувствую, – сдержанно ответил Бондарь, и, подумав, добавил: – Оттого и лежу тут с винтовкой, а не забрался в нору, как барсук... Глянь-ка, откатываются!

– Отходят! Ловко Мирошниченко с пушкой-то сообразил!

– Погоди! Это что за топот из леса? – сказал настороженно Бондарь.

Дорога снова загудела под копытами, и со стороны бандитов донеслись раскатистые выкрики.

– Кажись, чертям подмога пришла! – беспокойно проговорил Бондарь, прислушиваясь к глухому гулу земли.

– Так и есть!

– Эх, не в пору! Опоздай они на какой-нибудь час, от проклятых и духу не осталось бы.

Донелайтис четко отдал какое-то распоряжение, и по полю затопали сапоги красноармейцев. Артиллеристы оттащили пушку назад, потом что-то озабоченно проговорил Мирошниченко, и вот на дороге уже рвались с короткими интервалами снаряды, нащупывая подвижную лаву конников. Но бандиты с гиком и свистом проскочили между разрывами, спешили и черным потоком хлынули в обход отряду.

– Держись теперь крепко, Степан! – Бондарь, пригибаясь, побежал наперерез надвигавшейся лавине.

Кушнир с тоской огляделся, вздохнул и двинулся за Иваном Тимофиевичем, на ходу стреляя из своего громобоя.

Пули наполняли погожую ночь печальным, пронзительным визгом, злобно фыркая, боронили свежую пашню, сбивали гребни отвалов. «Вот какой первый посев принимает

наша земля», – вдруг пришло в голову Мирошниченку.

Небольшая группа бандитов бежала к орудию. Донелайтис и Мирошниченко первыми кинулись им навстречу. Но в это мгновение из овражка коротким, злым перебором по бандитам ударил пулемет, закашлялся и, словно сердясь на себя, снова застрочил отрывисто и решительно.

– Рабочий отряд подошел! – радостно закричал Свирид Яковлевич, простреливая пашню, усеянную фигурками убегающих врагов.

– Почему так думаешь? – спросил Донелайтис, напряженно прислушиваясь к звуку выстрелов.

– Узнаю руку машиниста Фиалковского. Слышишь, как строчит? Коротко, решительно, с душой. По-рабочему!

– Вот хорошо! Теперь Савченко не выпустит бандитов. Ох и молодчина же он!

– К нам идет. О людях первым делом заботится.

И правда, вскоре комитетчики соединились с рабочим отрядом сахарного завода.

– Ну как, орлы? Бьем врага? – спросил, подходя с наганом в руке, высокий котельщик Савченко. Голова командира рабочего отряда даже в сумраке светилась мягкой, волнистой сединой, а глаза горели веселым, юношеским блеском.

После революции 1905 года Павла Савченка, курчавого веселого парня, отправили из Каменец-Подольской крепости в Сибирь. Оттуда он вернулся спокойным, даже строгим человеком. Лоб изборожден морщинами, виски тронуты сединой; вернулся грамотным большевиком-подпольщиком, с немалым партийным опытом. Дома Савченко никого не застал: мать, не дождавшись сына, умерла в холодной вдовьей хибарке, братья и сестры разбрелись по экономиям и заводам на заработки. Управляющий сахарным заводом, помнивший, что у котельщика золотые руки, поломавшись, все-таки принял его на работу. А в 1917 году Савченко с передовыми рабочими разогнал вооруженную охрану, выставленную на заводе его владельцем, князем Коханом, и взял предприятие под контроль профсоюза...

– Кажется, вовремя поспели! – Командир рабочего отряда нагнулся к сырому от росы лафету пушки. – Занятно воюете!

– Ох и вовремя! – весело отозвался Мирошниченко. – Я уж думал... да что говорить, туго нам пришлось. Пропали бы без вас.

– А вы скверное место для маневра выбрали. Артиллерийский огонь перенесем на лес. Свирид, отсекай отступающую контру, пока они без памяти от страха.

– Есть, отсекай!

Савченко бегом бросился к Фиалковскому, нагнулся над ним. Руки опытного пулеметчика дрожали на гашетке, как в ознобе, и, дрожа, извиваясь змеей, пробивалась сквозь замок тугая полотняная лента.

– Э, у Фиалковского пулемет перегрелся! Товарищ Ильин, поднеси пулеметчикам воды.

– Есть, поднести воды!

– Слышишь, как голоса у всех зазвенели? – улыбаясь в короткие усы, проговорил Бондарь.

– Как же не радоваться! Сказано, рабочие пришли! – Кушнир выстрелил, нацелясь на вспышку, и совсем неожиданно мечтательно добавил: – Поглядите вокруг... Видите, как подымается земля с рассветом?

XXV

Потемну из Литынецких лесов не спеша тронулся отряд Крупьяка. В темноте, как туча, движутся всадники, мелодично позвякивают уздечки и стремяна. Позади бандитов едет на своей бричке Сафрон Варчук, успевший незадолго перед тем побывать у фельдшера и раздобыть у него несколько порошков хинина. Сафрон уже раскаивается и ругает себя за поспешность: ну стоило ли, в самом деле, не спросясь броду, лезть в воду? Не обратись он к

Крупьяку с мольбами о помощи, а поговори с ним поспокойнее, может быть, он теперь ехал бы уже не с бандитами, а в губком за своей землей. Какой там ни есть новый закон, а лучше он, чем разбой. Это Сичкарь падок на такие штуки, а он и без них обошелся бы, если б его не тронули, если б не добрались до печенок.

Сафрон до боли в голове думает, как бы ему выскользнуть из этой движущейся массы: ведь кто знает, не заметит ли его кто-нибудь из односельчан... Тогда уж дадут ему норму не в десять десятин, а в три аршина... Перед глазами на миг мелькнуло изгорбленное кладбище, от часовенки долетели голоса певчих, заблестели похоронные свечи. Варчук даже трижды сплюнул через левое плечо, отгоняя дурные видения, но снова повернул голову туда, где их увидел. И вдруг заметил два явственных огонька в поле. Кто это там разложил костры – ночлежники или какие-нибудь голодранцы, получившие чужую землю и не дождавшиеся утра?

К бричке прижимается худущий бандит с искалеченными войной глазами.

– Из Новобуговки? – спрашивает он Варчука.

– Вроде, – неохотно отвечает тот.

– Там у всех такие добрые кони?

– У комбеда и получше есть. Поезжай – достанешь!

– Может, сменяемся?

– Кто меняет, тот без штанов щеголяет.

– Жаль, что ты родич нашего батьки! – смеется бандит и отъезжает от брички.

Отряд уже выезжает на большак, а мысли Сафрона все еще без толку толпятся в голове, и никак он не найдет хитрой дорожки, по которой можно бы сбежать от бандитов. Как он устал от этих мыслей! Никогда еще так не уставал, с тоской думает он, а впереди уже маячит на обочине крест с распятием. Здесь должен ждать его Сичкарь.

Сафрон с Крупьяком берут поближе к обочине, придерживают лошадей.

– Иван, ты тут? – негромко окликает Варчук.

Из придорожного рва, отделяющего липы от полей, поднимается черная фигура, и даже в темноте по силуэту можно узнать характерную сугуловатость Сичкаря, которую еще увеличивает подвязанная за плечами сума с продовольствием.

– Ну, спасибо за помощь, большое спасибо! – Сичкарь почтительно знакомится и осторожно взвешивает в своей тяжелой руке легкие пальцы Крупьяка.

Тот подсвечивает папироской и видит круглые, как клейма, следы ветряных лишаев на залитых сырым румянцем щеках Сичкаря, жуткие отблески папиросного огонька в его зрачках и белках.

Жестокость глаз Сичкаря поражает даже Омеляна. «Только война могла породить такие буркалы», – думает он, вынимая изо рта папироску, чтобы не видеть взгляда своего случайного помощника.

Сичкарь замечает, что смутил Крупьяка, и улыбается: он любит, когда от его пронзительных глаз отскакивают чужие взгляды – стало быть, тот человек слабее.

– Как, Иван, ничего нового нет? – спрашивает Варчук, все еще надеясь, что ему повезет и он сумеет отделаться от бандитов.

– Нет, есть, – подходит к нему Сичкарь. – Мирошниченко по стал ночевать в поле – вернулся в село.

– А Горицвит?

– Остался над Бугом.

Сафрон опасается, как бы ему не пришлось вести бандитов на Мирошниченка, и мысль его лихорадочно работает. Он быстро говорит Крупьяку:

– Экая неудача! Ну, тогда я мигом наведу несколько человек на Горицвита, а Иван пусть мчится к Мирошниченку.

– Добро, – согласился Крупьяк.

Он подъезжает к бандитам, назначает старшего в отряд, отправляющийся в село, отдает короткие команды и взмахом нагайки делит банду на две части. Бандиты срывают с плеч

карабины и обрезы и разъезжаются в разные стороны.

Вот уже и село, забелелись хаты. Бандиты пускают лошадей вскачь, и Сичкарь, вцепившись в стремя, летит во весь дух по пыльному тракту. Ему мешает сума, дает себя знать и сердце. Цокают копыта, цокает и оно, напоминая, что молодость уже позади.

Проклятая сума жмет под мышками, груз белых буханок и сала выжимает из тела пот, он со спины растекается на поясницу, на живот и бедра. В глазах кружатся звезды, хаты. Но вот и двор Мирошниченка. Сичкарь, как пьяный, отрывается от стремян и повисает на воротах. Они скрипнули под его тяжестью, закачались и снова заскрипели. Давно, видно, хозяин не поправлял их. Бандиты со всех сторон окружают хату и овин. Кто-то бьет прикладом в окно, с жалобным звоном рассыпаются расколотые стекла.

– Гей! Выходи, коммуния!

– Выходи, а то спалим всех живьем!

Блеснул огонь, и в хате раздался детский плач.

На него и пошел от ворот Сичкарь. В такт его шагам хлеб в суме ерзает, трет запотевшую спину. Видно, Зинька скверно увязала харчи.

В сенях и в хате уже суетятся бандиты и мечутся тени от факела. Озаренные мерцающими красными отсветами, застыли две маленькие фигурки в одних полотняных рубашонках.

– Где отец? – допытывается худощавый бандит, наставив на детей оружие. Один глаз у него давлен, а другой выпучен, на нем одиноко дрожит отблеск факела. – Слышишь, где отец?

– Я... я не знаю... Он поехал под вечер в поле, – дрожа от испуга и слез, отвечает Настечка, слыша, как под ногами ее раскатываются ягоды терна, рассыпанные бандитами по всему полу.

Сичкарь переступает порог, поправляет суму и вынимает из кармана наган. Он смотрит на детей злобно. Это ведь кровь Мирошниченка. Вырастут – в отца пойдут, помрут – у отца сил поубавится. Мертвые дети хоть кого согнут в дугу.

Он, давя ягоды терна, заложив руку с наганом за спину, подходит к бандиту, ощупывает детей не знающими жалости глазами. На их белых рубашонках мерцает кровавый отблеск, на побелевших личиках ужас. И вдруг Настечка узнает его, искорка надежды мелькает в ее больших глазах.

– Дядя Иван, – вскрикивает она, – спасите нас! – Она закрывает лицо руками, из-под пальцев выбиваются слезы.

– Скажи, Настечка, где отец, тогда не тронут, скажи, дитяtko. – Сичкарь подходит ближе.

– Я же не знаю! Ей-богу, не знаю, дядя Иван! – Девочка смотрит на Сичкаря правдивыми глазами.

Тот понимает, что она не обманывает, и наводит на нее оружие.

Левко в ужасе обхватывает сестренку обеими руками, заслоняет ее собой и умоляет Сичкаря, которого видит впервые в жизни:

– Дяденька, не убивайте мою сестричку! Я вам за это буду даром гусей пасти...

Слово «гуси» чем-то поразило Сичкаря, вспомнилась песенка раннего детства: «Гуси-лебеди, летите, меня с собой захватите...» Он вдруг заметил, что к волосам Левка прилип желтый лепесток подсолнуха, и вспомнил свой ответ Зяйтчуку: «Отцам надо рубить головы, а дети пускай остаются».

Будь дети немыми, он бы оставил их жить; может, и пасли бы они гусей, а может, и в школу пошли бы...

Два коротких выстрела – и дети разом падают. И в это самое время из развязавшейся сумы Сичкаря выскакивает буханка, колесом катится к детям, по полу, где уже темнеет детская кровь и раздавленные ягоды. А Сичкарь с наганом в руке бросается к хлебу, подымает буханку, старается поглубже засунуть ее в суму.

Худощавый бандит, который зарубил немало живых душ и привык к убийству как к

ремеслу, посмотрел на него своими разными глазами.

– Обеднеешь без этого хлеба?

– Это уже не хлеб, а улики, – отвечает Сичкарь и змеей выскальзывает из хаты.

XXVI

Луна взошла поздно, и облака, растрюшенные, как охапки ромашкового сена, вдруг посветлели, задымились, ожили и побежали на запад. Между берегами неясно обозначилась лента Буга. Лошади дремали, свесив головы, а Тимофию все не спалось.

Погруженный в свои мысли и надежды, он медленно ходил по полю, как никогда еще по нему не ходил. Молчаливый дома и на людях, он теперь, по горицвитовской привычке, вволю говорил сам с собой, без конца советовался сам с собой, а иногда с женой и сыном; все казалось, они рядом, стоит окликнуть – отзовутся на его голос, подойдут.

Слова у Тимофия были теперь теплые, ласковые, как нагретая июльским полуденным солнцем пшеница. И по-новому вставали перед ним извечные надежды и заботы, что живут бок о бок в сердце бедняка, ни разу в жизни не поевшего досыта. И мысли его были поэтичны, как всякая мечта о честной, хорошей жизни.

«Распашем тебя, поле, засеем! Не зерно, сердце свое вложим в тебя, чтобы уродило ты нам счастье, чтобы не было больше на свете нищих да убогих, чтобы не гнало ты своих тружеников на край света за копейкою, за горьким куском батрацкого хлеба...» Всем существом принимал Тимофий землю, данную ему по закону Ленина.

Вспомнился рассказ Мирошниченка. Крестьяне одного русского села пришли к Ленину в гости, принесли ему в подарок каравай хлеба. Принял Ильич тот каравай, поблагодарил людей...

И снова он мысленно любовался и пересыпал в ладонях теплое зерно, которое уродится на его поле. Так вот и шел бы, так и шел бы по нивам до самого края земли, молча беседуя с колосьями, лаская их руками, словно своих детей.

Вдруг неподалеку застучали копыта, прозвучали винтовочные выстрелы, а затем глухо откликнулся пулемет.

По звуку Тимофий безошибочно определил, что стреляют из кольта. Тоскливо, как человек, застонал раненый конь и, вырастая на глазах, промчался, задрал голову, возле самой телеги, а потом круто свернул на восток. Надорванный молодой голос плеснул в небо высокое «ой» и умолк.

Тимофий кинулся было к телеге, но на полдороге вспомнил, что винтовку забрал Мирошниченко, и остановился в раздумье.

Въедливый писк пули, пролетевшей, казалось, над самым ухом, вывел его из оцепенения. Он припал к росной земле и осторожно пополз на выстрелы.

Через несколько минут Тимофий убедился, что неподалеку идет бой, и уже предугадывал его безотрадный исход: четверым красноармейцам не удастся долго продержаться против трех десятков бандитов, которые, спешившись, полукольцом прижимали к реке горсточку смельчаков.

Внезапно пулемет замолчал. Тимофию впервые на миг стало страшно, но он тут же по движениям пулеметчика понял, что тот меняет ствол.

Тимофий весь напрягся, видя, как бандиты взметнулись с земли черными тенями и побежали вперед.

«Только бы успел, только бы успел!» – молила каждая клеточка его тела.

Еще несколько перебежек и... конец.

Молодой встревоженный голос что-то тихо сказал пулеметчику. Тот спокойно и зло процедил сквозь зубы:

– Сейчас, товарищ командир, сыпанем им страху в zenки.

И дуло пулемета, захлебываясь, полыхнуло огнем. Цепь бандитов сразу же с криком и матерщиной бросилась на землю. Красноармейцы под прикрытием кольта быстро отбежали

назад – концы бандитской цепи вытягивались к Бугу.

– Товарищ командир, – Тимофий поднялся и застыл перед невысоким бойцом в кубанке с пистолетом в левой руке, – спускайтесь за мной к Бугу, перевезу на лодке.

– Ты кто будешь? – К нему приблизились пытливые, строгие глаза; в полутьме лицо командира казалось иссиня-белым, почти прозрачным.

– Я? – Тимофий не нашелся что ответить. «Что ты ему скажешь? Еще за бандита примет!» – Бедняк я. За Советскую власть.

– Все! – Пулеметчик выругался. – Ни одного патрона!

Он схватил пулемет и, обжигая руки горячим стволом, еще раз выругался горестно и тоскливо.

С правой руки командира стекала черными струйками кровь. Пуля, должно быть, пробила руку навывлет, и кровь капала с растопыренных болью пальцев, словно все они были ранены.

– Тьфу! Черт!

– Что ты, Иваненко?

– В плечо кусанула, – отозвался лежащий в борозде боец, продолжая бешено отстреливаться.

– Бежать можешь?

– Смогу, товарищ командир.

Под нестихающими выстрелами они побежали к Бугу. На заросший кустарником берег с вьедливым свистом сыпались пули, но сила их уменьшалась, как уменьшалось с приближением к реке ощущение опасности.

Из-за разорванной тучи выглянула луна, и на реке в текучем пятнистом сиянии ожили черные долбленные челноки; их, вздыхая, неуклюже баюкала тугая осенняя волна, прибавала к пенькам верб, быть может тех самых верб, из которых они были сделаны. И челноки снова трепыхались, как птицы в клетке, отбиваясь от берега, и над водой раздавался скрежет и звон их цепей. На желтом прибрежье из руки командира сильнее забила кровь, и прерывистая дорожка протянулась до самой лодки. Казалось, это не живая теплая кровь напоила песок, а дети, играя на берегу, повтыкали в желтую отмель ровные чашечки желудей.

Ни на бледном, спокойном лице командира, ни в его темных с янтарным отливом глазах не увидел Тимофий ни признаков боли, ни обычного при большой потере крови выражения слабости, тоски. Раненый был подтянут, сосредоточен в своей стойкости.

– Подыми руку, товарищ командир! Жизнь вытекает! – как всегда, строго проговорил Горицвит и рванул изо всей силы тонкую ржавую цепь.

Пальцы, сдавленные железом, заныли, но звено разогнулось, и Тимофий повеселел: не надо было отпирать замок, сберегалась дорогая минута.

Они выплыли уже на середину реки, когда на берегу показались темные фигуры и засверкали вспышки. Вокруг лодки взлетали маленькие певучие всплески воды, похожие на голубокрылых крычков.

Выйдя на берег, все облегченно вздохнули.

– Спасибо. От Красной Армии спасибо. – Командир пожал левой рукой твердую руку проводника.

– Вам спасибо. За все. Давайте я вам рану перевяжу. Сорочка у меня чистая. – Тимофий решительно рванул ворот полотняной рубахи, в которой ходил к причастию. Мелкие пуговицы росой посыпались к ногам.

– Не надо. – Командир, улынувшись, вынул из кармана пакетик, велел пулеметчику перевязать плечо Иваненку, а сам поднял руку, и кровь с пальцев потекла в рукав. – Как вас зовут?

– Горицвит. Тимофий Горицвит.

– А меня Марков. Чем же вас отблагодарить?

– Ничего не надо. Говорю, сам солдатом был... Не для того революция пришла...

Хотелось сказать многое, но и всегда-то ему было трудно разговаривать, а теперь, когда

густеющая кровь все капала и капала на синеватую осеннюю траву, и подавно. Он уже ровным голосом неторопливо добавил:

– В Ивчанку идите, там ежели банда и наскочит – люди отобьют.

– Будьте здоровы!

Побелевшими, крепко сжатыми от боли губами Марков поцеловал Горицвита, прижал запеленатую раненую руку к груди и пошел по луговой тропинке к хатам. А Тимофию долго еще казалось, что кровь капает на берег и вдавливается в песок, как желудевые наперстки.

«Славные ребята!» Тимофий думал о бойцах, как отец с своих детях. И красноармейцы в эту минуту думали о нем, поминая добрым словом незнакомого человека.

То, что он сейчас сделал, – ведь все могло и не так кончиться, смерть-то вокруг ходила! – поднимало Тимофия в собственных глазах, наполняло радостью. Но потом его охватило беспокойство: ведь бандиты могут забрать лошадей... Он прислушался.

По воде с того берега отчетливо донеслась перебранка бандитов. И вдруг он расслышал голос Сафрона Варчука.

«Может, показалось?..»

Темные фигуры медленно подымались на кручу. Топот копыт затих вдали.

А Варчук узнал Горицвита еще раньше, когда тот прыгнул с обрыва, ведя бойцов к лодке. Узнал и до того перепугался, что капли пота выступили на его плоском лбу.

«А вдруг и Горицвит заметил меня?»

Чуть не на коленях упросил он раздраженного неудачей Крупьяка разделить банду на два отряда – большую часть отправить в село, а несколько человек оставить в кустарнике.

Приближался рассвет.

Круглыми, расширенными от напряжения глазами Варчук всматривался в реку, тоскливо думая все о том же: разглядел ли его Тимофий и вернется ли на эту сторону? И, как большинство верующих людей, в трудную минуту он обратился со всеми своими заботами к богу, посылая ему неумело сложенные молитвы, прося вернуть Тимофия.

И вот на середине реки простуженно скрипнуло весло. Сафрон тут же забыл и молитву и самого бога.

Рассекая мглу, показалась лодка. Высокий, сильный гребец, стоя во весь рост, неторопливо и умело орудовал веслом. Плоскодонка мягко ткнулась в песок, Тимофий прыгнул па берег, и тут же звонко треснул выстрел.

На миг Сафрону показалось, что это разорвалось его сердце. Он схватился руками за грудь, не спуская глаз с Горицвита.

«Пошатнулся!» – обрадовался Варчук. Руки его сползли с груди, но он сразу же вновь схватился за сердце судорожно сведенными пальцами, – Тимофий с неожиданным проворством бросился в реку. Его голова не скоро показалась над водой, потом исчезла, снова появилась.

Бандиты выскочили из засады. Вода вокруг плывущего Тимофия закипела фонтанчиками.

А Сафрон, очумев от страха и злобы, метался среди бандитов, тыкал пальцем.

– Вон он! Вон! Показался.

– Да пошел ты... двоюродный брат Гальчевского! – наконец заорал на него высокий, косопалый бандит, тот самый, что стоял часовым на мосту. – Не видим, что ли?..

Варчук обиженно притих, но, когда появлялась над водой голова пловца, все указывал на него пальцем.

Студеная вода словно кипятком ошпарила Тимофия. Все тело его напряглось. Проворными движениями он под водой сорвал с себя пиджак, сапоги, рывком вынырнул, вздохнул всей грудью и снова погрузился в воду. Сильные руки, как весла, разгребали плотную воду. Пловец не слышал, как вокруг него шлепались пули: уши словно залило горячим клеем, они болезненно ныли.

«Ничего, Тимофий, на тебя еще пуля не отлита», – утешал он себя, как бывало на фронте. Под пулей он разумел не кусочек свинца, а смерть, ибо ранен бывал не раз. На его

георгиевских крестах, лежавших в углу сундука, на оранжево-черных ленточках темнели пятна честной солдатской крови. Нет, он даже и мысли не допускал, что его могут сейчас убить. «Ранить могут. Так это не новость. А реку переплывем!»

Вода так и шипела, расступаясь перед ним. Он рассекал тугие подводные течения, могучими руками дробил водовороты, каждой мышцей ощущая сопротивление ледяных наэлектризованных мускулов реки. «Ничего, Тимофий, на тебя еще пуля не отлита!» И в напряжении не замечал, что вода уже окрасилась его кровью.

Вдруг произошло что-то необычайное и страшное. Все его сильное тело согнулось, передернулось в корчах, израненные кости мучительно свело, точно сковало морозом. Тимофий, преодолевая боль, рванулся из каменного плена. Руки, голова, плечи послушались, но оцепеневшие ноги тянули вниз.

И Тимофий все понял.

В последний раз поднял голову над водой, окинул печальным взглядом широкие берега, утопающие в рассветной дымке. И стало ему жаль чего-то. Страх не было, но все его полуживое тело охватила тоска о чем-то, что никогда уже не придет. И невдомек ему было, что жалел он о непрожитых годах, тех, что давно поселились в его лучших надеждах, а наяву не приходили еще. Только теперь он приблизился к ним – и вот уходит навсегда... «Может быть, Докия, Дмитро...» И глаза его подобрели. Вся жизнь за миг прошла перед ним, как проходит бессмертная армия мимо убитого товарища.

Промелькнуло детство, дождливые галицийские ночи на фронте, ближе стали убитые друзья и земля... «Барская?» – «Да нет, наша». – «Значит, барская?» – «Барская была да сплыла. Теперь наша, ленинской правдой дана...»

И он видит, как они с Мирошниченком и Дмитрием вышли на большак среди хлебов, расшитых красными маками и подернутых желтой пылью, на которой держится крестьянская доля... Какова-то будет она!

И в последние секунды бытия весь он устремился к нераспознанной и к такой близкой уже грани будущего, – ведь и всегда он жил только будущим, в прошлом не было у него отрадных минут.

Тимофий уже не чувствовал, как ледяная вода сковала набухшие, усталые жилы, будто вымывая их из тела, как быстрое течение подхватило его и понесло на широкий плес...

– Капут! – сказал высокий, косолапый бандит, вскинул обрез на плечо и направился по тропинке в гору.

– А упорный, черт! – удовлетворенно выругался другой, закуривая сигарку. – Сколько проплыл в такую холодину!

Сафрон хотел попросить бандитов, чтоб еще подождали, – может, выплывет Тимофий, – но, улавливая охватившее их настроение, не осмелился, только стоял на месте, не сводя глаз с реки. Его носатое лицо все еще было сведено судорогой напряжения.

Бандиты уже взобрались на обрыв, зацокали наверху копыта, уже раскинулись полотнища зари, уже подбитая волной пустая плоскодонка шевельнулась, вздохнула и тронулась за хозяином, а Варчук все еще не выходил из прибрежных кустов.

«Господи Иисусе милосердный, помоги мне, грешному, в тяжелый час. Только бы...» И он перечислял все свои неотложные заботы, а его темные, без блеска, глаза, отороченные дутыми сережками лиловых подтеков, туманились от рассветной сырости, боли и злости.

Между тем в однообразное бормотанье Сафрона ворвалась песня, доносившаяся с реки. Сперва она не мешала молитве, но вдруг Варчук вскочил – вместо песни плеснула задиристая частушка. В голосе певца слышались и озорство и робость. Но вот частушка пропета до конца, певец с облегчением расхохотался, и уже два голоса, захлебываясь от изумления и восторга, должно быть впервые в жизни вывели:

Ой, на небі безпорядки,
Кажуть, бог змінився.
Пішов грітися у пекло

И весь обсмалился.

«Ироды, черти поганые!» – Варчук в бешенстве чуть не выскочил из своего убежища. Но вовремя опомнился, взглянул на реку.

К тому месту, где последний раз показалась голова Тимофия, подплывал долбленный челнок. На дне его лежала верша, в челноке сидели двое подростков – Грицко Шевчик и Варивон Очерет.

– Хороша песня, Григорий! Жаль, что дома так не запоешь, – старики вихры с кожей выдерут! – засмеялся Варивон и, оглянувшись, шепотом добавил: – Гляди, вентерья чьи-то стоят. Вот бы потрусить!

– Что ты, что ты! – замахал руками Шевчик, и на его смуглом красивом лице отразился неподдельный испуг.

– А мы только один попробуем. Никого же нет. Ну никогошеньки. – Варивон ухватился за палку и потянул к себе вентерья. – Ну и тяжелы же! Наверно, полно рыбы набилось. Григорий, помогай!

Еще одно усилие – и вдруг оба оцепенели от ужаса. Из воды, опережая вентерья, появилось спокойное, с полузакрытыми глазами лицо Тимофия Горицвита. В лучистых морщинках вокруг глаз и губ искрились на солнце влажные зерна песка.

XXVII

Горе так ударило Докию в грудь, что женщина без слова, без стоны, захлебываясь, упала посреди двора на колени. Рукою она потянулась к груди, искала и не находила сердца. Хотела встать, но вновь упала. И тяжелые, распустившиеся косы накрыли ее.

Потом она, царапая до крови колени, поползла к воротам и руками ухватилась за створки.

А когда на улице уныло закрипела подвода, Докия поднялась и, не помня себя, выбежала навстречу.

Черное покрывало, как грозовая туча, застило телегу. Не веря, Докия откинула покров – и сразу земля качнулась и двинулась на нее, поднося к глазам спокойное восковое лицо мужа. Ни скорби, ни предсмертной муки не было на нем, лишь где-то под бровью таилось сожаление, – казалось, он и сейчас еще сетовал, что не свершил чего-то. Лицо расплывалось, теряло знакомые черты и так приблизилось к ней, что, казалось, Тимофий вот-вот сольется с нею, войдет в нее навеки.

– Бандиты ранили вашего... Ну, а судорога доконала. Осень... – Эти слова доносились до нее, точно из-за глухой стены дождя, и кто их произносил, кто утешал ее, она не знала...

В нечеловеческом напряжении она откинулась назад, но глаза не увидели неба, лишь черный покров, окутавший мужа, лег на нее.

Женщина пошатнулась, под босыми ногами ее взметнулась дорожная пыль. И Докия упала на грядку телеги. Голова ее забилась на мокрой одежде мужа, длинные густые волосы, набрякшие от слез и речной влаги, накрыли полтелеги.

– Тимофий, встань! Тимофий! – не просила, а скорее приказывала она шепотом, трогала его холодные руки с синими, застывшими узлами жил.

И вдруг сквозь слезы заметила, что на его рубахе, в которой ходил к причастию, осталась одна только стекляннная пуговица, похожая на слезу.

– Встань, Тимофий!

– Мама, не плачьте! Слышите, мама?

Она с трудом оторвала руки от лица и сквозь слезы сначала не могла различить, Дмитро это или Тимофий стоит перед нею.

– Мама, не плачьте!

В уголках покрасневших глаз набухают слезы, и Дмитро, как ребенок, до крови закусывает губы, чтобы не разрыдаться. Это усилие искажает, старит его лицо, бороздит лоб

морщинами, и Дмитро становится особенно похож на отца.

– Тим... Дмитро, сынок, разве я плачу? Это горе мое плачет, сердце точит...

Докия, заливаясь слезами, шагнула к сыну. А от него вдруг повеяло полем и осенним горьковатым листом, как вчера еще веяло от Тимофия. И только теперь она до конца осознает, что мужа больше нет.

– Не плачь, Докия! – К ней подходит хмурый, постаревший Мирошниченко. – Эх, и у меня...

Он молча склоняется над Тимофием, переполненный своим и чужим горем, и, словно в тяжелом сне, уходит домой.

Над селом разносится медная тоска колокольного звона. Возле хат мужики снимают шапки, женщины подпирают щеки ладонями. И враги не радуются сегодня: детская кровь смущает даже их души.

Во дворе и в хате Мирошниченка полно людей. И все подходят и подходят они из далеких лесов и выселков, суровые и запыленные, в тяжелых мужицких свитках, в грубом, негнущемся полотне, с крестьянской тоской и со святым хлебом в руках. Потрескавшимися губами, с которых порой слетала молитва, а порой и матерщина, они целуют своего Свирида, простого, справедливого человека, кладут хлеб на лавки, потому что на столе стоит гроб.

В один гроб положили добрые люди братика и сестричку – пусть они и на том свете ходят вместе по зеленым лугам и дубравам, пусть и там ищут свою ненайденную весну.

Весь день и всю ночь просидел Свирид Яковлевич возле своих детей, опустив гордую голову на грудь, не раз открытую смерти. Люди видели его нечеловеческую муку, видели, как ложились морщины у глаз, из которых не выдавилось ни одной слезинки, словно окаменели глаза у человека.

Только утром он вышел из хаты, шатаясь стал у плетня, глянул на восток, и солнце, а не смерть, вызвало наконец на глаза его тягостные слезы. Он не утирал их, они падали на росистый спорыш, по которому за день до того бегали ножки его детей.

На улице, за хатой Карпца, вековой тоской зазвучали струны кобзы, и одинокий голос, сжимая сердце, поплыл над селом:

Кров людська – не водиця –
Проливати не годиться...

Это слепой Андрийко умолял зрячих быть людьми, не проливать людскую кровь: чай, она не безродная водица, – та бывает и на облачке, и на травке, и в озере, и в колодце, а кровь есть только на земле.

XXVIII

И вот он у своей молочной матери, у темнолицей, как святая земля, Катерины Чумак. Шестерых своих сыновей и четверых чужих детей носила она на руках, вырастила в люльке и в челноке у реки, чтобы любили они людей, и землю, и воду, рыбу на глубине и птицу в небе, злак в поле и дерево на берегу. И сама она была вся соткана из любви, песен и жажды труда. Она без нареканий выполняла самую тяжелую работу, сперва женскую, а после смерти Карпа и мужскую. На доброй ниве нажинала полторы копны ржи, обрывала по двести снопов курчавого гороха, при луне, чтобы люди не видели, не хуже косаря убирала ячмень и овес, проворней молотильщика орудовала цепом, молола на ручных жерновах, шила и вышивала детям сорочки, сама крыла соломой хату и овин. Когда работа выпадала очень тяжелая, она только отирала рукавом лоб и думала свои думы, а когда труд был посилен, пела песни или пересмеивалась со своим медлительным Карпом. Она была скоро на слово, шутила забористее мужа, и Карпо даже грозился избить ее за это, да так и не тронул ни разу за всю жизнь...

Мать встречает сына на краю огорода, где над буйной коноплей, подсолнухами и

цветами колыхнется предвечернее теплое марево и веет розовым, предзакатным дыханием реки. Катерина Чумак всю жизнь дружит и враждует с рекой, то ласковой, как сонный младенец, то лютой, как зверь. Сейчас у Катерины в одной руке серп, с которым не хочет прощаться солнечный лучик, другая рука лежит на груди, вскормившей Свирида. Теперь, рядом с сыном, мать кажется ребенком, и только ее выразительные золотисто-карие глаза несут великий груз конца одного и начала другого столетия. Два века самыми трудными своими днями проложили вокруг этих глаз частые бороздки, однако не угасили в них ни задорного и умного блеска, ни искреннего смеха, ни прямоты, радующей хороших людей и смущающей криводушных.

– Вот, мама, я и пришел к вам... Снова в самую тяжкую пору.

– Ты, сынок, страдаешь за людей. Кто-то должен страдать за них, чтобы они лучше были. – Мать кладет серп на плечо и подходит к своему старшему сыну.

Он берет ее суховатую ладошку, и она вся умещается в его пальцах. И теперь уже он чувствует себя ребенком перед этой маленькой женщиной, перед печалью ее мудрых глаз. Возле вербы покачивается долбленный челнок, и он тоже приносит клочки воспоминаний о далеком детстве, когда мать возила его к таинственным берегам. Назад они возвращались с рыбой, тальником или травой. И когда в глазах уже золотыми мотыльками двоились звезды, она пела ему колыбельную про журавля, про чайку, про аиста или соловья, потому что она любила птиц.

Мать и сын смотрят друг на друга, потом на реку, над которой носятся рои мошек и пролетают птицы. Птицы зачерпывают крыльями розовое марево и несут его в свои прибрежные гнезда, куда уже затекает предзвездная синь.

– Дитяtko, у тебя время есть? – тихо спрашивает мать.

– Есть, мама.

– Может, поедem на тот берег? Там я камыша нажала.

– Поедем, мама.

Они садятся в челнок, но теперь правит не мать, а сын. На воде вишневым цветом наливаются забытый солнцем блик, на небе восходят первые звезды, а на лугу, за стогами, как грабовые рощи, высятся сизые тучи, под веслом всхлипывает вода, и оттуда слышатся ему голоса детей. У него болит сердце по ним, а у матери еще и за него.

– Вот, Свирид, твой островок, – показывает она на зеленый кружок земли, выступающий из вишнево-синей воды.

Да. Это его первая земля, это на ней колыхнутся несколько кустиков ивняка. Катерине без своей земли суждено было до смерти оставаться в работницах, и она для каждого своего ребенка находила на Буге островок, дети тешились этими клочками земли, тешилась с ними и мать, надеясь на другой надел. И теперь она получила этот надел, его намерял ей сын, чья любовь к земле, может быть, началась с этого крохотного островочка.

На другом, низком берегу Катерина садится на сноп камыша, а он ложится на траву.

– Простудишься, Свирид...

– Если бы вы, мама, знали, как тяжело мне!

Знаю, дитяtko. Ты два раза на погост ходил, а я четыре... – Она подымает его с земли, усаживает рядом с собою на скрипучий сноп камыша. – Бедный ты мой сынок!

Сдерживая слезы, она говорит, каким он был в первые дни и месяцы своей жизни, как он первый раз назвал ее мамой, как в первый раз поцеловал ее. И теперь он целует ее поседевшие волосы и загрубевшую руку и снова чувствует себя ребенком. А она тихим голосом отделяет его боль от злобы, пригашает ненависть, ибо ведь он страдает не только за себя, но и за людей, а значит, должен больше знать и больше любить их, ведь они еще так несчастны.

Ночью, когда небо и река слились в звездном единстве, мать и сын возвращались домой. Теперь уже гребла она, а он молча лежал на снопах камыша. Под ними вскидывалась рыба, над ними пролетали темные птицы, и под шорох их крыльев и плеск весел он стал засыпать. Во сне он видел себя ребенком и слышал, как мать пела ему про журавля,

шагающего по его островку. А может, Катерина и в самом деле тихонько пела ему про птиц, убаюкивая боль его, – мать и в горе не забывала о птицах...

На другой день он попрощался с матерью и пошел в комбед. Но по дороге Свирида Яковлевича потянуло к своей хате, которую он даже не запер уходя. Чем ближе он подходил к ней, тем тяжелее становилось на сердце, снова ожило все пережитое, снова звучали голоса детей, снова все напоминало Левка и Настечку.

Еще не доходя до хаты, он услышал в ней детский смех. И этот смех так поразил его, что Свирид Яковлевич стал у ворот, задышавшись, не в силах понять, не помутился ли у него разум. Но снова послышался детский смех и незнакомый мелодичный женский голос. Свирид Яковлевич со страхом переступил порог, отворил дверь в хату. На лавке, согнувшись, сидела худенькая, золотоволосая женщина, на коленях у ней агукал белобрысенький малыш. Женщина увидела Мирошниченка, поднялась, испуганная улыбка мелькнула на ее скорбно-прекрасном лице. Она шагнула навстречу Свириду Яковлевичу, крепче прижала к себе ребенка.

– Свирид Яковлевич, простите, что к вам... Никого больше нет на свете, кто бы мог помочь моему горю. А о вас я слышала от людей... – На глазах, похожих на спелые черешни в утренней росе, дрожали слезы.

Ребенок повернул голову к вошедшему. Свирид Яковлевич смущенно протянул руки; мальчик, радостно морща носик, сразу потянулся к нему. Мать поправила байковую пеленку, отдала сына Мирошниченку, не зная, что ударила его этим в самое сердце.

Свирид Яковлевич ходил по хате, а женщина со слезами рассказывала, как мужа ее взяли в губчека. Она все, все выложила о своем Даниле, которого Свирид Яковлевич помнил, поведала, как они решили не скрывать ни одного греха, чтобы не мучиться. Они так надеялись, что новая власть даст ему очиститься!

И Свириду Яковлевичу верилось, что эти люди не могли замышлять дурное.

Он внимательно выслушал Галину, коротко сказал ей:

– Я не знаю, сумею ли по-настоящему помочь вам. Но сегодня поеду в губком, поговорю с одним очень хорошим коммунистом, он тоже когда-то хотел учителем стать. Надеюсь, он вам поможет.

– Спасибо, Свирид Яковлевич. – Женщина приложила руки к груди.

А Петрик тем временем повертелся-повертелся, потер пальчиками глазки, стал засыпать. Свирид Яковлевич, скорбно присматриваясь к его личику, еще тише заходил по хате и вдруг чуть слышно запел песенку о птицах своего детства...

XXIX

Ветер помешивал тяжелые воды реки, подымая глухой шум и взбивая зеленоватую вязь пены. За рекой, над Ивчанкой, расплеталась ветвистая туча, и над самой землей ее дымчато-сиреневая крона пролилась дождем.

– Славный пошел дождик на Ивчанку. – Семен Побережный весело прищурился из-под нависших бровей, привычно орудуя веслом.

– Славный. Только бы тепло еще постояло, – поддержал его и Руденко, глянув на потемневшее небо.

Только Мирошниченко, пригнувшись, молча смотрел на смолистое дно лодки, облепленное ряской и рыбьей чешуей. Для его увядших за последние дни глаз простор стал нестерпим; горизонты, хмурясь, надвигались на Свирида, как в сумерки. А мысли все возвращались к тому клочку земли, где под вишенками лежат его дети. Он уже обложил их могилку дерном, посадил маргаритки, которые принес когда-то вместе с георгинами с господского двора. Он взял за свой труд у помещика только цветы, чему немало дивились односельчане, не пощадившие ни дворянской экономии, ни дворянских палат.

Руденко поглядывал на Свирида Яковлевича с сочувствием, старался отвлечь его тяжелый взгляд от лодки. Иван Панасович отпросился у председателя уисполкома на

несколько дней в Новобуговку, чтобы побыть с другом. За это даже его жена, которая все еще жила в одном из дальних сел уезда, не ворчала на него, только укорила мягко: «С этой работой да с дружбой совсем ты, Иван, отбился от семьи, от земли». – «Так уж и отбился, – отвечал муж. – Сколько же я могу просить: переезжай ко мне!» Но жена не соглашалась: «Мне переезжать нечего: тут моя родина, тут моя земля. Я на привозном да покупном не проживу. Служба что ветер – невесть куда подует. Нет лучше службы, чем земле служить». Потому и вышло, что она последнее время жила как вдова, а он как бобьль...

Днище лодки закрипело на песке, врезалось в берег, и Руденко, придерживая деревянную кобуру маузера, первым выскочил на берег. За ним прямо на пенный барашек поставил ногу Мирошниченко.

– Вас подождать? – спросил с лодки Побережный.

– Поезжайте, если дело есть.

– У меня теперь одно дело – рыба. Полдесятины новехонькой, слава богу, засеял уже – и довольно. Подойду к ниве, протяну руки, а от ней теплее дух, чем от других, – разговорился молчаливый рыбак.

– В самом деле теплее? – лукаво подсмеивался Руденко.

Вокруг его носа пришли в движение неглубокие оспинки; они не портили спокойный овал лица, только приблизили кровь к коже, потому и зимой и летом, в радостные и в тяжелые минуты лицо у Руденка пунцовело.

– Своя земля, как дитя родное, всегда дороже. – Побережный вскинул на лоб тяжелые, словно лепные, брови. – Пока не было поля ни перед очами, ни за плечами, так нечему было и радоваться. Это ведь хлеб ненадежный. – Он поднял весло, и вода с него потекла в реку и в рукав. – Однако я весь век отбивался им от нужды, даже на лошадку скотте. – Взгляд у рыбака потеплел. – Ну, приезжайте вечером на уху. – Побережный оттолкнулся от берега, и лодка запрыгала по волнам, как черный нырок.

– Хорош твой рыбак, Свирид, – снова попытался развлечь друга Руденко.

– Честен до последней крошки, а упрям, как кремь. Когда из Ивчанки отступали австрийцы, не захотел, чтобы проходили через его село. Притаился на берегу и давай бить ложкой по пустому ведру. Да так ловко, что даже австрийские пулеметчики не отличили ведерную дробь от пулеметной.

– Что ты говоришь! – улыбнулся Руденко, обрадовавшись, что его друг понемногу втягивается в беседу.

– Правда. Так и обошли тогда австрийцы наше село. Вот и пойми его. Спокойнее, чем Семен Побережный, у нас человека не найти. Это верно, что он весь век веслом от нужды отбивался. А тут на тебе, один пошел на врага. Да с чем? С ведром! И люди так бы про то и не узнали, не расскажи им Уляна Завирюха. Она как раз была в поле и помирала со страху, думая, не скосят ли австрийцы пулей и Семена и ее.

– Соверши такое Кульницкий – об этом давно Москва знала бы, не говорю уж об Одессе. В полководцы бы выскочил! – Руденко снова улыбнулся и нахмурился. – Дальше уезда не выезжает, кроме кожаных лат, ничем не знаменит, живет одними речами да нагоняями, а тоже деятеля революции из себя корчит.

– Чего вы не прогоните его?

– А ты поймашь вьюна голыми руками?

– Вряд ли.

– А Кульницкий и есть вьюн. Умный, жестокий, нахрапистый. На ходу подхватывает чужие мысли и подымает их на всю губернию либо приноравливается к ним, как ему выгоднее. Этот из тех, кто в одно ухо влезет, в другое вылезет.

– Ну, пока он в уши влезает – это еще полбеды. А что, если он в сердце влезет, да не вылезет? – Мирошниченко твердо глянул из-под набрякших век в глаза другу.

Тот даже остановился, пораженный его словами. Но тут же подумал: а что, если они преувеличили недостатки Кульницкого? Чужие грехи всегда кажутся тяжелее.

– Он больше в печенках сидит. До сердца ему далеко, да и ростом мелковат.

– Иголка тоже невелика, а попадет в кровь – и не знает человек, что смерть в себе носит. Ты Иван, подумай про Кульницкого, приглядишься к нему. Правда, может, я и наговорил на него лишнее, больно уж задел меня за живое. Может, он просто карьерист, и все.

– А ты знаешь, что Ленин сказал о карьеристах? У них нет никаких идей, у них нет никакой честности... К Кульницкому я пригляжусь, жаль, далековато он от меня. А теперь поищем, где же банда Горицвита перехватила.

Они расходятся и бредут по берегу, рассматривая следы. Обошли гранитную скалу, поднявшуюся над землей, как стиснутый мускулистый кулак.

Между пальцами у нее, словно живое красное знамя, покачивался куст рай-деревя.

Руденко залюбовался деревцем.

– И выросло чудом, и держится чудом.

Прошли еще немного, и на заросшем кустиками берегу заметили множество следов и стреляные гильзы.

– Вот отсюда бандиты стреляли по бедняге. – Свирид Яковлевич вздохнул.

Они побродили у воды, потом поднялись наверх, в поля. Там, на жирном черноземе, было много следов от копыт. Внимание Руденка привлекли две колесные колеи.

– Верно, бричка атамана или, скорее, того, кто привел сюда бандитов.

– В этот день куда-то выехал на бричке Варчук. Людям говорил, что к фельдшеру. Только к какому? – Глаза Мирошниченка сузились.

– А он вернулся от своего фельдшера или все еще лечится? – заинтересовался Руденко.

– Кажется, не вернулся.

– На левой передней ноге лошади разболталась подкова. – Иван Панасович показал на четко очерченный след. – На всякий случай сделаем отпечаток. – Он очертил след носком сапога и пошел дальше. Его все больше занимал след брички, вернее – неровности правой колеи. – На правом заднем колесе, кажется, перекосилась шина?

Свирид Яковлевич присел над следом, удостоверился, что и в самом деле на отпечатке остались причудливые узоры от сдвинутой шины.

– Бричек в селе с десятков, проверим все. Может, и доберемся до змеиного гнезда.

XXX

Варчук вышибал из коней все силы. Согнувшись над ними, он бил их то кнутом, то кнутовищем, облепленным шипучей пеной. Под Винницей кто-то стащил арапник. и Сафрону пришлось заплатить за паршивенький кнут целых пятьсот рублей. Он изломал на конских спинах сухое грабовое кнутовище, воровато срезал на глухом погосте гибкую вишенку, захлестнул ее петлей кнута, вскочил на передок, переломился надвое, и нежное деревце затанцевало на вороних.

Никогда он не был так жесток с лошадьми, как теперь. Надо же найти этого чертова Ярему Гуркала, которого леший понес из губкома в села. Варчук напал на его след на Мизяковских хуторах и подался дальше в глубь Побужья, приглядываясь ко всему темными, без блеска глазами: и здесь люди перемеряли землю, сеяли из рук в свежие наделы позднее зерно – чтоб их морозом прожгло.

Гуркала он застал на глухом хуторе, окруженном с трех сторон садом, а с четвертой прудом. И немало удивился тому, что высокое начальство сидит не в хате за важными бумагами, а в дубовой клетке возле самогонного куба. На коленях у начальника маузер в деревянной кобуре, а на кобуре мисочка с закуской и зеленоватая стопка первача.

В клетке полно дыму, и в дыму, словно в аду, снуют еще двое – они ухаживают за кубом и за высоким гостем. Лица у крестьян угодливые, у начальства – благосклонное. Гуркало не глядит на подошедшего Варчука, он указывает ему пальцем на чурбан, и Сафрон молча садится. Чьи-то руки протягиваются к нему из дыма со стопкой, куском хлеба и ветчиной, и все безмолвно поднимают стопки. Сафрону жутко от этого молчания: и впрямь точно в ад угодил. От дыма на глаза набегают слезы, капелька попадает в первач.

– Не разбавляй, милый человек, водку водой, не тот будет вкус, – поучительно произносит Гуркало, и за пеленой дыма раздается угодливый смешок.

– Теперь ее пьешь не с водой, а наполовину с кровью, – твердо отвечает Сафрон, и Гуркало с интересом окидывает его долгим взглядом.

– Припекло? – Он прощупывает Сафрона карими глазами, уже слегка помутившимися от хмеля.

Сафрон понимает, что в чаду сидят его незнакомые единомышленники, что слова его нравятся, и, не запинаясь, говорит:

– Ясное дело, припекло. Одну жаринку возьмешь и то с руки на руку перекидываешь, а ведь тут пригоршню жару в нутро кинули, оттуда не выхватишь руками.

– До чего ж человек верно говорит, – поддерживает его голос из-за пелены едкого дыма.

– Налейте ему, пускай гасит свой жар. – Решительная физиономия Гуркала с подкурчавленными бровями и задиристо приподнятым искривленным носом веселеет. Грубоватая кожа на его щеках ближе к вискам тоньше, сквозь нее просвечивает сетка бледно-синих жил. Он встает, и Варчуку сразу запоминается его фигура, похожая на опрокинутую островерхую копенку сена: ширь мощных плеч сходит книзу на нет или, быть может, так обрисовывают начальника широкий английский френч и узкие галифе в обтяжку.

Гуркало выходит из клетки на широкий двор, за ним следует Сафрон.

– Ярема Иванович, – понизив голос, говорит он, – у меня к вам очень большая просьба.

– Сегодня, милейший, никаких просьб! Пить – пей, а дела на завтра. – Он трет платочком сизоватый румянец и улыбается, показывая лошадиные желтоватые зубы.

...И Сафрону пришлось пить чуть не целый день. Уже давно погасли, оделись в серую сорочку дрова под кубом, давно рассеялся в клетки дым, давно свалились с ног мужики, хлопотавшие возле закваски, а Гуркало все перепивал Сафрона и все не мог перепить. Добро, что над головой висел прокопченный в трубе окорок. Все больше обнажая кость, новые знакомые выхватывали из середины сочные, прочесоченные куски мяса, забывали даже про хлеб. При такой закуске Сафрон и с чертом мог бы потягаться. Это нравилось начальству, и оно благосклонно улыбалось Варчуку.

– Вот это компаньон, а не черт-те что! – Гуркало кивнул на уснувших мужиков, которые защищались от кого-то и во сне, выставив острые локти. – Так что тебя пригнало сюда?

– Привез вам привет и кулек от Омеляна Крупьяка, – с готовностью ответил Сафрон, заметив, что у начальства от водки вздулись на висках жилы.

– От Омеляна? – Глаза Гуркала потрезвели, он покосился на мужиков и на дверь клетки. – Когда видел его?

– Позавчера.

– Где он был? – быстрее заговорил Гуркало.

– Под Литыном.

– Давно его знаешь?

– С девятнадцатого. Когда наши отступали, подобрал его, раненного, в лесу и выходил на своем хуторе.

– Куда он был ранен?

– В бедро.

Ответы Барчука, очевидно, удовлетворяли Гуркала. Он снял с кобуры закуску и стопку, встал и пригласил Сафрона пройтись по саду. Солнце заходило, и пороша последних лучей дрожала на густых, замшелых деревьях, от которых веяло теплом плодов и старых дупел. На пруду плескалась рыба и стояли по колено в воде коровы, с их губ скатывались пунцовые капельки. Варчук глянул на все это и едва не схватился рукою за сердце: так все здесь напоминало его хутор и прудок. Только у него в водоеме рыбы нет – бабы каждый год отравляют ее коноплей. А будет все хорошо, он непременно разведет карпов и запретит мочить коноплю в пруду.

Здесь, возле плеса, под криканье домашних уток, Сафрон все рассказал Яреме Гуркалу, молча перегонявшему сигарку из одного угла рта в другой.

– Что ж, я, пожалуй, немного помогу твоему горю. Всей земли не вернуть – жирно будет при новой власти, – а десятин десять можно будет выклянчить.

– Да хоть бы десять! И это хорошо, и за это до смерти буду за вас бога молить!

– Поможет он как мертвому кадилу, – равнодушно отмахнулся Гуркало от варчуковских молитв. – Только на твое дело время нужно. Если не вернулся заведующий земотделом – твое счастье, а вернулся – придется ждать, пока снова поедет по губернии. Его не согнешь.

– Так, может, сейчас и мотнемся в город?

– Сегодня поздно. Завтра выедем. А сейчас пойдем допивать самогон, чтоб не скис...

На рассвете Варчук вез Гуркала в Винницу и все удивлялся: подтянутая фигура и свежее лицо начальства ничем не напоминали о недавней пьянке. Опохмелился Ярема Иванович одной кружкой кваса, пошептался о чем-то с хозяином и молодецкато вскочил в бричку. Дорогой он успел разузнать все необходимое и даже обрадовался, что Варчук из Новобуговки, где заправляет всеми делами Мирошниченко.

На счастье Барчука, заведующего земотделом еще не было; Гуркало, выбрав удобную минутку, с независимым видом зашел к Кульницкому и сразу же принялся возмущаться:

– Прямо не знаю, что и делать с этим анархистом Мирошниченком! Подрубает сук, на котором мы сидим.

Этими словами Гуркало сразу задел больное место Кульницкого.

– Его из партии надо гнать! – стукнул тот кулаком по столу. – Что он еще натворил?

– А что же он доброго может сделать? То воевал против совхоза, а теперь добрался до культурного хозяйства одного крестьянина. Тот когда-то серебряную медаль получил, на его опыте можно учить окрестные села. Если мы начнем так поступать, можно докатиться до первобытной культуры земледелия. Что тогда республика будет есть? – И он рассказал как хотел про хозяйство Сафрона.

Кульницкий сперва поморщился, не отваживаясь разрешать вопрос без заведующего земотделом, но, убежденный ловкими доводами Гуркала, пошел на компромисс.

– Отстукаем решение о возвращении Варчуку части его земли. Думаю, ему для культурного хозяйства совершенно достаточно и двадцати десятин.

– Правильно! По-революционному решили! – похвалил свое начальство Гуркало, и оба остались довольны и решением и самими собой.

Прощался Варчук с Гуркалом на его квартире, и два чувства боролись в нем – скардность и справедливость. Заплатить начальству или так обойдется? Но прикинул, что иметь в губернии такую руку великое дело, и, подавив вздох, проговорил:

– Прямо и не знаю, Ярема Иванович, чем вас отблагодарить, такой вы дорогой человек! Тут ведь, в городе, за все заплати. За паршивый огурец и то давай деньги, да какие деньги! Дорого все при новой власти. Так, может, вы взяли бы что-нибудь за свой труд? Не побрезгуйте, мы люди простые, не знаем, как это делается...

– И мы люди простые, лишнего не берем, от заслуженного не отказываемся, – задвигал подкурчавленными бровями Гуркало.

– Вот спасибо вам, – улыбнулся Сафрон, хотя и жаль было, что начальство не отказалось от взятки. Есть же такие благородные: ты ему в руку суешь, а он отнекивается, еще и благодарит...

Сафрон растегнул рубаху, разорвал подшитую к воротнику ленточку, и из прорехи скатилось на ладонь несколько золотых.

– Ловко придумано! – засмеялся Гуркало.

– Беда научит, – вздохнул Сафрон и положил монетки рядком на стол.

– А может, Сафрон Андриевич, пропьем их на радостях? – покосился на золото Гуркало.

– Некогда, некогда, Ярема Иванович! Пейте сами на здоровье. Еще раз большое

спасибо. – И Сафрон заторопился в дорогу.

Вскоре его бричку трясло на разбитой за войну винницкой мостовой, а его самого неотступно лихорадила мысль: что делать с лошадьми? А вдруг в село наедет следствие, начнут до всего докапываться? Все может стать! Как ни тяжело было прощаться с хорошими лошадьми – Сафрон решил продать их.

На другой день, не очень торгуясь, он продал на ярмарке бричку и лошадей тому самому мужику, у которого пил на хуторе, а сам пошел на Каличу, надеясь встретить приехавших на базар односельчан и с ними доехать до дому. И как он потом благодарил бога, что избавился от вороных и брички! Только он добрался до хутора, как туда же пришел Мирошниченко с неизвестным человеком. Сафрон, вздыхая, рассказывал им, что его обобрали бандиты, вырвался от них в чем был. Он даже показал оторванную ленточку под воротником: и сюда бандюги добрались, отняли последние деньги. Он видел, что ему не верят, но вздыхал, жаловался и просил помочь отбить лошадей.

– Может, и отобьем, – сказал Мирошниченко таким тоном, что у Сафрона бешено заколотилось сердце.

Не было сомнений – его заподозрили. Вечером эти догадки подтвердил и Кузьма Василенко. Он рассказал, что Мирошниченко с заместителем председателя уисполкома долго ходили по берегу Буга, приглядываясь к следам.

– Ну и пусть себе приглядываются на здоровье! – Сафрон выдавил па сухом лице улыбку, чувствуя, как тревога все глубже заползает в сердце, слава богу, сейчас к нему придраться не за что, надо, чтобы и дальше так было.

Дня через два Сафрон снова отправился к Гуркале. Переплатив, он откупил у изумленного хуторянина лошадей и бричку. Ночью он подъехал к глубокому яру, выпряг лошадей и столкнул бричку в темень оврага. Когда из глубины донесся последний хруст ломающегося дерева, Сафрон вскочил верхом на пристяжную и повел лошадей к реке. Спрыгнув прямо в воду, он посвистал им, чтобы лучше пили, повернул на глубокое место и сунул в ухо кореннику наган. Прозвучал выстрел. Коренник, тяжело сгибая колени, сразу же упал в воду, а пристяжная высоко мотнула головой, осыпая на Сафрона трепет длинной гривы.

– Стой, глупенькая! – Сафрон пригнул голову лошади за повод. Снова раздался сухой выстрел, и его лошади, покачиваясь двумя черными островками, скрылись из глаз.

Сафрон с жалостью посмотрел им вслед и, не выходя из воды, трижды перекрестился, а потом той же щепотью отер слезы.

XXXI

На осенних росах ядренеет скошенная гречиха.

Клочок тумана у самого края Веремиевского поля колышется, розовеет, пронизанный лучами солнца, и пропадает из глаз, быть может опускаясь на алый сафьян гречихи и отдавая ей всю нежность своих влажных красок. Впереди ярко синее зубчатая стена дубравы, на вершинах деревьев вспыхивают, скрещиваясь, расщепленные нити солнечных лучей.

Денис Бараболя катится по стежке и, шурясь, принюхивается и к полю, и к четким, по-осеннему, далям, и к самому солнцу. Торжественная сентябрьская тишь смягчает его подозрительность, и даже запекшаяся в груди злоба обволакивается сладостным и томительным маревом сдержанной страсти. Вот уже несколько дней и ночей она сосет его, переполняет кровью сердце. Неужели эта девчонка с большими вразлет бровями сумела не только вылечить его, но и всколыхнуть притупленные беспорядочными связями чувства?

Была пора – и он ждал своей неземной любви, пел о ней, присматривался к девушкам и желал праздника души. Но еще гимназистом попал в объятия опытной и дорогой проститутки, и она сумела отравить святость порывов.

И вот внезапно его развращенной души коснулось другое чувство. Что это было – жалость к несчастной сироте или в самом деле нечто, называемое в книгах любовью? Но

какая может быть жалость? «Ты идешь к женщине? Не забудь взять плетень», – говорил Заратустра.

Сейчас это поучение вызывает улыбку: до чего же оно не подходит ни к пейзажу, ни к настроению!

Сквозь прореженный край леса перламутром сияет кайма неба, а по небу плывут тяжелые белые корабли облаков, и кажется, там совсем иной мир, чем тот, что окружает Бараболю. На миг он забывает о своем шпионском ремесле, забывает Ницше и черные тени Девоншира и следом за осенними небесными кораблями плывет в свое тихое и сытое детство. Но за деревьями, у самых облаков, появляется человек, и лицо Бараболи приобретает привычное придурковатое выражение, а разум ожесточается. Незнакомец сворачивает в дальние поля, а Бараболя, проводив его сузившимися глазами, вкатывается в рощицу и сразу же натывается на семью точеных белых грибов. В своих бархатных тапочках они похожи на миниатюрный слепок побуревших осенних деревьев.

Денис Иванович еще раз озирается, а потом выворачивает с корнем прохладные грибы, едва уместя их семью в обеих руках. Над головой неторопливо постукивает дятел, и чуткая тишина роняет его удары на землю, как невидимую ношу.

Недалеко от прогалины, где дремали под шапками колоды с пчелами, он заметил тоненькую фигурку Марьяны. Девушка стояла спиной к нему. Вот она нагнулась над какой-то лесной травкой, и Денису Ивановичу стали хорошо видны ее ноги; при виде этих ножек, стройно подымавшихся над берестяными лапотками и зашнурованных крест-накрест, с трогательными узелками у колен, его сразу бросило в жар. Девушка выпрямилась, держа корешок в руке, сдула с него землю, оборвала листочки и положила растение за пазуху.

Денис невольно улыбнулся, подождал, пока Марьяна отойдет подальше, и тогда крикнул, как кричат в лесу:

– Аа-у, Марьяна?

У девушки испуганно опустились плечи, она оглянулась, увидела его, смущенно повела глазами, отвернулась и незаметным движением выхватила из-за пазухи только что положенный туда корешок.

«Дикарка стыдливая...» – Бараболя делает вид, что ничего не заметил, подходит к Марьяне и передает ей грибы.

– Вот тебе, хозяйюшка, моя находка. – Он чувствует, что слово «хозяйюшка» болезненно укололо батрачку. «Эге, и ей хотелось бы стать хозяйкой. Что ни говори, а служить одни собаки любят».

Они молча подходят к покрытому камышом куреню, над которым распростерла черный венчик ветвей лесная груша.

– О, как тут славно!

Он залезает в курень, где пахнет всякими зельями, ложится на едва прикрытую лохмотьями солому, а Марьяна присаживается на корточки и улыбается, дивясь, что гость не брезгует ее бедностью.

– Марьяна, ты, может, поджаришь грибы? – Бараболя кивает на костер, где еще курятся волоконца дыма.

– Не на чем, – горько отвечает девушка, не подымая на него глаз, с детства налитых до краев страхом.

– Не дает хозяин жирку?

– Дает... на рождество да на пасху.

– Бедненькая моя! – сочувственно говорит он, а она краснеет до слез. – Так мы их спечем. Любишь печеные грибы?

– Люблю.

– А меня? – спрашивает он шутя и смотрит на Марьяну.

У девушки встrepенулись брови, она сжалась в комочек и молчит.

– Так кого же ты больше любишь: меня или грибы?

– Грех вам смеяться над бедной батрачкой! – Она с болью посмотрела на него и пошла

к ульям.

Он выскочил из куреня, догнал девушку, стал перед нею.

– Марьяночка, ты сердисься на меня? Не сердись, любушка!

Она вскинула на него помутневшие от боли глаза и едва слышно попросила:

– Не называйте меня так, а то расплачусь.

– Почему?

– Меня только мама... давно... звала Марьяночкой.

И она в самом деле заплакала, закрыв глаза узкими бронзовыми ладонями. Ее тоненькие пальцы возле ногтей меняли окраску – бронза была там покрыта красными пятнышками и свежими заусеницами.

Бараболя принялся успокаивать девушку, гладил ее руки, плечи, как бы ненароком коснулся груди, и она даже сквозь сорочку обожгла его пальцы упругим огнем. И откуда только он взялся в этом хрупком теле, выросшем на воде да на беде? Он бережно завел Марьянку в курень, усадил и даже согнал муху с ее ножки. И, кажется, это движение тронуло ее больше, чем все слова.

– Какой же вы славный, Денис Иванович! – Она посмотрела на него русалочьими глазами.

И убийца, не выдержав чистого взгляда, опустил голову.

А Марьяна одним легким движением вскочила, выскользнула из куреня и подложила в костер дровишек.

– Я сварю кулеш. Будете есть? – доверчиво спросила она гостя и улыбнулась.

– С тобой, Марьяночка, все буду есть.

– Не зовите меня так, – снова попросила она, сняла с сука небольшой горшок и побежала по воду.

Когда на костре зашипел, пузырясь, кулеш, она бросила в деревянную ступку горсть кользы, растолкла ее и засыпала в горшок.

– Вот какая у нас приправа. Простите, лучшей нет. – Она снова бросила доверчивый взгляд на Бараболю.

– С тобой и постный кулеш покажется пасхальным блюдом, – ответил он, любуясь ее руками, умело колдующими над огнем.

Они ели немудреное крестьянское блюдо из одной кособокой миски; он задерживал своей ложкой ложку девушки и слушал в ответ чистый детский смех. После обеда Марьяна показала ему все уголки леса. Они нашли нору старого барсука, который осенью хозяйничал у Веремия на огороде. Посидели возле родника, поели диких яблок и даже лазили на позднюю черешню, на которой висело еще несколько мелких, вялых ягодок. С каждым часом девушка привязывалась к Бараболе, как ребенок. Из глаз ее понемногу исчез страх, и она веселее улыбалась солнцу, деревьям и земле, только от него прятала свою улыбку большого ребенка.

Когда между деревьями потянуло дымком сумерек и дубрава стала казаться гуще, Бараболя, как ни хотелось ему остаться, собрался на хутор: он боялся одним неосторожным жестом разорвать паутину – эта забитая девушка была вовсе не так глупа, как говорил о ней Веремий.

Марьяна проводила его до самого поля, и тут, где отблеск дня скрещивался с вечером, она показала Бараболе еще лучше. Он, прощаясь, привлек ее к груди и вдруг спросил:

– Марьяна, ты пошла бы за меня замуж? Я намного старше тебя...

Он думал, что девушка испугается, станет возражать, но она только смерила его долгим взглядом и, потупясь, тихо ответила:

– На что я вам? Я могу быть вашей батрачкой, а не женой... У меня ведь ничего, ничего нет, одна душа недобитая...

– И у меня, Марьяна, ничего нет. Я такой же бедняк, как и ты, – охотно солгал он, вспомнив землю и усадьбу родителей.

– Правда? – Девушка обрадовалась и сразу же смутилась.

– Правда, Марьяна... А беднякам надо держаться бедняков. Ты получишь землю, я получу, вот и проживем как-нибудь. Теперь новая власть стоит за нас, – сослался он на тех, против кого поклялся бороться всю жизнь.

И он увидел, как слово «земля» поразило девушку, как она, восторженно, горьким, исполненным надежды взглядом окинула вечерние мглистые поля, как потянулась им вслед своей неубитой душой.

Этот взгляд порастил Бараболю, ему показалось, что в глазах этой батрачки он прочитал свой приговор.

XXXII

Безгранично терпение человека...

Жизнь может отнять у него близких, разбить любовь, украсть счастье, но человек остается человеком. Однако достаточно разрушить надежды – неясный мираж манящих и обманчивых свершений, – и человек превращается в живой труп.

Так случилось и с Данилом Пидипригорой. Немало дней прошло с тех пор, как он очутился во внутренней тюрьме губчека, и после первых встреч со следователем Данило, в сущности, перестал жить, а делал все механически, как во сне, вернее – жил только в снах; они приносили ему из глубины лет чистоту детства и весенние влажные луга, пожелтевшие от калюжницы, приносили златокосый образ жены и давали ласкать маленькое тельце беловолосого Петрика, которого по ночам будили молодые петушки. И от этого утраченного счастья он во сне всхлипывал. Тогда его бесцеремонно будил костлявый, с птичьим профилем торговец Герус, которого за неделю до того посадили в одну камеру с Пидипригорой.

– Вставай, анти-лигенция! – Герус сухими пальцами вытряхивал из Данила сон и смеялся узкими глазами и губами.

Герус был стреляной птицей – его уже однажды судил ревтрибунал, но все как-то, с помощью друзей, обошлось. А теперь его поймали на крупной игре в карты. Работники Чека отобрали у него три тысячи золотом и семь тысяч австрийскими кронами, и Герус выдавал себя за неисправимого преферансиста, вконец испорченного старым режимом.

– Большевики любят кающихся, и я каюсь, всю грудь кулаком исколотил. Кайся и ты, – поучал он потихоньку Пидипригору, уставясь в глазок.

Впрочем, Геруса тревожило еще одно. После закрытия его лавки он пролез в Винницкое общество оптовых закупок, а оно сдуру отказалось принимать от кооператоров советские деньги. Это дело пахло политикой, и тут Герус уже не каялся, а всеми силами доказывал свою непричастность. А вообще он был оптимистом, надеялся на свои большие связи, свято верил, что все на свете может исчезнуть – царства и королевства, монархи и президенты, наука и церковь, – а торговля останется, ибо она корень всего. И он тихонько напевал пикантные куплеты «Яблочка» и «Улицы».

На дело Пидипригоры у него был свой взгляд: если он в самом деле честно покаялся, выпустят как миленького. Большевики и не такую мелочь выпускают: даже старые генералы работают у них. А разве у самого Котовского не командует полком бывший петлюровец? Даже орденом наградили. Сам Герус охотно поменялся бы своими обвинениями с Данилом.

Но Пидипригора не верил ни одному его слову и тупо ждал наихудшего: не облачко, а черная туча нависла у него над головой – его обвиняли в том, что он проник на Советскую Украину как тайный агент головного атамана. Он клялся перед следователем жизнью своего единственного ребенка, но следователь выслушивал его, хмурился и говорил:

– Подумайте еще и скажите правду о себе и о Палилюлке.

– Я его ни разу не видел!

– А что, если вам изменяет память? – ровным голосом допытывался следователь.

– Клянусь, не изменяет! Агент Бараболя только собирался отвести нас к Палилюлке.

– Курите?

– Курю. – Данил о машинально брал махорку из вышитого кисета следователя. Он уже не ждал побоев, как ждал их в первые дни, но не ждал и милосердия: какие-то черные люди подвели его под пулю.

– Вам же лучше будет, если скажете всю правду, – продолжал следователь, поднося зажигалку к его самокрутке.

– Где же она, эта правда? Если я скажу вам то, что вы хотите, это будет ложь. За нее вы расстреляете меня, расстреляете и без нее. Зачем же вам непременно расстреливать за ложь?

– Нет, я хочу только правды. – Из-под очков смотрели вдумчивые глаза, взгляд их был похож на взгляд учителя. Неужели в чекисты идут учителя?

И снова Данило идет под охраной по длинному, узкому коридору в свою камеру и падает на полотняную койку, желая только одного – уснуть. Трижды в неделю братья и жена приносят ему передачи: еду и одежду. Однажды Галина передала с хлебом двух петушков, тех, верно, которые по ночам будили Петрика. Данило взглянул на птиц и схватился обеими руками за сердце. Петушков он отдал Герусу, и тот принялся торопливо уплетать их, чавкая и высасывая каждую косточку. Наевшись, он достал папироску, постучал в дверь и через глазок прикурнул у часового, похваливая тюремное начальство.

– У самого с табачком не густо, а нам каждый день по девять папирос отваливает. А прежде в тюрьмах за табачный дух били смертным боем. – Герус ко всем подлизывался, даже к конвоиру: ведь и он может передать начальству о настроении арестованного. На допросах, когда официально спрашивали фамилию, он слегка изменял ее, чтобы вызвать улыбку начальства: это ведь тоже кое- что значило.

Но Данила ничто не могло развлечь. Тяжело тащились однообразные, словно из боли слепленные, безнадежные дни, с каждым часом стиралось в сознании все, что осталось от свободы. Не раз он жалел, что жизнь его сложилась так нелепо. Жаль было и жену, которой он своим возвращением еще больше искалечил жизнь: так смотрели бы на Галю, как на жену простого петлюровца, а теперь падет на нее и его новая вина. Жена шпиона, сын шпиона! Может ли быть позорнее клеймо для ее молодости, для детства Петрика! Не раз проклянут они кости отца и мужа.

Он задыхался от муки, с каждым днем все больше тупея. Порой ему казалось, что он подходит к порогу безумия.

Однажды вечером его внезапно вызвали на допрос к Сергею Пирогову, начальнику особого отдела.

«Вот и конец». Глаза Данила застыли, ноги подкосились. Держась руками за стены узкого коридора, он, как слепой, дошел до кабинета и остановился рядом с часовым на пороге – яркий свет ослепил его.

За столом сидел немолодой человек с желтым малярийным лицом и зябко поводил плечами, прикрытыми веселым венгерским полушубком внакидку. Рядом ерзал коренастый здоровяк в бекеше и голубой папахе, длинная трубка свисала из-под густых его усов. Он зорко глянул на Пидипригору, а начальник особого отдела – на них обоих. Прошла долгая минута молчания, и начальник тихо обратился к незнакомцу:

– Вам нигде не доводилось встречаться с этим человеком? – Он показал глазами на Пидипригору, хотя и без ответа все было уже понятно.

– Такой фигуры нигде не видел. – Усач вынул изо рта трубку и подозрительно смерил взглядом Пидипригору.

– А вы? – обратился начальник к Данилу и приложил руку к желтому, словно вылепленному из воску уху.

– Тоже бог избавил от встреч. – Данило равнодушно пожал плечами.

– Простите, что пришлось вас потревожить. – Начальник подал незнакомцу желтоватую узкую руку. – Спасибо за помощь.

– Кушайте на здоровье, – засмеялся тот и, с облегчением вздохнув, направился к двери.

В это время зазвонил телефон, начальник поморщился, подошел к громоздкой коробке, снял трубку.

– Товарищ Нечуйвигер? – спросил он, просветлев. – Добрый вечер, Григорий Петрович...

Эти слова как гром оглушили Данила. Там, на воле, под солнцем и звездами, находится его давний знакомый, у которого он когда-то отбил девушку. Галина и до сей поры повязывается его шелковым платком, не зная, жив или нет человек, впервые взбудораживший девичье сердце.

Данило силится понять, сходит ли он с ума или разговор и в самом деле идет о нем.

– Что я думаю о вашем подсудимом? То же, что и вы. Пал духом... «Человек есмь», – как писал Грабовский.

На пораженный мозг Данила одна за одной глыбами валяются страшные догадки. А может, это галлюцинация? Может, ему почудилось? Нет, это по ту сторону мира решается его судьба, решается подло, не лицом к лицу, а с помощью черного шнура телефона... Значит, он, Данило, подсудимый Нечуйвигера и тот судит его, жену и ребенка за украденную любовь. А на какое преступление не пойдет человек ради любви?.. Ею наполнены все мировые трагедии. Но, может быть, это лишь измышление больного мозга, измученного утратой всех надежд? Откуда здесь может взяться Нечуйвигер? А если это и он, как он узнал про Данила?

Слепой вихрь мыслей кружил у него в голове.

Пирогов между тем повесил трубку, поправил на плечах полушубок, а Данило в лихорадке бросился к нему:

– Гражданин начальник, скажите, вы обо мне говорили с Нечуйвигером?

– О вас. Догадались. Что вы! Успокойтесь... – удивился тот.

– Моя жизнь... от Нечуйвигера?..

– Да... В известной мере.

– Тогда я... – Он хотел обрушиться на Нечуйвигера, но сдержался: для чего? Ведь это не поможет ему вырваться из тисков холодной камеры. Он провел рукой по глазам и по надбровью, тяжело вздохнул и увял.

– А вы знаете товарища Нечуйвигера?

– Знаю, да лучше бы не знать.

– Почему? – удивился Пирогов.

– Почему? – взорвался Данило. – А потому, что, выходит, двоим нам тесно на земле. Когда-то я причинил Нечуйвигеру большое горе... Я... это же в молодости было... отбил у него девушку... Она моя жена, мать моего единственного ребенка. Я знаю, Нечуйвигер не мог этого забыть. Он наказывает меня... Я бы, верно, сделал то же на его месте. Не верьте ему, если можно... – Данило, обессилев, сел, обхватил голову руками.

А начальник все еще сидит молча, удивленный.

– Приключение, как в плохом романе. – Он встает, полушубок падает на пол, но Пирогов даже не нагибается поднять его.

– Вот именно – как в плохом романе, – пытаюсь подняться, бормочет Данило. С него, как изодранная одежда, начинает слетать гордость, достоинство, и в голосе звучат нотки мольбы: – Если можете, не слушайте Нечуйвигера... Он озлоблен любовной неудачей...

Лицо начальника вдруг становится жестким, восковые уши розовеют.

– Замолчите наконец!

«Ага, все же заговорил своим голосом!» – тупо отмечает Пидипригора.

– Тупые и злобные люди вбили вам в голову, что коммунисты ни о чем, кроме красного террора, не думают. Вы здесь оплевали своего знакомого, меряете его на свой аршин. А знаете, что вы только благодаря Нечуйвигеру выходите из тюрьмы раньше, чем можно было ожидать? Это доходит до вас? – Он постучал пальцем по лбу. – Товарищ Нечуйвигер заинтересовался несколькими делами и в особенности вашим. А вы о паршивенькой ревности... Стыдитесь, если стыд еще не растеряли! Нечуйвигер – коммунист, для него человек и дело выше собственного чувства.

Данило посмотрел на Пирогова полубезумными глазами и молча заплакал. Стукаясь

головой о стены узкого коридора, он почти бегом добрался до своей камеры, на радостях расцеловал довольно противную, птичью рожу Геруса и так запел «Где ты бродишь, моя доля», что в глазке раздался голос часового. Однако и часовой только развеселил арестованного.

А ночью Данила мучил тяжелый сон, приснилось, что Нечуйвигер передумал и решил засудить его. Данило снова плакал, но Герус больше не будил его.

– Пусть помучается хоть во сне перед волей! – завистливо бормотал картежник, глядя на разметавшегося на койке Данила, на его свежие, припухшие губы, которым завтра предстоит целовать жену и сына.

Утром Данило вышел за ворота тюрьмы и сразу же отправился в губком, к Нечуйвигеру. Но того на месте не оказалось – выехал на банду.

– Когда же я смогу его увидеть?

Молоденькая, стриженная под мальчика девушка подняла глаза на опечаленного посетителя, утешила:

– Еще увидите. Товарищ Нечуйвигер не гордый, увидите еще.

XXXIII

Марийка Бондарь хоть на некоторое время почувствовала себя настоящей хозяйкой. Правда, Горицвит, земля ему пухом, не наделил ее неродившегося ребенка – Свирид ничего не сказал ему, – но столько земли, сколько у нее теперь, не было даже у ее деда. Говорят, есть страны, где никогда не знали нужды в земле, а у нас на Подолье теснота, как на паперти, плохонькая нивка дороже жизни человеческой, за сдвинутую плугом между брат брату голову расшибает. Ну да, слава богу, и у них был помещик, да еще в генеральских чинах, так что хватило людям земельки.

После надела, забыв о доме и обо всем на свете, Бондариха несколько дней носилась по всем полям, словно боялась, как бы какие-нибудь полдесятинки не оторвались от урочища да не скрылись из глаз, как сказочный воздушный корабль. Но все ее непаханные нивки, обозначенные свежими, на совесть забитыми колышками, тихонько лежали меж осенними дорогами, в погожие дни над ними летала, дрожа, сверкающая паутинка, а в непогоду они дышали туманом или шуршали дождем, словно по ним шел невидимый путник.

Когда наконец упрочилась уверенность, что ее земля – это уже не сон, Марийка закрутилась; она выбегала теперь не только в поле, но ходила и по ярмаркам, бережно пронося свой живот между круторогими волами и одутлыми, уже непригодными для войны лошадьми. Она жадно прислушивалась к ценам на скот, производила свои подсчеты, даром что за душой у ней не было и ломаного гроша.

Зато дома, перед своими, Бондариха теперь вела себя степенно, ступала загрубелыми ногами по полу будто заморская царица и торжественно, как дары, несла от печи к столу какой-нибудь постный кулеш или «рябушку»¹⁶. Иван только значительно переглядывался с Югиной, и оба то и дело прыскали, давясь немудреной пищей. Однако и это не выводило Марийку из равновесия, она не щелкала дочку ложкой по лбу, не цеплялась к Ивану, а смиренно вздыхала и только изредка показывала пальцем на лоб – дескать, не пора ли старому да малой поумнеть...

Но через некоторое время Марийка затревожилась. Дошел слух, что петлюровцы прорвались к югу от Летычева. В тот же день она обегала всех соседей, выслушивая самые разнообразные предположения, мимоходом поругалась с Иваном, треснула по плечу Югину, а вечером понесла в церковь мисочку и свечу и обратила к богу слезную мольбу о том, чтобы товарищ Ленин победил всех супостатов, у которых к мужику нет никакой милости.

После своей молитвы и пролитых слез Бондариха с легким сердцем вынесла из церкви

¹⁶ Рябушка – каша из пшена и чечевицы, пестрая, отсюда название. (Примеч. автора.) .

свое разбухшее тело: как истинно верующая, она по выражению лица всевышнего, державшего в руке землю, поняла, что он услышал молитву и не оставит ее просьб. Кроме того, она вдруг постигла и уверовала, что мужицкие слезы богу ближе других, ведь недаром же в руке господней покоится вся земля, которую мужик пестует своими руками. Да, всего милосердней должен быть господь к мужику.

Это открытие озарило мнительную Марийку радостью, она шла домой в таком настроении, будто на нее сошла благодать, и только на самом краю ее мечты маячила еще скотинка, пощипывая травушку или волоча по полю плуг.

За церковной оградой Марийку нагнал отец Николай. Она, склонив накрытую двумя платками голову, стала под благословение, поцеловала пухлую, как пампушка, руку, пропахшую табаком, ладаном и старыми, лежавшими в земле деньгами: каких только бумажек не приносили теперь мужики!

Как и про каждого человека, село и про батюшку говорило разное. При гетманщине он был против немцев, а при красных стоит против большевиков. И даром что у батюшки седая борода, он и до сих пор заглядывается на молодаяк, а в престольные праздники его везут домой, как последнего сапожника, – допивается отец Николай до положения риз. Но богослужения правит отменно, голос имеет густой и за требы не очень торгуется, – на это больше падка приземистая, как улей-дуплянка, матушка.

Батюшка привычно теревит рукой наперсный крест, вздыхает.

– У вас, Марийка, горе? Чего это вы так плакали в храме божием? – Он, подняв черный рукав рясы, придержал пышную белую бороду. – Может, Иван заболел? Что-то он весьма помногу на собраниях высиживает. Или за это большие деньги платят?

– Платят за это, батюшка, два белых, а третий как снег, – отвечает Марийка. – Только лучше на собраниях сидеть, чем в фильки до третьих петухов резаться. Все, может, поумнеет меж людьми.

– Может, и так, – неохотно соглашается отец Николай. – Чего ж ты плакала?

Марийка заколебалась, не зная, как и рассказать о такой молитве. Но в этот час она не могла покривить душой и поделилась с батюшкой. Отец Николай, услышав ее слова, воззрился на женщину так, словно у ней из-под платка по крайней мере показались бесовские рожки. Он яростно простер вверх руку, так, что рукав рясы бессильно опал и заболтался на локте.

– Глупая тварь! Дубина! Богохулка! Богу так нужна твоя молитва, как телеге пятое колесо. Не знаешь настоящих молитв – не выдумывай! Ты еще за Троцкого не молилась?

Но Марийка не раскусила всей каверзы, заключенной в вопросе батюшки, и смиренно ответила, что за Троцкого не молилась, потому что не он главный. И как ни ругал ее после этого отец Николай, она усомнилась все же в справедливости его слов. Еще несколько раз обозвав Марийку богохулкой и омрачив ей праздничное настроение, поп грозно понес в темноту черный колокол своей рясы.

С того дня, когда петлюровцы прорвались к югу от Летычева, Марийку впервые за всю ее жизнь обеспокоили военные дела, и она повсюду, где только можно было, допытывалась, наступает или отступает эта чертова Петлюра и скоро ли придет аминь этому дьяволу Врангелю. А так как в те дни по всем дорогам расползались самые невероятные слухи и в каждой хате сидел свой политик, то не мудрено, что Марийка сбилась с ног, докапываясь до истины.

То она без памяти летела к Свириду Яковлевичу, кричала, что Советская власть не принимает мер, чтобы успокоить мужика, то со смиренной физиономией заходила во дворы кулаков и шепотом передавала им подслушанный у Ивана секрет и бралась за полцены чесать кудель, чтобы на всякий случай задобрить тех, кто навеки ополчился против ее упрямого Ивана, который стал столбом и нипочем не согнется, не думает о том, что так хоть кому намозолишь глаза.

– Поменьше бегай по комбедам да по коммунистам! – кричала она на мужа, когда становилось точно известно, что великий князь, родной брат царя, подошел на английских и

французских кораблях и высадился и в Петрограде и в Москве или что немцы перешли румынскую границу, захватили немецкие колонии, а теперь идут на Киев, и там уже весь город гудит от колокольного звона.

– Что там, Иван, в газетках пишут? – спрашивала она, терпеливо глядя на непонятные буквы, когда слышала, что мировая революция одолевает немца и англичанку.

Но, к сожалению, добрых вестей о революции было меньше, чем о Врангеле, царской родне, разных генералах, немцах, японцах, англичанах, французах, румынах и всевозможной их челяди, которая либо шипела, либо «бряцала оружием». Вот почему печаль все прочнее залегала в глазах Марийки, и они от этого становились почти сизыми.

Но тоска тоской, а живой человек думает о живом, раскидывает, где прожить правдой, а где хитростью. И Марийка в бессонные ночи и в хмурые осенние дни заседала пока свою землю не семенами, замыслами. Наконец, заранее узнав все цены – на чернозем, и на суглинок, и на супесь, она твердо решила продать две полдесятинки, доставшиеся им от богачей, оставить только помещичью землю. Она сказала об этом Ивану, однако тут уж он постучал пальцем по лбу.

– Давно оттуда тринадцатая клепка выскочила? Или лоб у тебя для того, чтоб им орехи колоть?

Ну разве можно после этого разговаривать с человеком, который дальше своего носа не видит и не догадывается, что такое мужицкая хитрость? И Марийка принялась хитрить тайком от мужа. Кто виноват, что у других мужья как мужья, а ей, как на грех, попался самый завалищий и недотепа.

Как раз в это время Подольский губпродком выделил для населения двадцать три вагона соли, и Новобугровский комбед послал за своей долей в Винницу Ивана и Кушнера. Глупее их трудно было подобрать из всего села – эти для себя и крупинки соли не припрячут в карман или за голенище.

В субботу, когда Степан молодецкато подъехал на дымчатых лошадях к их воротам, Марийка поспешно разрезала до нижней корочки свежеиспеченный каравай, ножом выдолбила в одной половине углубление, положила туда кусочек масла и осторожно сунула все это в котомку, где уже лежали несколько огурцов, луковиц и яблок. Потом подчеркнуто, чтобы Степан видел, подала мужу в тряпочке щепотку соли.

– Много, муженек, не прощу, но верни мне из казенной соли хоть ту малость, что из дому взял.

Иван крякнул, засмеялся, повернулся, крепкий и спокойный, к Степану.

– Это, брат, тонкий намек на тугой кошелек.

– Другие все к себе, а ты все мимо, – повысила голос Марийка. – Уперся, как кол в плетень, и за медом не нагнется...

– Хе, знаю твой мед! – подсмеивался Иван.

Его умные, с веселыми искорками глаза читали каждую мысль на женином лице, но он не переставал дивиться красноречию своей упрямой подруги. Не сердясь, он попросился с женой и дочкой, вышел во двор, сел на телегу с мешками для соли.

Марийке хотелось добавить еще кое-что про соль, ну хоть чтобы карманы набил, но она постеснялась и, когда Степан гикнул на лошадей, перекрестила спину мужа и простояла у ворот, пока подвода не скрылась из глаз.

Теперь, без Ивана, и думать стало свободнее. Марийка покрутилась во дворе и вошла в овин. Здесь, слева от тока, дощатая перегородка делила сусек на две половины. Когда-то в одной половине складывали сено, а в другой у них стоял маленький крестьянский конек с фиалковыми глазами. Но хищная осенняя муха занесла сибирку, и фиалковые глаза помутились от боли и слез, конька пришлось убить, а шкуру его за бесценок взял Супрун Фесюк: он и заразной скотины не боялся.

С ее безголовым Иваном они и поныне оставались без лошади, не разжились ни в экономии, ни у галичан, когда те в тифу отступали по весеннему бездорожью. Но раз у ней муж такой нерадивый, что ж, позаботится о божьей скотинке она. Марийка с женской

легкостью переложила вину за все невзгоды на плечи Ивана, а спасительницей дома видела одну себя: ведь муженек до сей поры и под зябь не вспахал. И она снова с тайной надеждой посмотрела на то место, где когда-то стоял конек.

В хате Бондариха оделась по-праздничному, долго прихорашивалась перед зеркалом, даже сама себя укорила за это, однако пришла к выводу, что она еще баба хоть куда и что высокий лоб у ней для ума, а вовсе не для того, чтобы колоть орехи, в чем ее насмешник муж скоро убедится и сам. После этого, довольная собой, она торжественно вышла из хаты, заперла дверь на щеколду и направилась через все село на луга, где под самым Бугом жил ее дальний родич по матери Семен Побережный.

В просторной хате Побережного пахнет тиной, рыбой и отсыревшей пряжей, – видно, пряжу собрались продавать и доводили до необходимой влажности. Возле светца хозяин узким, как щучка, челноком ладит рыбачью сеть.

– Добрый вечер, дядя Семен! – Марийка подымает свой высокий живот, собирает в улыбке мелкие морщинки возле горбатого носа. – Один скучаете? А где же тетушка?

– Поехала с Захаром опорожнять верши.

Побережный поднимается с долбленого стульчика, за ним, зацепившись, тянется снасть, и рядом с ней еще красивее выглядит задумчивый, немолодой, вислобрый рыбак, не одну лодку рыбы пропустивший через свои руки, не одного человека избавивший от смерти в волнах.

– И вы не боитесь пускать ее на реку?

– Она сама без воды жить не может. Привыкла. А как брал ее – на рыбу и смотреть не хотела.

– А на вас смотрела? – смеется Марийка.

– И на меня не смотрела, некогда было. – Побережный, говоря, как будто взвешивает каждое слово. – Я ее один раз увидел в церкви и сразу сватов прислал.

– Проворны вы были!

– Да, не как теперь – по три года живут, а на четвертый расходятся. Вот некому бить по одному месту! Садись, милая. Ты, может, за рыбкой?

– Нет. А ловится теперь что-нибудь?

– Да разве теперь рыба? Вот прежде была рыба! Она тоже спокойствие любит, а где оно теперь, спокойствие-то?

– Нет его ни человеку, ни рыбе, – подтверждает Марийка. – Говорят, в Проскурове Петлюра бессовестная всю рыбу поглушила. – С тех пор как Петлюра угрожал ее наделу, она готова была приписать ему все, что слыхала и чего не слышала, а называла его только в женском роде, почему-то сблизая понятия «Петлюра» и «холера».

– Откуда он только взялся на нашу голову? – Побережный резко хмурится, его тяжелые брови нависают на глаза. – Вот откатилась немного война от нашего порога, а он снова гонит ее сюда.

В хате залегает тишина, и только под шестком играет на своей скрипочке неутомимый сверчок.

– А знаете, дядя Семен, зачем я к вам пришла? – разрывая последний страх перед Иваном, говорит Марийка, не подымая глаз на рыбака.

– Скажешь – узнаю.

– Говорят, вы продаете своего вороного.

– Продаю. – Побережный удивленно подымает брови. – Завтра еду с ним на ярмарку.

– Добрый конь?

– Справный. Только теперь земли прибавилось, так я хоть на паршивенькую, да на пару сколачиваюсь.

– Так, может, станем сватами?

– Это что же, вы хотите у меня вороного купить?

– Истинно так.

– Так чего ж ты, Марийка, в эти дела мешаешься? Почему не Иван пришел?

– А это, дядя Семен, тонкое дело, – понизила голос Бондариха. – Денег у нас, как говорится, кот наплакал, вот и решили мы продать полдесятинки, а добыть коня!

– Вон как! – Побережный задумался. – И все-таки почему ты, а не Иван хлопочет?

– Да разве он может это сделать при своей комбедовской должности? – пустилась во все тяжкие Марийка. – Вот и просит вас, чтобы тихонько раздобыли ему скотинку, а землю либо сами берите, либо продадите, как вам лучше покажется.

– Беда мужику! – сочувственно проговорил рыбак. – Вот уж и земля есть, а не уколупнешь ее пятерней.

– Сколько еще к ней надо, – пригорюнилась и Марийка. – Скотину дай, плуг дай, скоропашку дай, борону тоже, да и без телеги не обойтись. Как подумаешь – мозги сохнут. – И она сразу забывает, что говорила рыбаку неправду, – горькая мужицкая правда захватывает ее.

– Ну что ж, Ивану я пособлю, хороший он человек. – Побережный задумчиво шагает из угла в угол, – Его земля и мне бы пригодилась, да сам на лошаденок сколачиваю. Какую полдесятинку думаете продать?

– Ту, что от Сичкаря к нам перешла. На вырубке.

– Какую же цену положили?

– Был бы конь добрый.

– Э, где мое не пропадало! – решительно махнул рукой рыбак. – Забирай моего вороного, а завтра устроим твою землю. Есть у меня один человек на примете, только из Бессарабии вернулся, к разделу запоздал. По рукам!

Марийка едва не подпрыгнула от радости, но своевременно сдержалась, степенно промолвила:

– Ладно, дядя Семен, только с вас еще магарыч, – и хлопнула рыбака по руке. Ей явно нравилось барышничать.

– Ты что же, хочешь, чтобы я с тобой без мужа пил? – засмеялся Побережный.

У Марийки задорно блеснули глаза.

– А хоть бы и со мной, раз муж побоялся пойти! – Она уже верила, что Иван и в самом деле испугался идти к Побережному.

– Нет, милая, нестоящее дело пить магарыч с бабами, – покачал головой Побережный. Он достал из шкафчика маленькую липовую кадучечку, пошел с нею в чулан и налил меду. – Вот тебе мой магарыч, – сказал он, подавая кадучечку Марийке.

Та нагнулась над медом, попробовала с мизинца на вкус. Приятная терпкость сразу подсказала, с каких цветов нанесли мед пчелы.

– Подсолнечный?

– Подсолнечный, самый свежий. Коня сейчас возьмешь или Иван зайдет?

– Где уж ему ходить! – Марийка жеманно подобрала губы. – Ему только за жениной спиной на собраниях сидеть.

Они вышли из хаты, открыли маленькую конюшню. Нагибаясь в дверях, Побережный скрылся в стойле, зазвенел уздечкой и вскоре вывел рослого коня.

– Бери, Марийка, пусть он тебе золотой пласт распашет. – Семен передал женщине повод, погладил коня по спине, вздохнул.

И только теперь на Бондариху напал страх, только теперь она увидела перед собой глаза Ивана, однако на этот раз не смеющиеся, а гневные.

«Ну и бес с ним!» Она стряхнула с себя минутную слабость, поблагодарила Побережного и по-бабьи повела за собой коня.

На другой день Семен продал их полдесятины, а Марийка выехала с ночи пахать в паре с Есипом Киринюком, немолодым, на редкость молчаливым человеком. Марийка была очень рада такой компании – Есип даже не спросил ее, откуда она взяла коня, сколько за него заплатила, и ни слова не промолвил об Иване. У него был свой взгляд на разговоры: ежели у кого есть что сказать, то и так скажет, а языком трепать нечего.

На пашне он разложил под грушей-дичкой костер из хвороста, натаскал с чьего-то поля

немного картошки, положил ее на жар и уселся, прислушиваясь к фырканию лошадей в низинке. А Марийка сперва улеглась на телеге, уже каясь, что нетерпение погнало ее сюда на долгую осеннюю ночь; можно бы и на рассвете выехать. К тому же было и страшно: а что, если ночью вернется Иван?

А он и в самом деле вернулся ночью из Винницы, удивился и разозлился, застав в доме одну Югину. В нем внезапно проснулась ревность.

Он разбудил дочку, спросил, где мать.

– А она поехала с дядей Есипом на ночь пахать. – Заспанная Югина отбрасывала кулачками с кругленького личика волосы, шурилась на свет.

– Что ее понесло в осеннюю ночь? – оторопел Иван.

– Свой конь, – вдруг засмеялась Югина, вспомнив, как мать увивалась вокруг покупки.

– Свой конь? – Иван не верил ушам. – Откуда он взялся?

– Мама его за полдесятины выменяла, – зашебетала Югина и побежала к шкафчику, – еще и меду в придачу принесла. – И она подала отцу липовую кадушечку.

Иван Тимофиевич с ненавистью глянул на кадушечку и в бешенстве выскочил во двор. Подумать только – чтоб собственная жена выставила его на такое посмешище! О чем только теперь кулачье не зашипит! «Голодранцам дай землю, а они ее завтра же промотают, променяют, проедят, пропьют...» От стыда и ярости он то размахивал кулаками, то хватался за голову.

В поле он издали приметил Киринюка и Марийку. Они сидели друг против друга перед золотым кустом костра, а над ними чудесно темнела густая груша. Иван как гром обрушился на них, выхватил из-под Киринюка кнут, размахнулся и хлестнул по плечам Марийку, которая уже пустилась наутек от костра.

– Убивают! Спасите, люди добрые! – завопила она, бросаясь к телеге.

Но муж не погнался за ней, только проговорил глухим от возмущения голосом:

– Не будь ты тяжелая, я б для первого раза не так еще отстегал, чтоб тебя черти на том свете стегали! Однако и сейчас так проучу, что не полезешь с глупой головой в умные дела. Ишь какой барышник нашелся!..

Он пошел в низинку, разыскал вороного, повел к костру, для верности спросил Киринюка:

– Он?

Тот кивнул головой.

– Добрый конь, – похвалил Иван. – Я, дядя Есип, возьму ваш кнут.

– Бери. А сам куда?

– Поведу коня в уезд. Сдам на врангелевский фронт.

– Господи! Боженька! Спасите мою душу! – заголосила у телеги Марийка. – Иван, на коленях прошу!

И она в самом деле выбежала из тьмы и упала перед костром на колени. Огонь заиграл на ее скорбно заломленных руках, осветил на ресницах красные, как кровь, слезы.

Но Иван и не глянул на жену. Схватившись рукой за гриву, он вскинул свое грузное тело на коня, выпрямился и поехал полями на дорогу.

Топот вороного отдавался в истерзанном сердце Бондарихи как похоронный звон.

– М-да, – только и проронил Киринюк.

Он дождался, пока по искорке не облетел весь костер, потом тоже сходил в низинку, привел своего коня, запряг и показал Марийке на телегу. Они ехали домой как две тени. У Марийки не хватало сил, даже чтобы зареветь или отругать Ивана: так страшно расправился он с ее надеждами.

В хату она вошла пошатываясь, а когда зажгла свет, увидела на столе, как горькую насмешку, щепотку соли в тряпочке. Что просила она, то и привез муж.

На объединенном Ялтушковском совете министров Украинской народной республики и руководства армии верховный главнокомандующий Симон Петлюра со свойственным ему театральным вдохновением не обрисовал, а прямо-таки изваял план захвата Правобережья и Левобережья. Он обеими руками подымал фронт, раскинувшийся от Днестра до Летычева, и фронт совершал чудо: петлюровцы шли вперед, а красные бежали, петлюровцы въезжали в Киев, а их встречали колокола Софии, горожане подносили хлеб-соль на вышитых рушниках.

Оперативный план наступления был проще плана немцев и гайдамаков в восемнадцатом году, кстати говоря, повторенного Петлюрой без малейших изменений в девятнадцатом.

От этой розовой и совершенно неквалифицированной болтовни волевое, с массивным, четырехугольным подбородком лицо генерал-хорунжего Юрка Тютюнника злобно кривилось. Он видел перед собой не глаза вождя, а фосфорический, с косинкой взор маньяка, упивающегося пустым звоном собственных слов. Тютюнника передергивало от этой смеси военной безграмотности и ничем не обоснованных уверений в победе. На это обратили внимание и министры и премьер Андрий Левицкий. Тютюнник надеялся, что петлюровский поток слов оборвет командующий армией Омелянович-Павленко, но тот лишь удивленно поднимал руку к маленькому клинышку бородки, а сам отмалчивался, чтобы уклониться от всякой ответственности. В искусстве взваливать ответственность на чьи угодно, только не на свои плечи, хитрый и осторожный Омелянович-Павленко был родным братом Симона Петлюры.

И тогда резко выступил Юрко Тютюнник. После его речи от петлюровского плана пошел дурной запах, как от лопнувшего пузыря. Вместе со своим планом наступления Тютюнник предложил на всякий случай разработать и план отступления: война есть война, и всякие могут быть неожиданности. Вокруг этого предложения разгорелись споры; об отступлении все министры и головной атаман не желали думать – бежать можно было и без плана.

Когда рассерженный Тютюнник, заломив черную высокую шапку, ушел в штаб своей части, а министры, под охраной стрельцов, разбрелись на ночь по комнатам каменного дома директора Ялтушковского сахарного завода, кто-то пустил слух, что генерал-хорунжий собирается арестовать «правительство» Украинской народной республики. Перепуганные министры сбились в одну комнату, с ужасом ожидая решения своей судьбы. Но арестовывать их никто не пришел, и утром сам Тютюнник немало был изумлен тем, что все «украинское правительство» собралось в такой тесноте. Кто-то сказал, что министры обдумывали дату наступления, хотя на самом деле они больше всего были озабочены мыслью, как бы выскочить на своем грузовике из Ялтушкова в Каменец-Подольск.

Наступление по всему фронту было назначено на двенадцатое ноября. А на рассвете одиннадцатого под Старой Мурафой заиграли трубы Четырнадцатой советской армии. Восьмая конная дивизия первой ударила на петлюровцев. У нее был приказ прорвать фронт и отрезать от него петлюровскую конницу, стоявшую возле Могилева-Подольского.

Рейд Восьмой дивизии начался удачно: уже в селе Шестаковке вчерашние новоушицкие хлеборобы, насильно мобилизованные Петлюрой, стали бросать оружие и сдаваться в плен. Пока Восьмая дивизия захватывала Ивашковку, Лучинец, Кукавку, Вторая бригада прорвалась на Могилев и после жестокого боя с конницей Фролова ворвалась в город. Южная петлюровская группа, не сдержав натиска Четырнадцатой армии, отступила, частью переправилась через Днестр в Румынию. Несколько дней петлюровцы с успехом сражались на севере: здесь дивизия Яковлева на Летычевском направлении взяла Литын, а дивизия генерала Перемыкина из Дерашни продвинулась на Жмеринку. Но уже шестнадцатого ноября обе дивизии отступили под ударами Красного казачества.

Петлюровская свеча горела с обоих концов. Тогда головной атаман бросил в бой свои последние резервы – десять тысяч стрельцов, бросил уже не для победы, а для того, чтобы они своей кровью прикрыли переброску за Збруч имущества министров и казначейства.

Петлюра и все министры, кроме Архипенка, бежали от своих войск на ту украинскую землю, которую они отдали во владение Пилсудскому. И польский Бонапарт не забыл услуг кобеляцкого корсиканца: Пилсудский подыскал для Петлюры столицу – маленький городок Тарнов. Там в гостинице «Бристоля» уместилась вся «государственность» головного атамана: все министерства, послы, военно-походная канцелярия, типография и сам головной атаман со своим Малютой Скуратовым, как прозвали его приспешники Чеботарева.

В пропахших кухней покоях «Бристоля» головной атаман, быть может впервые в жизни, ощутил эфемерность своей власти. Петлюра созвал все свое высокое окружение и на межпартийном совещании трагическим голосом известил об «акте величайшего исторического значения»: он, головной атаман, подписал свое отречение.

Он надеялся, что межпартийное совещание будет слезно умолять его остаться у власти. Но совещание, деморализованное последними событиями, молчало.

И это ошеломило Петлюру больше, чем поражение на фронте. Он глазами молил, чтобы хоть одна живая душа сказала, что Украина не может существовать без своего головного атамана. Но на него смотрели полумертвые души, лишенные дара речи и веры в атамана. В ярости он хотел было гордо покинуть мертвый зал, но жалость к себе и возмущение неблагодарностью единомышленников вынудило его произнести новую импровизированную истерическую речь, после чего головной атаман неожиданно для всех порвал свое отречение, найдя, должно быть, что лучше иметь хоть гостиничную государственность, чем не иметь никакой.

Двадцать первого ноября последние петлюровские части и обозы под прикрытием войск Тютюнника бежали через мост на правый берег Збруча. Переправой никто уже не командовал. На мосту все смешалось в кучу. Возы насакивали на возы, стрельцы и ездые с бранью пробивали себе дорогу кулаками, телеги и лошади летели в воду, и предсмертное лошадиное ржание не трогало полуошалевших людей. Призрак Котовского наводил ужас на остатки петлюровских частей, и только самые смелые ломали на берегу оружие, чтобы оно не досталось полякам, и, плюнув на имущество, перебирались с голыми руками к своим вчерашним союзникам. А те бесцеремонно ощупывали их, забирали все, что можно забрать, не брезгуя даже часами с руки или шинелью с плеча, была бы только не слишком потерта.

Бригада Котовского уже приближалась к Волочиску и летела на Збруч, когда на мост, пробиваясь сквозь остатки «дикой» дивизии черношлычников и желтошлычников, прямо в месиво тел втиснулся подполковник Погиба. Его, одетого в крестьянскую свитку, чуть не столкнули в холодные волны реки, на которую уже ложились густые сумерки. Погиба с ужасом вцепился в ближайших петлюровцев, и человеческий водоворот выбросил его на другой берег. Можно было бы наконец легко вздохнуть, но сразу же на него налетел низкорослый, толстый жовнир с сизым носом, под которым торчали клыкастые усы. Оружия у подполковника не было, но жовнир вцепился в его руку, пытаясь сорвать обручальное кольцо. Погиба, не долго думая, тихо, без размаха ударил кулаком в то место, где сходились нос и усы мародера; тот дико вскрикнул, пошатнулся, и подполковник метнулся в темноту, где звенело оружие и смешивалась отборная брань союзников.

После голодных мытарств в Тарнополе Погиба вместе с пятью тысячами петлюровцев попал в болотистый Вадовецкий лагерь, сооруженный еще австрийцами для русских пленных. И здесь польские коменданты принялись голодом, холодом, жестокостью донимать солдатское мясо, готовое отправиться хоть к черту в зубы, лишь бы оставить обнесенный колючей проволокой полуразрушенный лагерь.

Гороховый суп, на поверхности которого вместо шкварок плавали свернувшиеся колечком черви, вонючая конина вызвали в лагере возмущение, но оно тут же было подавлено оружием союзников. Труднее было справиться с желудочными болезнями, чесоткой и страшными язвами.

Тысячи людей, загубленных за чужие грехи, оплакивали свою Украину, и лишь названия родных городов и сел звучали над ними отдаленным пасхальным благовестом.

Вчерашние войны в соломенных или долбленых деревянных башмаках тенями сновали по лагерю, проклиная и себя и головного атамана, который так и не отважился приехать к ним из своей резиденции в отеле «Бристоль».

Подполковник Погиба, потеряв надежду, что его спасет Петлюра или кто-нибудь из высокого окружения атамана, с ужасом смотрел на последние конвульсии атаманины и боялся только одного: опуститься до того уровня, когда жизнь потеряет уже всякую ценность. Пока у него были разные дорогие мелочи, он выменивал их на харчи, следил, сколько мог, чтобы не заели вши, а когда снял с исхудалого пальца последнюю ценность – обручальное кольцо, почувствовал, что все в жизни уже позади и не за что больше бороться. И в тот же день вши, предчувствуя обреченность жертвы, прямо-таки градом посыпались на него.

XXXV

Из-под серебряной стужи утреннего тумана выходят с солнцем тополя. На потрескавшейся коре тает розоватый иней, и вскоре деревья окутываются паром, словно теплое дыхание обвеваает их. На ветках золотыми сережками покачиваются последние листочки, а на побелевшей траве еще темнеет прошва заячьих следов.

Данило Пидипригора, прижимая к груди закутанного Петрика, выходит на край села, разбросавшего по лесу беленькие хатки. У колодцев и на перекрестках уже меньше крестов – тиф больше не свирепствует в повеселевших селах, и реже налетают по ночам бандиты. После разгрома Петлюры власть сразу взялась за атаманов и батек, не сложивших оружие. Вот и сегодня где-то под Вербкой стрекотали пулеметы, и лошади без всадников добежали до самых Березовских лесов.

– Мама-мама, мама-мама! – кричит Петрик и размахивает ручонками.

Он заметил между деревьями мать.

Она легким шагом подростка спешит к своей семье, а в руке у нее раскачиваются нанизанные на лозину самые поздние грибы – зеленки, которые уже в первые заморозки поднимают землю в сосняке и упрямо стоят под ее прикрытием.

– Соскучился, маленький? – Галина берет из отцовских рук сына, и Петрик привычно ищет грудь, хотя мать уже отняла его.

Лесная дорожка вздыхает, шелестя опалым листом, вьется между стволами и, словно в сказке, ведет в неведомые дали, туда, где солнце просыпает зернышки лучей на остывшие прогалины. Петрик снова переходит к отцу, а Галина, поправив под платком тяжелые косы, углубляется в дубраву, бережно срывает гроздь спелой калины и вдруг вскрикивает:

– Данило, иди сюда!

Он подходит и удивленно останавливается возле большого пня: между его отрогами, как два маленьких колокольчика, склонили свои головки только что расцветшие подснежники. Почему им, первенцам весны, вдруг вздумалось расцвести осенью, почему им не захотелось ждать своего туманного марта?

Галина, и до сих пор верящая в приметы, радуется цветам, но сомневается: к добру ли расцвели?

– Цветет все к добру, – заверяет ее муж. – Так и знай: с этой осени начинается наша весна.

И она по-детски верит его словам, осторожно, у самой земли срывает цветы, украшает ими свою еще девичью жакетку.

Дорожка выводит их к лесному пруду, от плотины, разметав косы, с радостным криком бежит Василинка. И только теперь Данило замечает, что у нее печально очерченный рот, да и темно-серые глаза не из веселых, хотя и блеснула в них радость при встрече. «Это лес делает людей такими», – решает он и отдает Петрика девочке.

– Ты мой маленький, ты мой славенький, пташечка ты моя! – воркует над ним Василинка, сообщая мимоходом взрослым, что мать ушла в церковь, а отец только что вынул

соты и разрезает их на куски, а то скоро по тракту повезут красноармейцев, раненных в бою с бандой, надо же хоть медом их угостить.

В хате у стола, под вышитой богоматерью, стоит в чистой полотняной рубашке брат и торжественно разрезает соты, укладывая куски в большую деревянную миску. Ниточка меда блестит на его усах, и по ней сонно ползает пчела. Сейчас лицо брата больше нравится Данилу, чем несколько дней назад. Ага, это с него сползли тени страха, недаром он так радовался, что Петлюра бежал за границу, – теперь далеко головному атаману до Мироновой земли.

Мирон, улыбаясь, идет к гостям, наклоняется к Петрику, а тот с размаху бьет его ручонкой по лицу: мол, не колись своей щетиной...

– Гляди, какой забияка, – удивляется Мирон, а ребенок с криком «э-э» снова воинственно заносит на него руку, готовый по-настоящему защищаться. Все смеются. – Хороший у вас, Галя, сынок. А мне вот не везет на сына, – с сожалением говорит Мирон.

Позавтракав, все выходят на старый большак, где ветерок подымает золотые вороха липовых листьев. То тут, то там стоят в ожидании мужчины и женщины, держа в руках мисочки с едой, румяные пампушки, яблоки, хлеб, пачки медового табаку. Вокруг слышна жалобная бабья речь; мужики задумчиво переговариваются о том, как под Вербкой вдрызг расколошматили сучьих бандюг. Вдалеке из-за поворота высыпает кучка детей. Они бегут, крича на все село: «Едут, едут!»

Старый Горицвит с Дмитрием подходят к родне Мирона, и Данило узнает подростка, которого видел в ветряке.

– Помнишь меня? – сердечно улыбаясь, спрашивает он.

– Помню. – Подросток бережно пожимает ему руку.

В другой руке у Дмитра котомка с грушами. На лице – ни кровинки: он вспоминает в эту минуту отца, и старик уже раскаивается в душе, что взял на тракт внука.

Между липами появляются первые всадники, высокие шарабаны и скрипучие крестьянские подводы, на которых лежат раненные. Женщины провожают их вздохами.

Люди обступают печальную вереницу подвод; над ранеными наклоняются девичьи платки, мужицкие бороды.

– Может, медку, сыночек?

– Белого хлебца свеженького попробуй...

На солому ложатся простые крестьянские дары. Молоденький, с перевязанной рукой красноармеец берет из рук Галины кусок душистых сотов и смеется.

– Спасибо, красавица, спасибо, златокосая! Пошли тебе бог неревнивого мужа!

Галина краснеет и тоже смеется. Она подает еще кому-то, и вдруг муж дергает ее за рукав. Она смотрит на его побелевшие глаза, потом переводит взгляд в ту сторону, куда глядит Данило, и видит знакомое лицо. Над высоким лбом разлохматились черные волосы, запали и побледнели смуглые щеки, заострился прямой нос, болезненно сжаты ресницы. Это Григорий Нечуйвитер. Галя со стоном бросается за подводой, и Григорий, словно услышав ее стон, с трудом раскрывает глаза, но не видит ни свою первую любовь, ни своего соперника. Галина дрожащей рукой срывает с жакетки нежные колокольчики осенних подснежников и кладет их на грудь Нечуйвиту, как две капли своей чистой материнской любви к настоящему человеку. Данило обнимает жену, словно боится, что она теперь оставит его, и шепчет посеревшими губами:

– Вот и встретились, Григорий. Вот и встретились. Эх они тебя искалечили.

Подвода удаляется, изредка роняя на тракт капельки крови.

За подводой, погруженный в сумрачное раздумье, медленно едет смуглый, весь в кожаном, горбоносый красавец. При виде хорошенькой златокосой женщины, припавшей к Нечуйвиту, лицо всадника на миг оживила саркастическая улыбка, но он сразу же согнал ее с губ: этой ночью он лишился права подсмеиваться над Нечуйвитром, как подсмеивался еще несколько дней назад над его романтичностью, над тем, что Григорий находил время разбираться в делах какого-то петлюровского сотника. Этой ночью произошло нечто

ужасное: когда бандитам удалось расцечь надвое их отряд и Кульницкий увидел над головой Нечуйвitra мертвенное в лунных лучах сияние скрещенных сабель, он ахнул в душе и со всех ног помчался в лес. Оттуда ему было видно, как от Нечуйвitra отлетели бандиты и лошади без всадников и как сам Нечуйвiter опустил голову на шею своего вороного. Тогда Кульницкий бросился на помощь, он опередил красноармейцев, но Нечуйвiter отвернулся от него, как от жабы, и упал на горячие руки бойцов.

«Выживет ли?.. Лучше умереть, чем мучиться от таких ран...» – думает Кульницкий, с сожалением глядя на раненого Григория, и ловит себя на том, что заглушает сочувствием подленький, недостойный его страх перед будущим. Хотя в конце концов не такой уж это смертный грех, что он на несколько минут убежал в лес. Может, и он там отбивался от бандитов, как Нечуйвiter на опушке?.. Это можно было бы назвать рождением подлости, но так мог подумать кто-нибудь другой, а не он. Лучше обдумать отчет о разгроме банды, прикинуть, сколько в конце отвести места Нечуйвитру, а сколько себе... Но и это, впрочем, зависит от того, выживет ли Нечуйвiter.

Когда печальная процессия уже выехала за село, к Мирошниченку подошел Иван Бондарь. Скорбь и сдержанная улыбка перемежались на его лице.

– Счастливо им выздоравливать! – Он кивнул головой вслед подводам. – А теперь, Свирид, может, пойдём ко мне?

– Что там у тебя?

– Сын родился!

Свирид Яковлевич дрогнул, но тут же овладел собой.

– Пусть растет на радость родителям и добрым людям. Когда родился?

– Вчера еще. Марийка хочет, чтоб я непременно с тобой первым выпил по чарке.

– Мать надо слушаться, – согласился Мирошниченко, чувствуя, как под веками накапливается боль.

В хате Бондарей суежилась Югина и бабка-пупорезка, которая как раз в эту минуту клала в постель родильницы кусок железа, чтобы всякая порча от дурного глаза шла на железо, а не на младенца.

Свирид Яковлевич, увидав всю эту ворожбу, улыбнулся, а измученная Марийка махнула на него рукой:

– Нечего смеяться, хоть ты и коммунист.

Иван Тимофиевич достает водку, настоящую на калгане и семибратней крови¹⁷, наполняет чарки, а Свирид Яковлевич склоняется над колыбелькой, где спит маленький, сморщенный, как старичок, мальчишка.

– Ну как он? – с опаской спрашивает Марийка.

– Красавец! Весь в отца! А носик точеный! – отвечает Мирошниченко, и Марийка облегченно вздыхает: ей все казалось, что у сынка слишком приплюснутые ноздри. – За твое, Марийка, здоровье, за детей! – Свирид Яковлевич опрокидывает в рот чарку и лезет в карман, чтобы бросить новорожденному на зубок, но денег в кармане не оказывается.

– Ничего, Свирид, придешь покачать, – успокаивает его Марийка.

– Охотно, – соглашается он. – А твоему сыну я десятичку своего Левка дарю.

– Что ты, Свирид! Опомнись! – запротестовала Марийка, испуганная таким щедрым подарком. – Это ж земля дорогая...

– Пусть детский надел ребенку и послужит, – отвечает Свирид Яковлевич и быстро выходит из хаты, не в силах сдержать слез: больно уж ослабели у него глаза после смерти Левка и Настечки.

XXXVI

¹⁷ Семибратняя кровь – порошок красного (драконова) камня. (Примеч. автора.)

Молча, как с похорон, они лесом возвращались домой, молча несли тяжкий груз пережитого и воспоминаний. Еще утром их мысли были легкими, как утренние облачка, плывущие в зенит на сетке солнечных лучей, а сейчас они льдиной легли на сердце. Капли загустевшей человеческой крови, падавшие на дорогу с подвод, обжигали их мозг, застилали им путь. Человеку всегда страшно бывает постичь, что за его жизнь кто-то платит кровью – мать ли родная, или замученный на чужой работе отец, или неведомый друг, который был смелее, лучше тебя. Многие стараются не думать об этом, будто и правда их хата с краю, и становятся хуже, мельче и в глазах людей, и в собственных глазах.

Пока Данило, крепче прижимая к груди сонного Петрика, мучился, посылая свою благодарность на дальнюю дорогу, по которой, верно, все еще шла, покачиваясь и скрипя, подвода с распластанным Нечуйвитром, Галина погружалась, как в тяжелую вешнюю воду, в глубь далеких лет. Полузабытые и утраченные частицы ее ранней юности, обрывки первого чувства всплывали из этих глубин, искрились в памяти, как иней на придорожных березах. Снова повеяло на нее дыханием тех лет, когда сердце ее склонялось к Нечуйвиту; она почувствовала с новой силой свою вину перед ним и невольно представляла себе, как сложилась бы жизнь, не встань на ее дороге Данило. Вот сейчас она билась бы головой о грядку телеги, падала бы на колени, моля небо и землю сохранить жизнь ее мужу. Но, верно, есть уже кому рыдать над Григорием. Только бы выздоровел! Сегодня в глазах Галины впервые померк образ Данила, и потому она несла в себе уже не одну, а две вины, о которых никто никогда не догадается. Господи, для чего так создано человеческое сердце!..

Придорожные березы стряхивали с крохотных сонных почек холодную росу, а в ее душу падали невидимые слезы, и все же на скорбных губах матери засветилась улыбка, когда на груди у Данила спросонья заплакал мальчуган. И она приняла ребенка из рук отца, как щит от всех тревог.

А ночью, когда утихомирился Петрик и беспокойным сном заснул Данило, она вволю выплакалась от всей души, по-бабьи оплакивая и Григория и свою молодость, сложившуюся, должно быть, не так, как надо. Но стоило мужу шевельнуться, как она замолкла и пролежала так до тех пор, пока вокруг звезд не появился золотисто-туманный ореол. Потом заплакал Петрик, пришлось встать и начать новый день, полный новых забот и новых мыслей.

Она уже готовила завтрак, когда проснулся Данило и улыбнулся ей спросонья, чтобы сразу же нахмуриться: под глазами жены он заметил стрелки густой синевы. Они сказали ему больше, чем слова, и родили неясную тревогу. И он опечалился, впрочем великодушно стараясь прикрыть свою грусть вниманием к Галине. Он лучше знал ее, чем она сама, понимал, что жена все еще оставалась в душе стыдливой девушкой, и побаивался той минуты, когда девичья нежность сменится зрелой женственностью. Это только в юности думается, что любимая не изменится всю жизнь! И на ее пути, как и на пути мужчины, встретятся часы душевного смятения и дурные минуты тайных увлечений, а может, и еще худшего.

И Данило не удивился, когда после уроков жена решительно подошла к нему. На него был устремлен чистый, с едва заметной болью взгляд.

– Говори, Галина, что на душе, – опередил он ее.

Жена покраснела и отвела от него глаза.

– Данило, кто-то из нас должен пойти к Григорию – либо ты, либо я... Может, там ему, бедному, и воды некому подать...

– Я думал об этом. Иди, Галя, ты, – насилу выдавил он из себя.

Она сперва обрадовалась, а потом заколебалась:

– Может, лучше тебе пойти?

– Нет, нет, Галя, все-таки ты женщина.

– Вот сказала тебе, а теперь самой страшновато. – Она доверчиво поглядела на мужа.

– Доброго дела нечего бояться. – Его лицо осветилось улыбкой, а на душу легла тень.

И Галина сразу бросилась к бадейке с мукой, чтобы напечь Григорию коржиков, а Данило молча вышел во двор и побрел в лес, пламеневший на солнце холодным блеском

капель...

Перед железными воротами больницы Галю окончательно покидает смелость, и всей ее воли хватает лишь на то, чтобы не заглядывать в будущее Григория, потому что она встречается с ним только в прошлом. С беленьким узелком в руках она печально идет между деревьями к хирургическому отделению, под ногами у ней шелестят большие листья кленов, выговаривая своими подсушенными краями: жив-жив, жив-жив. Значит, жив Григорий! И она снова пересекает мысль, рвущуюся к его будущему.

Облупленные каменные ступеньки ведут в сырую прихожую, где густо навис дух йодоформа и карболки. Худющая плоскогрудая сестра перематывает там старые, прокипяченные бинты, она смотрит равнодушными глазами на посетительницу.

– Вы к кому, девушка?

– К Григорию Нечуйвитру.

– К нему нельзя. – На лице сестры жалость.

– Отчего же? – вздыхает Галина, догадываясь, что Григорию плохо.

– Он тяжелый. Ему нужен абсолютный покой. А вы ему кто будете?

– Я?.. Я его... жена, – вдруг вырывается у Гали.

– Вы его жена?

Сестра перепугалась и смутилась. Она выронила из разъеденных пальцев желтый, застиранный бинт, но даже не взглянула на него, быстро отворила вторую дверь и скрылась. Вскоре в прихожую вышла решительной походкой немолодая врачиха. Она поздоровалась с Галиной, улыбнулась ей усталыми, но жесткими глазами.

– Такая молоденькая – и уже... жена.

И Галина почувствовала, что за этим словом крылось другое: «вдова».

– Скажите, как он?

– Будем надеяться... Кровью истек... Но будем надеяться. Я только на минутку покажу вам его. И прошу вас, держите себя в руках, не плачьте: вы ведь жена самого Нечуйвитра, – проговорила она с почтением.

В полутемном коридоре как тени снуют люди, иссушенные ранами и болезнями, равнодушно простукивают пол самодельные костыли, на которых покачиваются молодые тела искалеченных бойцов.

Врачиха открывает дверь крайней палаты, и Галина сразу узнает запавшее остроносое, в болезненных желтых пятнах лицо Григория, не может узнать только ни его плоского, словно расплюснутого тела, ни голоса, который все еще произносит обрывки команд. Она, глотая слезы, останавливается у изголовья Нечуйвитра, из рук ее сухо падает узелок с коржиками, но она не нагибается за ним – она не сводит глаз со своей первой любви.

Она не помнила, сколько, сдерживая рыдания, простояла над Григорием, но кто-то тронул ее за плечо. Галина оглянулась и увидела рядом с собою горбоносого красавца во всем кожаном.

– Не убивайтесь, не убивайтесь! – пытался он успокоить женщину и гладил ее по плечу своим скрипучим кожаным рукавом.

Он бережно вывел ее во двор больницы, настойчиво ловил взгляд ее заплаканных глаз.

– Если вам надо чем-нибудь помочь, я всегда сделаю все возможное... Я друг Григория, Кульницкий. Но я не знал, что у него есть жена.

– Я не жена, – вздохнула она и кончиком шелкового платка отерла глаза.

– Не жена? – удивился он и, впервые посмотрев на нее как на женщину, отметил, что она хороша.

Галина, запинаясь, рассказала, как Нечуйвитер помог ее мужу выйти на волю.

– Вспоминаю, вспоминаю эту историю. – Кульницкий задумался. Он действительно знал, как Нечуйвитер помог Пидипригоре, и не раз смеялся над Григорием: «Нашел с кем разводить сантименты!»

«Уж не кроется ли здесь какая-нибудь романтическая история?» – проснулась скверненькая мыслишка в голове Кульницкого. Он еще раз окинул взглядом Галину и

убедился, что ради такой красавицы стоило потрудиться.

Галина поймала на себе его взгляд, поежилась и стала прощаться.

– Всего доброго.

– До свидания. Вы, надеюсь, еще зайдете к Григорию?

– Не знаю. Мне очень далеко добираться сюда.

– Вы пешком шли?

– Пешком.

– Вот это... дружба! – Он хотел сказать «любовь», но вовремя сдержался. – Может, я вас подвезу на своей бричке?

– Что вы?! Спасибо... – испуганно встрепенулась Галина и заторопилась в дорогу. Подковки ее сапожек застучали по отполированным временем плитам мостовой.

А он исподлобья смотрел ей вслед, жалея, что такое добро досталось другому. Потом Кульницкий повернул к своей отбитой у бандитов бричке, на которой все еще было написано спереди: «Черта лысого перегонишь», а сзади: «Лопнешь, а не догонишь!» Эти надписи смеялись над ним, напоминали ему о его минутной трусости, которая могла бы давно уже кануть в небытие, если б только Нечуйвигер упокоился навеки.

XXXVII

За грязноватыми тучами неясным масляным пятном расплывается солнце. Утро припорошило землю гнилым снежком, и теперь он превращается в грязь под растоптанными до крайности опорками, под уродливыми баретками и деревянными башмаками. При такой обуви и перетлевших лохмотьях горькой насмешкой кажутся засаленные разноцветные шлыки на шапках бывших стрельцов. То, что еще вчера манило национальной бутафорией, сегодня вылиняло и выпачкалось, и уже сами стрельцы называют шлыки творожными мешками, а про свое пристанище напевают сквозь зубы невеселую песенку:

Гей, за тую сочевицю
Подались ми за границу,
Гей, гей, подались ми за границу.

Но сегодня в Вадовецком лагере царит сонное оживление: вот-вот должны приехать посланцы от «украинских повстанцев», которые и до сих пор не сложили оружия. Невероятные слухи будоражат людей, вселяют в них крохи надежды вернуться на Украину или хотя бы услышать о ней что-нибудь правдивое. А пока эта правда захлестнута половодьем фантастического вранья. Мало того, что все Правобережье, за исключением Киева, находится будто бы в руках атаманов, которые ждут приезда Петлюры и только потому не берут Киева, – уже известно, что большевики признали свою ошибку: им не следовало брать власть, и теперь они думают только об одном – кому эту власть сдать. Конечно, взять ее должен Симон Петлюра, ибо Антанта вот-вот признает его правителем Украины.

Полубольной Погиба тупо прислушивался к этой болтовне, и чутье подсказывало ему, что сеяли эти слухи агенты головного атамана. Сам Петлюра боялся приехать сюда, боялся гнева возмущенных лагерников, а посылал своих лакеев, и те из кожи вон лезли, чтобы оправдать и возвеличить своего бристольского хозяина. Погиба не пошел встречать посланцев: он знал наперед, от кого они, и не надеялся услышать что-нибудь интересное. В конце концов соседи по нарам передадут ему, что было.

Когда все ушли из барака, он потеплее закутался в свою батрацкую свитку, желая только одного – согреться и хоть во сне пожить получше. Но сперва и сон только мучил вываленное тело подполковника: приснилось, что комендант лагеря, бывший царский полковник, наново опутывает колючей проволокой стены Вадовца, и на помощь ему приехали Петлюра и Вышиваный. Им отчего-то пришлось в голову, что и над лагерем надо

сплести проволочную сетку, и через некоторое время Погиба с ужасом увидел над своей головой небо, разбитое колючей проволокой на ровные квадраты; в одном из этих квадратов, как наколотая бабочка, трепыхалось маленькое зимнее солнце. Но вдруг до Погибы донеслись чудесные запахи еды, и он, забыв о солнце, отворил какую-то дверь. Она вела в комнату, где стол гнулся под тяжестью блюд и бутылок вина. Подполковник бросился к столу, и в этот миг его разбудил шум множества голосов: это в барак входили пленные и посланцы головного атамана. Горбясь, Погиба поднялся со своей постели и чуть не вскрикнул: у входа он увидел полную фигуру Бараболи и брезгливую физиономию Евсея Голованя, которого мутило от всего, что он видел в лагере.

– Господи, подполковник! – вскрикнул Бараболя. Он всплеснул руками, с неподдельной радостью бросился к Погибе, обнял, поцеловал его и отер женским платочком невидимую слезу.

– Стилизация! – насмешливо посмотрел на сухие глаза Бараболи Евсей Головань и поздоровался с подполковником. – Здорово, здорово, брат. Не ожидал увидеть тебя в этой мясорубке человечины. – Под тонким прямым носом Голованя топорщилась от брезгливости вилочка темно-каштановых усов.

– Цвет нации в вонючих лагерях! – засуетился вокруг Погибы Бараболя. – Но мы вырвем вас отсюда! Вырвем всех! – обратился он уже к обитателям барака. – Головной атаман готовит новый поход, и вы все под желто-блакитными знаменами вернетесь к своим тихим водам и ясным зорям!

– Идеализация, – буркнул в вилочку усов Головань и первый пошел к коменданту Вадовецкого лагеря.

Вскоре рослые балагульские кони, раскачивая под дышлом массивный колокольчик, везли в Краков господина подполковника, Бараболю и Голованя. Погибу Головань бесцеремонно посадил рядом с кучером, – он боялся, чтобы раскормленные лагерные вши не переползли на его по-европейски душистое белье, и эта бесцеремонность понравилась Бараболе: пусть подполковник почувствует, что его жизнь теперь в полной зависимости от них. И Погиба почувствовал это и уже не терзался от сознания, что за него расплачиваются шпионскими деньгами. В Кракове на радужные гетманки¹⁸ Бараболя одел и обул подполковника, сходил с ним в баню и в парикмахерскую, а потом, хихикая, спросил, куда завалиться ужинать: в ресторацию или в домик, где и с девчонками можно развлечься.

– Девчонки здесь – огонь, – причмокнул он толстыми губами. – И мертвого на грех наведут.

– Тогда я хуже мертвого, – ответил Погиба. – Не до девчонок мне.

– Понимаю: лагерь и скверные харчи... – Бараболя сочувственно покачал головой. – Но через несколько дней вы снова почувствуете себя казаком.

Внезапно лицо подполковника немного оживилось, и глаза его рассекли темень, сгустившуюся за эти месяцы вокруг век.

– А вы, Денис Иванович, не забыли свою русалку?

– Марьяну? – По сытому лицу агента разлилось самодовольство.

– Марьяну, загадочную русалку Подолья.

– Все в женщине – загадка, и всему в женщине одна разгадка, именуемая беременностью. Так сказал Заратустра, – продекламировал Бараболя, рассеивая несколько своих скверненьких «хи-хи».

– Надеюсь, у русалки до этого не дошло? – Взгляд Погибы погас.

– Как раз у нее-то и дошло, – снова захихикал Бараболя.

– Неужели правда? – Погиба мысленно пожалел еще одну затянутую в тину войны девушку.

– Женщинам я лгу, а про женщин рассказываю только чистую правду, – еще раз

¹⁸ Гетманка – денежный знак в тысячу рублей.

блеснул остротой Бараболя и сам залюбовался своими словами. – Скоро махнем вместе на Украину, может, и повидаем там нашу русалку. – Он даже не спрашивал, согласен ли подполковник нести шпионскую службу.

– Одни двинемся?

– Пока одни, но полномочия получите от головного атамана. Не вздумайте только обращаться к Юрку Тютюннику. Его на генеральском съезде в Гарнове избрали командующим партизанско-повстанческого штаба. Но головной атаман Тютюннику не доверяет, и эта вражда может повредить вам.

– Хорошо, – согласился Погиба, и хотя он больше верил в Тютюнника, чем в Петлюру, теперь ему было все равно: лагерь до конца вытравил из его души все предыдущие убеждения. Он понимал, что теперь может служить не только Петлюре, но и Бараболе, который накормил и одел его. Он еще надеялся, что со временем найдет наилучший путь, а теперь можно идти и по тому, на который его поставили, только бы не попасть обратно в лагерь.

Поздним зимним вечером, когда в коридорах «Бристоля» стелились на ночь приезжие батки и атаманы, адъютант головного Доценко проводил Погибу в рабочий кабинет Симона Петлюры. Головной атаман встретил своего подполковника приветливым смехом.

– Рад вас видеть, рад вас видеть! – Он усадил гостя рядом с собой. – Наша борьба и наше национально-государственное строительство нуждаются в таких творческих силах, какими вас щедро одарила природа. Помните, как вы пронизательно раскусили этого австрийского выскочку – Василия Вышиваного? – Коротенькие бровки атамана нахмурились. – Он теперь сидит в Вене и опять мечтает об Украинском королевстве. Проходимец! На Украине никогда не было королевства, даже зажиточный хуторянин не захочет его, а вот социал-самостийники¹⁹ на этого червяка клюнули. Степаненко даже сватает свою дочку за будущего короля. Вот кто, кроме большевиков, посягает на святая святых национально-государственной идеи, – прорвалось у атамана семинарское воспитание.

– Королевство – это полная бессмыслица для Украины, – наконец смог вставить слово Погиба.

Петлюра одобрительно тряхнул поредевшими вихрами и уже спокойнее продолжал:

– Теперь, пока не выкристаллизовались в голове украинского мужика идеи большевизма, нашу борьбу следует настоять на крепком хмеле. Этим хмелем будут такие люди, как вы. Сегодня от начальника канцелярии Выговского вы получите мой мандат. Назначаю вас атаманом четырех важнейших уездов Подолья. Рядом с вами будут действовать Гальчевский, Шепель, Бараболя и Головань.

– Спасибо, пане головной атаман. – Погиба встал.

– Желаю вам успеха. Готовьте все для восстания, берите под надзор железные дороги и мосты, а весной я приду к вам с нашей и польской армией. Прошу вас, где бы вы ни были, обращать внимание на полезные ископаемые. На Украине во что бы то ни стало надо найти нефть. Нефть – это кровь земли и наша победа. – Он ударил кулаком по столу и принялся красноречиво развивать свою идею: – Нефть победила даже немецкую триаду: уголь, железо и густую паутину железных дорог. Нефть есть и в Голландской Индии, и на Малайских островах, в Пенсильвании, в Калифорнии, в Румынии, в Баку, в Турции, в Персии, в Алжире и Марокко, на Мадагаскаре и в Новой Каледонии. Стало быть, должна она быть и на Украине. Тогда Антанта раскроет нам свои золотые ворота, и мы будем непобедимы! Находите, подполковник, нашу нефть.

– Постараюсь, – ответил с поклоном Погиба, невольно подумав, что для королевства Вышиваного довольно было украинского угля и пшеницы, а для существования атаманской республики понадобилась еще и нефть.

¹⁹ Социал-самостийники – украинская буржуазно-националистическая партия (УПСС), требовавшая провозглашения «самостийной» Украины, земельной реформы в интересах зажиточного крестьянства при сохранении частной собственности.

В груди Погибы проснулась давняя горечь, но он сразу же подавил ее: после Вадовецкого лагеря и черту пойдешь служить. Он собрался идти, но Петлюра на миг остановил его.

– Кстате, подполковник, вы хорошо знаете криптографию?

– Изучал.

– Если подзабыли, подучитесь у Бараболи. Для связи вам необходимо знать тайнопись.

В этот момент в «Бристоле» внезапно погас свет. Петлюра от неожиданности вскрикнул и на всякий случай отскочил к столу, – кто знает, не подымет ли подполковник против него оружия?

Погиба вспомнил, что головного атамана не раз мучил болезненный страх перед заговорами, и с наслаждением улыбнулся. Хорошо, что вокруг было темно, как в могиле, и Петлюра не видел улыбки подполковника.

XXXVIII

В омшанике таинственно и тихо, пахнет медом и теми травами, которые больше всего любит пчела. Старый Горицвит обеими руками обнимает улей, прикикает к нему ухом и заводит разговор с крылатыми хозяевами. Дмитру интересно и чуть боязно слушать этот разговор – дед говорит с пчелами, как с людьми. Есть у него колдовское слово, помогающее роям вылетать раньше, щедро собирать желтый воск и сладкий мед! В селе кое-кто зовет деда колдуном, но это вранье: дед ходит в церковь и говорит, что пчелы – это слезы богородицы, а мед – божья роса, которую туман переносит с места на место. Изю всех цветов берет его крылатая труженица, кроме потайника и ржи. Потайник затаил свой мед, а рожь для земледельца слаще меда.

Но вот дед заканчивает свою тихую беседу и оборачивается к Дмитру:

– Берись, дитяtko, за этот улей, вынесем-ка его на время во двор.

– Дедушка, а пчелы не погибнут? Холодно еще.

– У лентя и в тепле погибнут. Сейчас, дитяtko, у пчел предновье начинается, за это предновье гибнет их, как и людей, больше, чем за весь год. А вот выкупаем пчелку в солнечных лучах – и поздоровеет.

Затаив дыхание, они выносят первый улей во двор. Вокруг под солнцем ослепительно искрятся снега, края крыш подернулись ледком, и с них сочатся голубые капельки, а на сирени задорно расщebetалась овсянка, поучая земледельца: «Кинь сани, бери воз-з-з...» По небу плывут уже белые весенние облака, а дубрава радуется глаз фиалковой синевою, дрожащей как марево.

Двор деда расчищен от снега и покрыт сухим камышом, чтобы выпущенные пчелы, падая на землю, не простудились и не замерзли. И странно видеть, как из раскрытого летка теплым облачком поднимается пчела и купается в солнечном воздухе, несмотря на то что вокруг мерзает снег.

Строгое лицо деда проясняется, и он, щурясь, задирает бороду и подставляет мартовскому солнцу свою добрую улыбку. У ворот останавливаются люди, удивленно смотрят на улей, пчел и деда.

– Колдун старый! – слышит Дмитро.

Но вот дед хмурится – это у калитки останавливается Иван Сичкарь. Старик с сердцем шепчет:

– Кто сглазит, пусть тому зенки повылазят!

У Дмитра при встрече с Сичкарем всегда под коленками пробегает холодок; парнишка, готовый к новой стычке с богачом, напрягается, как струна, стараясь скрыть волнение.

Сичкарь смотрит на пчел, на старика, изумленно восклицает:

– Дедушка, что это – ваши пчелы на снегу мед нагуливают?!

– А как же! – Одни нагуливают мед, другие – жир! – с сердцем отвечает старик.

Прохожие смеются, а Сичкарь делает вид, что его не задевают слова Горицвита.

– Прожил старик весь век с пчелами – глядишь, и сам жалить стал.

– Твоего жира, Иван, не то что пчела – шершень не проткнет, – не оборачиваясь, говорит старик.

Пчелы облетались, и дед с Дмитрием торжественно вносят ульи в омшаник – пускай постоят там недельки две, а потом можно будет и совсем выставить их в тихое место. Тогда старый Горицвит обойдет с первопеченым хлебом всю пасеку, окропит с колосьев снопа, стоявшего под рождество в красном углу, и снова скажет словечко, чтобы пчелы не улетали из ульев, а собирали бы мед и воск.

– Ну, дитяtko, сделали пчелам доброе дело, а теперь подумаем и о себе.

Старик останавливается на пороге, словно раздумывая, с чего бы начать новую работу. Но вот он направляется к навесу и вместе с внуком осматривает плуг, бороны, деревянную скоропашку, похожую на гусака. Одна лапа у нее надломлена, и Дмитро сразу же берется за изготовление новой. У беспокойного деда всегда найдется какое-нибудь дело, все он знает, все кипит у него в руках, и он по каплям, незаметно, как пчела, передает внуку то, что собрал за долгие годы.

Дмитро охотно трудится с дедом, охотно перенимает его науку и с удовольствием ест всевозможные, по-чудному приправленные кушанья, которые готовит старик. За зиму парнишка вытянулся, стал спокойнее и больше уже не зовет по ночам отца. Он теперь спит крепко и не слышит, как порой на рассвете долго просиживает у его изголовья дед.

Сын с каждым днем все больше ходит на отца. Дед, который никогда не жалел Тимофия на работе, внуку позволяет спать до самого восхода солнца и гневается на Докию, если она слишком скоро забирает Дмитра.

– Отец, если вы так любите Дмитра, переезжали бы к нам жить, – не раз предлагала вдова.

Но старик только сердился:

– Так я тебе и перееду! Завтра с мешочком! Потом скажи тебе слово поперек – так ты полный передник слез напустишь. По своей знаю, все вы одним миром мазаны, а я ведь за словом в карман не полезу.

– Это все говорят, – улыбалась Докия.

– И лихоманка с ними! Есть такие: в бок не двинешь, так и с места не сдвинешь. Замуж не думаешь выходить?

– Выдумаете еще! – краснея до слез, отвечала Докия.

– Ну вот, видишь, и сердисься... Ты же еще молода!

– Да будь мне даже семнадцать лет, пусть бы я сразу после венца овдовела, а на другого и не глянула бы.

– Знал Тимофий, на ком женился. – Дед покачивал снопом седой бороды и отворачивался, чтобы сноха не заметила, что у него глаза не всегда сухи...

Старик любуется, как Дмитро умело мастерит из чурбана лапу, – хорошо, что сейчас есть время полюбоваться.

– Не оглянемся, как и пахать выйдем.

– Только парок над землей подыметесь – и в поле, – степенно отвечает подросток, не выпуская рубанок из рук.

– Думал, где сеять будешь?

– А как же! Пшеницу и ячмень – в Кадибке, горох и гречиху – на осиновой вырубке. Там земля хоть и песчаная, а гречиха должна уродиться.

«По-хозяйски», – прикидывает старик, но внука не хвалит, только кивает бородой.

Над лесом уже шевелятся сумерки, темнеют облака, улегшиеся на вершины деревьев, замолкает капель. После ужина Дмитро прощается с дедом и идет домой – он уже тут загостился. Под ногами певуче позванивают молодые льдинки, потрескивает шершавый снег, и на только что затянувшихся лужах дрожат лунные блики. Вокруг, словно гуси, белеют хаты. Им тоже хочется взмахнуть крыльями, лететь навстречу новой весне.

С соседней улицы донеслись задорные девичьи голоса:

Нема льоду, нема льоду,
Нема й переходу,
Коли тобі люба мила –
Бреди через воду.

А со двора Киндрата відповідає веснянка:

На нашій вулиці
Дівчата чарівниці
Закопали горщик каші
Посеред вулиці.

Закопали, закопали,
Ще й кілком забили,
Щоб на нашу вулицю
Парубки ходили.

Только закончилась песня, как раздался смех и девчата разбежались – на улице и в самом деле появились парни, а на Подолье по вечерам парням с девушками повсюду, кроме хат, встречаться запрещено.

Дорогу перебегают выводок девчат, одна замечает Дмитра, вскрикивает: «Ой, парень!» – и все с визгом скрываются за тынами.

«Сороки», – улыбается Дмитро. Ему нравится, что его приняли за парня.

Со двора Ольги Пидипригоры выходит веселый Степан Кушнир. Он подходит к Дмитру, крепко стискивает его за плечи:

– Здорово, Дмитро! О, какой ты стал! Парень, да и только!

– Какой там парень! – смущается Дмитро.

– А у меня радость! – Лицо Кушнира сияет. – Женюсь на Ольге. Чего ей одной бедовать? – Он кивает головой на двор. – Придешь на свадьбу? Боярином прошу. Придешь?

– Приду.

– Поздненько пришло ко мне счастье, в войну было не до свадеб. Лучшей пары, чем Ольга, на свете не найти, – доверчиво делился он с Дмитром, как с ровней. – Хорошо, что война кончилась, теперь и пожить можно. Скоро, малец, и твоя пора придет! Лучшая пора в жизни человека – любовь.

У Дмитра вся кровь приливает к лицу от таких слов. Любовь! Сколько он слышал о ней от людей и в песнях! А какова-то она на самом деле? Он присматривается к сиянию звезд и снова с жадным ожиданием прислушивается к веснянке. А песня подходит к нему вплотную, и словно бы устремляются на него из мартовской темени неразгаданные девичьи глаза.